

ALBEDO



КНИГА КНИГ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

3

КНИГА КНИГ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАНАЛ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА
КНИГ

РОМАН

ALBEDO

3

КАЯЛА
Киев, 2018

УДК 821.161.1(477)'06-31

А 46

Александров А.

А 46 Книга книг. Albedo. Т. III — Киев: «Каяла», 2019. 338 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978-617-7697-08-3

Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

УДК 821.161.1(477)'06-31

© А. Александров, 2019

© В. Ерко, иллюстрация на обложке, 2019

© Издательство «Каяла» (Киев), 2019

ALBEDO

«Например, в тех местах, о которых и поныне говорят, будто там стоит город золотой и простирается берег, усыпанный драгоценными камнями, увидит он обычный каменный город, а то и вовсе никакого, да одинокий скалистый берег».

*Книга о зверях и чудовищах,
анонимная книга, IX век*

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Несмотря на все мои опасения навсегда зарекомендовать себя в глазах благосклонного читателя и сурового критика назойливым маньяком, я все же посчитал уместным предварить вторую часть настоящего труда этим новым предисловием, поскольку, во-первых, она открывается все той же Историей о написании «Книги Книг» уже известными читателю Классиком и спецкором Кутищевым, но на сей раз изложенной, как это и свойственно всякому мифу, в совершенно иной интерпретации¹, а во-вторых, мне хотелось хоть в немногих словах рассказать о том, как готовилась эта новая часть, полагая, что мой необычный опыт, возможно, будет представлять некоторый интерес для тех моих уважаемых коллег — литературных издателей, редакторов и особенно корректоров, — которым еще не доводилось сталкиваться со столь экстравагантным способом подготовки книги к печати. К тому же я почувствовал острейшую необходимость выразить самую сердечную признательность тем немногим читателям, дочитавшим до конца первую часть, и в особенности тем из них, которые отважились взяться за вторую...

Итак, г-н М*** нанес мне еще один неожиданный визит спустя семь лет. Было это ранней весной. Я страдал сильным авитаминозом и сосудистой дистонией, так что работа давалась мне нелегко. До того нелегко, что, не скрою, я уже *почти* готов был все бросить... Г-н М***, как ни в чем ни бывало, стоял на пороге моего дома, и над его головой с гудением роились золотистые пчелы. «Нет, он точно сумасшедший! — подумал я. — Немало повидал я их на своем веку, занимаясь литературой». Но если по справедливости, разве сам я был не того же поля ягода?

Надо сказать, за эти семь лет, что мы не виделись, у меня накопилось бесчисленное множество вопросов. Но главным из них, по-

¹ Эту версию главы «Книга Книг», которая открывает вторую часть романа, в отличие от *Старокиевской версии*, я назвал *Подольской*, главным образом, по причине того, что все ее основные фрагменты были найдены непосредственно на Подоле (улицы Олеговская, Верхний Вал и Нижний Вал, Покровская и, частично, Андреевский спуск). — *Примечание Издателя*.

жалуй, был один: зачем и во имя чего я всем этим занимаюсь? Однако, увидев г-на М***, который переступил порог моего дома так, словно расстались мы с ним только вчера, я понял: задавать их бессмысленно.

— Знаю, вам трудно, — сказал он. — Я пришел вас поддержать.

Я молча кивнул, не зная, что ответить.

— Понимаю, все это вам представляется чистейшим сумасбродством, — продолжал он, ставя на стол свой допотопный саквояж (для полного ансамбля недоставало только каких-нибудь желтого цвета штиблет с крупными пуговицами по бокам и резиновых галош) и извлекая из него пухлую пачку банкнот.

— Вопрос не в деньгах... — начал было я.

— Ну, разумеется! Я бы не хотел, чтобы у вас обо мне сложилось впечатление, будто я вас покупаю. Это всего лишь деньги, и они нужны для дела. — Спокойно осмотрев комнату, захламленную так называемыми «рукописями», г-н М*** заметно оживился: — Прошу вас, дорогой друг, наберитесь терпения. Кому же, как не вам, довести начатое до конца?

Стало ясно, что отступать некуда.

Мы еще долго говорили о книге, о том, что уже сделано, и о том, что еще предстоит сделать. Между прочим, г-н М*** довольно подробно справался о моем здоровье, о том, что я ем и что пью, хорошо ли сплю и не забываю ли о развлечениях, которые бывают очень даже полезны, ибо не позволяют нам иссохнуть в изнурительном труде. Например, уже прямо завтра я мог бы сходить развеяться в филармонию на Кофмана (уже и контрамарка от самого маэстро для меня есть!), или на следующей неделе — в Октябрьский дворец на Джо Завинула, если я ничего не имею против современного джаза (вот и билет с местом в партере и сердечным приветом от Алексея Когана — он, как обычно, будет представлять знаменитого музыканта киевской публике), или, если концертным залам я предпочитаю более камерную и непринужденную обстановку, можно было бы пропустить пару кружек пива в «44» у Эрика Айгнера и, кстати, там же в ближайшее воскресенье насладиться великолепной игрой Аркадия Шилклопера на валторне (вот, пожалуйста, клубная карточка с моим именем, какие могут быть проблемы?!) Спросил также об общем состоянии моих дел и даже посоветовал жениться, что, беря во внимание именно общее состояние дел, мою полную неустроенность и невозможность каким-нибудь образом все это изменить в ближайшее время, не могло не вызвать у меня скептической усмешки. Затем, по-видимому, желая сделать мне приятное, г-н М*** похвалил картину, висевшую на северной стене в моем рабочем кабинете, с изображением Андре-

евской церкви и Замка Ричарда в ветреный полдень — пейзаж кисти Жанны Василевской, выполненный в технике холодной энкаустики, — при этом, точно определив место на Флоровской горе, с которого он был написан, и попутно заметив, что от него так и веет прохладным серебристо-зеленым ветром. Еще несколько минут мы молча любовались картиной — моей любимой картиной!.. Конечно, я прекрасно видел все ухищрения моего гостя, а он, в свою очередь, также прекрасно видел, что я их вижу, что, впрочем, вовсе не мешало этим ухищрениям тронуть мое сердце. Так, в конце концов, ему удалось меня вдохновить на продолжение моего труда. Но, если честно, я не очень-то сопротивлялся: в глубине души я хорошо знал, что уже не брошу его, пока не завершу, чего бы это мне ни стоило. На прощанье г-н М*** оставил мне несколько пузырьков с какими-то чудодейственными эликсирами, настоятельно порекомендовав принимать их по определенной схеме, дабы быстро поправить пошатнувшееся здоровье, и еще одну вещицу: серебряный перстень с лунным камнем — такого крупного и красивого я никогда еще не видел.

— Это передали вам, — сказал он, положив перстень на стол рядом с лекарствами.

— Кто передал? — спросил я, не смея поверить своей догадке.

Он не ответил, только улыбнулся и подмигнул. Затем подхватил свой саквояж и, махнув мне рукой, быстро ушел...

Выше я уже сказал, что мое моральное и физическое состояние оставляло желать лучшего. Собираение книги из обломков, осколков, огрызков, из самого разнообразного мусора и хлама постепенно превратилось в самую настоящую страсть и стало чуть ли не смыслом моей жизни. Мне уже было недостаточно того, что приносили посланники г-на М***. Я превратился в подобие известного типа старьевщиков, которые радуются всякой случайно найденной потертой пуговице, в надежде когда-нибудь к чему-нибудь ее пришить, или ржавому ключу, которым — чем черт не шутит? — также когда-нибудь что-нибудь посчастливится открыть. И вот этот старьевщик, этот ветошник, этот жук-скарабей тащит отовсюду всякий хлам, исписанный неразборчивыми каракулями какого-то безымянного графомана, и хлам этот становится его домом, его средой обитания! Я и не заметил, как страсть собирательства, которую сам для себя я называл «литературной археологией», в конце концов погнала меня на киевские улицы в поисках все новых и новых фрагментов книги. И это может показаться невероятным, но я находил их повсюду: на стенах домов, на заборах, на асфальте тротуаров, на фонарных столбах, на досках с объявлениями о купле-продаже и аренде недвижимости. В магазине «Ноты» на Крещатике, куда меня занесла скорее интуи-

ция, нежели трезвый расчет, я обнаружил отдельно изданную партитуру романа «О любовь любимая моя!..» Я тут же купил эту тоненькую книжечку в мягком переплете, на обложке которой почему-то значилось: «Слова и музыка народные», — что было явным нарушением авторских прав, если и не Гениального Кондратия, то того, кто скрывался под этим именем. Еще один довольно объемный фрагмент я нашел в зарослях Аптекарского Сада, весь текст был написан на белом мужском костюме, лежавшем на траве в такой позе, будто еще минуту назад в нем был человек. Шелковая подкладка, потайные карманы — все было сплошь испещрено словами. Рядом, на ветвях граба, подобно вздернутым парусам, развевалось женское белье, на котором не без труда можно было различить нечто отдаленно напоминающее китайские иероглифы. Может, и не следовало упоминать о столь пикантном факте, но надеюсь, благосклонный читатель простит мне эту невольную вольность, и, я верю, в итоге правда все оправдает.

Из нескольких сохранившихся писем Сказочника Адуляра к Янке два были написаны на воздушных шариках — красном и белом. Чтобы прочитать эти послания, пришлось их, если можно так выразиться, «надуть». К несчастью, красный шарик лопнул, что существенно осложнило мне и без того нелегкую задачу.

Случались и другие странности. Так, однажды в метро я увидел нищего бродягу, который ходил по вагонам с протянутой рукой и читал по памяти вслух один фрагмент из так называемой «Книги Короля»! На мой изумленный вопрос, откуда ему известен этот текст, нищий ответил, что и сам толком не знает, но зато именно за него ему больше всего бросают мелочи. Далее он довольно цинично выразился в том смысле, что иной раз лучше не доискиваться причин, чтобы не лишиться форта. Я с готовностью согласился с хитрым бродягой и за пять гривен выкупил у него этот фрагмент, заставив прочитать его медленно несколько раз, пока не записал слово в слово в тетрадку, которую с некоторых пор всегда носил с собой. А еще за пять гривен в придачу он сообщил, что существуют и другие фрагменты, и даже подсказал, на каких линиях метро и в каких подземных переходах искать его коллег, которые, так сказать, упражняются в художественном чтении за скромное вознаграждение. Я дал ему еще пять гривен «премиальных» и отправился на поиски. И действительно, за каждым нищим был, если так можно выразиться, закреплен свой фрагмент «Книги Короля», а с ним — и своя линия метро, свой поезд и свой вагон. Пришлось потратить не один месяц, немало денег и выпить с «коллегами» моего нищего бродяги изрядное количество водки, рискуя заразиться герпесом, проказой или туберкулезом, пока я, наконец,

не собрал все имевшиеся фрагменты. Особенно меня поразил один безногий старик, обретавшийся на железнодорожном вокзале, он умудрялся петь «свой» прозаический фрагмент, сопровождая себя на баяне. Старик безбожно фальшивил, и баян его хлопал и хрипел, но исполнение было столь проникновенным, что никого не оставляло равнодушным, а сам старик, седой и обветренный, в такие минуты был похож на настоящего короля, то ли тайно возвращающегося из Святой Земли, то ли изгнанного из своего королевства и странствующего теперь на инвалидной тележке по свету в ожидании справедливости или смерти.

Были бродяги и иного сорта или, точнее, иной природы (скорее даже, *породы!*), которые, я бы сказал, своеобразно отражали первых. Бездомные собаки... Мог ли я подумать, что такое возможно?! А началось все с того, что как-то раз на Андреевском спуске я увидел хромую собачонку; на одном ее боку я прочитал слово «Почему?», а на другом — «Потому что». Слова эти были не написаны, а выстрижены, и сотворить такое можно было только электрической машинкой для стрижки, какими обычно бреют головы молодым солдатам. Бедное животное сосредоточенно обнюхивало угол дома, в котором располагалась художественная галерея Карася, видимо, не раз помеченный многими поколениями четвероногих бродяг, а затем побежало вниз, где замаячила стая его хвостатых коллег. Я помчался следом. Каково же было мое изумление, когда я увидел все эти мохнатые и гладкие, разномастные спины и бока, исписанные разными словами! Слова обгоняли друг друга, то и дело меняясь местами. Но больше всего меня поразил старый подслеповатый кобель с вопросительным знаком на лбу. Отбившись от стаи, он с задумчивым видом принялся рассматривать картины какого-то местного художника, выставленные на парапете возле Замка Ричарда для продажи. Я уже готов был поверить, что кобель этот и есть тот самый пес Петров собственной персоной — художник, поэт и философ. Сам не знаю, почему я не остановился, не подошел к нему, не заговорил. Вместо этого я кинулся догонять убежавших вперед остальных собак с двумя десятками бродячих существительных, глаголов и прилагательных, не говоря уж о причастных и деепричастных оборотах, которые требовали немедленного упорядочения. Еще долго преследовал я стаю, записывая слова на ходу, но, видимо, настолько был назойлив, что, в конце концов, меня облаяли в дюжину глоток и мне пришлось ретироваться. Впоследствии я развернул настоящую охоту, вооружившись уже не только ручкой и тетрадью, но и фотокамерой, а за плечами у меня был рюкзак, набитый мясными обрезками и костями. К сожалению того старого пса, ценителя живописи с вопросительным знаком на

лбу, я так больше и не встретил. «Как много нового и важного я мог бы почерпнуть для этой книги из уст пса Петрова, если это, конечно, был он!..» — думал я, уже не дивясь тому, насколько весь ход моих мыслей и все что я творю в последнее время похоже на полнейшее помешательство.

Там же, на Андреевском спуске, возвращаясь однажды под вечер домой после очередной утомительной погони за собаками, я неожиданно заметил на высоком брандмауэре «дома-терема»¹ гигантские отпечатки пальцев. В сумерках они казались кровавыми. Ничего более чудовищного мне еще не доводилось видеть. «Уж не сама ли Цакирола приложила здесь своей пятерней?» — подумал я, чувствуя как внутри у меня все холодеет. На всякий случай я сфотографировал и этот артефакт. Но!.. Велико же было мое разочарование, когда на проявленном снимке стена оказалась совершенно чистой! Ни одного отпечатка!

Вот так я сам теперь бродил целыми днями по городу, — извините за не слишком литературное выражение, «наматывая круги его рая и ада», — в поисках недостающих «страниц» будущей книги. И что странно: *обыкновенные* рукописи, которые продолжали исправно поступать в мое издательство в электронном виде — в соответствии с духом времени, — теперь вызывали во мне скуку и даже, да простят меня их авторы, отвращение! Мне уже не хватало в них некой «минеральности», органики; мне не хватало в них металла, дерева, патины и паутины. И вообще — веса и протяженности в пространстве. Куда больше мне нравилось, ощущая себя криптографом и детективом в одном лице, переносить на бумагу, а потом и в компьютер, теплые и приятные на ощупь письма с деревянных оконных рам и плинтусов, или пахнущие плесенью пространственные тексты со старых шпалер (в конце концов, наслаждался же Шиллер запахом гниющей капусты, когда работал над своими пьесами, как о том свидетельствуют исторические анекдоты!) или, наоборот, емкие и полные афористичности фразы с шахматной доски, отыскивая ту единственно верную последовательность ходов черных и белых фигур, чтобы правильно сложить окончательный вариант партии, а следовательно, и самого текста. Но существует ли его окончательный вариант? — вот в чем вопрос...

Еще несколько довольно неожиданных по форме и содержанию фрагментов г-н М*** прочитал мне прямо во снах, и по утрам, едва

¹ Не путать с Серым Теремом. «Домом-теремом» киевляне называют жилое здание на Андреевском спуске (№ 34), построенное в начале XX века в так называемом «русском теремочном стиле». — *Примечание Издателя.*

проснувшись, я старался записать их настолько точно, насколько мне позволяла память. Не без колебаний (можно ли считать эти пришедшие фрагменты вполне аутентичными, или они — плод моего переутомленного сознания?), я их также включил в эту книгу.

Снисходительный читатель, надеюсь, простит мне мои бесконечные сомнения и рассуждения, кои я выплеснул на его голову. Я, конечно, не критик, не литературовед, а всего лишь скромный издатель и редактор, который, взялся за непосильный труд и до сих пор не вполне уверен, несет ли он ответственность за все то, что происходит на страницах этой запутанной книги, сконструированной из множества других запутанных книг, а также за то, что может произрасти или не произрасти в головах и сердцах тех немногих, у кого хватит терпения вслед за мной проделать весь путь до конца.

Как часто я заходил в тупик, не в силах понять замысел, если таковой у неведомого мне автора действительно имелся. Я располагал фрагменты то так, то этак, но, несмотря на все мои старания, концы не связывались с концами. Последовательность событий двоилась, троилась, четверилась, одним словом, множилась, как множились одни и те же события, при этом постоянно себе же противореча. И то, что еще вчера мне представлялось концом какого-нибудь из эпизодов, на самом деле оказывалось его началом, в то время как этот эпизод, в свою очередь, был всего лишь эпизодом совсем другого эпизода, гораздо более обширного... Можно ли сочинять книгу, спрашивал я себя, не имея определенного замысла, и если можно, то является ли этот процесс написания настоящим сочинительством, а его результат — книгой?

Как-то раз, сидя в своем рабочем кабинете, я переносил на бумагу письма со стеклянной поверхности большого фонарного плафона. В мой дом его принесли агенты г-на М***. Возможно, когда-то очень давно плафон этот увенчивал один из чугунных столбов где-нибудь на Владимирской горке или в Троицких скверах. Он имел форму шара, а тысячи и тысячи букв на нем были процарапаны, по видимому, цыганской иглой — и так мелко, что приходилось постоянно прибегать к помощи лупы. Иногда, чтобы передохнуть и развеяться, я снимал со своей старой настольной лампы плафон, ставил вместо него эту стеклянную глыбу и ярко подсвеченные письма на ее матовом стекле обретали вид совершенно фантастический. Я смотрел на светящийся шар, на его эфемерную жизнь в зеркале, в стеклах книжного шкафа и окна, за которым простиралась ночь, и размышлял о книге — ее сюжете, последовательности событий до сих пор оставались для меня неразгаданной тайной. И тогда я заподозрил, что «последовательность», как я ее всегда понимал, в этой кни-

ге — понятие относительное. Она — вовсе не ровная линия и не изви- вающийся серпантин, который, как я сначала полагал, то и дело пре- рывается из-за отсутствия тех или иных еще не найденных фрагмен- тов. Нет, фабула этой странной книги, скорее, имеет, как и этот фо- нарный плафон, форму шара, на котором, если высвечивается один бок, то другой в то же время пребывает вне поля зрения. Зримое и незримое, вѣдомое и невѣдомое, как тьма и свет, существуют одно- временно и связаны между собой сквозь сферический объем невиди- мыми пунктирами.

Да, может быть, мои соображения страдают известной умозри- тельностью и больше были бы уместны для характеристики сновиде- ния, чем реально существующего письменного источника, — как час- ти и, одновременно, результата реальной жизни, — но иного объяс- нения для себя я не вижу. Вот оно, чудовищное сооружение — иногда нелепое, как бред, иногда прекрасное, как сон, и столь же неустойчи- вое, и так же, как сон или бред, сотворенное Бог знает из чего. Под- обно таинственному и непостижимому «eald enta geveorc»¹, оно мерцает перед моими глазами, заполняя собой все, и опять, незамет- но для самого себя, я погружаюсь в его пространства, и кажется мне, что до конца дней своих я буду снова и снова искать те слова, в кото- рых оно, это зыбкое сооружение, и по сей день все еще рассеяно по моему Городу.

¹ «Наследие древних гигантов» (*древнеанглосакс.*). Так в своих стихах англосаксонские поэты часто называют монументы или сооружения, соз- данные древними, неведомыми цивилизациями. Например, Стоунхендж. Учитывая объем книги и необычный способ ее воплощения, такое сравне- ние мне показалось вполне уместным, хоть и несколько рискованным. — *Примечание Издателя.*

КНИГА КНИГ

Подольская версия

I

В действительности все было не так...

То есть, я хотел сказать, все было не так, как мне бы того хотелось. А из этого вытекает, что, очевидно, не следует желать чего-либо не в меру или даже вообще желать, и тогда все сложится само по себе, все произойдет, случится и совершится самым непревосходнейшим образом и в кратчайшие сроки. Как свидетельствует восьмой Аркан: отяготив одну чашу весов, необходимо тут же уравновесить ее второй чашей. Другими словами, примешай ко всякому своему желанию равной силы нежелание. Великий закон либрации...

Но теперь-то уж поздно говорить об этом: высокие знания, холодный рассудок, интуиция — все эти качества нужны были именно той ночью, и, возможно, тогда мы избежали бы многих страданий и бедствий. Увы, что мог я, дилетант и самоучка, знать в те времена о Каббале, о вечных символах Таро, о Божественном Дереве Сефирот?.. Ничего! В моем представлении, как и в представлении всякого простака, «арканом» была обыкновенная веревка с петлей. И мог ли кто-либо себе представить, что для спецкора Кутищева, который в отличие от меня знал, что́ есть истинные Арканы, один из них обернется веревкой с петлей в буквальном смысле!.. Но не стану забегать вперед. Одно лишь замечу: при столкновении с Бесконечным Ужасом, равно как и с Бесконечным Счастьем, важно вовремя проснуться или, наоборот, вовремя уснуть, чтобы не сойти с ума.

Так вот, как я уже сказал, все было не так, не вовремя и не в том месте. Война в Городе началась в ночь на 29 сентября одновременно с нашим выходом из моей маленькой уютной квартиры. Я хорошо это помню — по радио как раз транслировали «Лебединое озеро». Это обстоятельство меня сразу насторожило. Но Кутищеву я ничего не сказал, даже виду не подал. Захотелось поиграть в героя?.. А если бы мы не вышли?..

Но мы вышли.

Мы вышли около полуночи и сразу стали беглецами. Война гналась за нами по пятам через весь Город. Наш любимый Город — мы с трудом узнавали его! Целые кварталы были объаты пожаром, а улицы, куда он еще не добрался, стыли в прогорклой мгле. Казалось, горожане по некоему молчаливому уговору покинули свой домашний уют — с дремлющими котами, геранью в глиняных горшках и кисейными занавесками, — который так манит по вечерам тихим и приветливым светом окон, и все как один ушли... Скорее даже не ушли, а... исчезли. Да, да, именно исчезли! И в этом их внезапном исчезновении было что-то пугающее и, одновременно, завораживающе-таинственное — нечто такое, что сродни чувству, которое испытываешь, когда долго созерцаешь покойника, и тебе уже кажется, ты видишь, как его душа покидает окоченевшее тело... «О, как одинок этот город, некогда многолюдный!..»¹ — вспомнилось мне. Теперь в этой гряде костей, обглоданных ветрами, поселился огнедышащий змей. Пламя с ревом вырывалось из оконных проемов, вспухало, лопалось, взметая к небу мириады искр. На пустынных перекрестках кружил густой едкий дым. Подхваченный ветром, он слепо бросался из стороны в сторону, а иногда, огромный, безлапый, нырял вниз и, стелясь по лоснящейся от сырости мостовой, жадно проглатывал улицу за улицей. Было и страшно, и красиво... и странно. Мир войны, жизнь смерти... И то и другое не имело человеческого лица: обезличенная машина войны работала в Городе.

Сухие хлопки ружейных выстрелов раздавались то в отдалении, то — в соседних кварталах. За полуразрушенным зданием Оперы ухала артиллерия — все вокруг сотрясало, воздух звенел и дрожал. После каждого нового залпа над декоративными башенками театра вспыхивали зарницы, и там, в багряном мареве, будто в родной стихии, посверкивали позолотой хвостатые драконы остро очерченных флюгеров.

Тьма и пороховой ветер дышали нам в лицо... Нам — это мне и спецкору Кутищеву, которого я вот уже часа два, не меньше, тащил на себе, либо нес на руках, либо волок волоком по мостовой, и все это время никак не мог понять, что с ним случилось. На мои вопросы, высказанные со свойственной мне прямоотой, но, в то же время, и деликатностью, он упрямо повторял одно и то же: «Понимаешь, старик, либо я ранен, либо у меня чума, либо я умираю

¹ Плач Иеремии, I, 1.

от любви...» Было ясно, что мой друг бредит. Некоторое время я пробовал с помощью самых простых слов вывести его из сумеречного состояния ума и хоть немного приблизить к свету чистого разума, невзирая на критику последнего Иммануилом Кантом, с которой я был знаком еще по университетским лекциям профессора Беневольского, сошедшего впоследствии с ума на почве категорического неприятия категорического императива. Но все мои старания были либо бесполезны, либо напрасны, либо бессмысленны. А когда я попытался найти у Кутищева рану, чтобы обработать ее и перевязать, он обвинил меня в скучном практицизме, грубом материализме и полном отсутствии воображения. «Тебе недостаточно знать, что я умираю? — остывающим голосом говорил он. — Неужели, чтобы поверить в мою грядущую смерть, тебе необходимо воочию лицезреть кровь, или язвы, или мое разбитое сердце?..» Я не стал спорить. В конце концов, возможно, именно потому, что мой друг был идеалистом, а я материалистом, мне и приходилось теперь тащить его на себе, а не наоборот.

Спасаясь от погони, в существовании которой уже не оставалось ни малейших сомнений, нам пришлось проделать довольно долгий и запутанный путь, и силы мои почти иссякли. С высоты полета ночи мы, очевидно, были похожи на двух светляков, медленно ползущих по обожженному скелету Города. Ноги больше меня не слушались. Я остановился перевести дух, а заодно изучить обстановку. Впереди, в полусотне метров, виднелся перекресток двух улиц, сплошь изрытый воронками от снарядов. Всюду — груды разбитого стекла, обгорелое железо, битый кирпич, пустые гильзы... С покосившегося железобетонного столба, будто лианы, свисали оборванные провода, а рядом, на мостовой, валялся покореженный светофор — он все еще горел красным светом. Немного поодаль, у самой обочины, остывал обугленный остов грузовика. Но не эта картина разрушений, ужасная сама по себе, и даже не светофор, горящий неведомо как и для кого, поразили меня.

— Тебе не кажется странным, что мы до сих пор не видели ни одного трупа? — спросил я, с хрустом поворачивая голову.

— Как могли испугать тебя все эти зыбкие призраки? — в свой черед спросил меня Кутищев.

— Знаешь, пули над головой свистят совсем не призрачные!

— Брось, старик. Поля сражений, на которых мы гибнем или торжествуем победу, простираются не здесь. Они в наших сердцах.

После этих слов Кутищев, тяжело висевший все это время на моих плечах, стал еще тяжелее. Дыхание его было таким горячим, словно он огня наглотался. Я осторожно опустил его на холодный тротуар, у стены старого дома, — в первом этаже еще до начала боевых действий, насколько я помнил, размещалась аптека. Вывеска над зияющим входом была так искорежена осколками и пулями, что прочесть что-либо на ней не представлялось возможным.

— Может, сходить за лекарствами? — спросил я, становясь на цыпочки и заглядывая в слепые окна. — Знать бы только, за какими... Давай, я все-таки осматриваю тебя.

Спецкор Кутищев отрицательно покачал своей печальной рыжей головой.

— Но почему? Почему ты все время упираешься?..

Положив руку на сердце, похожий сейчас на покрытую копотью икону, он едва слышно прошептал:

— Накормите меня яблоками, подкрепите меня вином...

Я нервно рассмеялся:

— Чего нет, того нет.

Вообще-то я старался казаться спокойным и даже веселым, но давалось мне это с трудом. Ибо беспокойными и невеселыми были думы мои. В Городе война. Война в Городе... Я переставлял местами эти слова и так и сяк, будто от этих перестановок что-то могло измениться. Город в войне... Война! Нет, это не укладывалось в голове. А особенно то, что нас с Кутищевым хотят убить. Боже правый! Нас *хотят* убить!.. И этому нет объяснений. Возможно, есть причины, которых я не знаю. Но объяснений — нет. А причины и объяснения — далеко не одно и то же... Я совсем запутался в своих размышлениях. Может быть потому, что для глубоких размышлений не было времени. Да и достаточного мужества, пожалуй, тоже не было. Одно ясно: нас хотят убить, меня и Кутищева, или (что в сложившихся обстоятельствах было бы намного справедливее) сначала Кутищева, а потом уже и меня. Однако мой разум отказывался принять столь очевидную истину. Ах, этот «чистый разум»! Видите ли, он отказывается!.. Уж не потому ли, что мы до сих пор еще живы? То есть, если мы еще живы, значит, не так уж и хотят нас убивать?.. Живы! — я украдкой посмотрел на Кутищева. Он либо дремал, либо спал, либо грезил... Что же такого ужасного мы совершили? И кто *они* такие, чтобы лишать нас божественного дара жизни и божественного права на нее?.. Чем

больше вопросов я себе задавал, тем нелепее казались ответы: в самом деле, неужели весь этот военный конфликт между *ними* и нами мог случиться из-за книги? Из-за книги, самой мирной из всех книг, но в отличие от тех, еще даже не написанной?.. Да как такое возможно?! И кто эти *они*, черт побери?!

Тем не менее, факт оставался фактом: в Городе шла война, и мы то ползком, то короткими перебежками, под пулями, под шрапнелью, под осколками, рискуя каждую минуту погибнуть, продвигались к заветной цели — к написанию той самой Книги, единственной, необъяснимой, до сих пор не изреченной... Да, именно в таких словах говорил о ней мой друг Кутищев. Его тяготеющее к эстетству бессвязное многословие, порожденное горячкой, огорчало меня и даже злило. А как еще я должен был относиться к его заявлению, что «отныне время совершило мертвую петлю и перестало существовать»?! И что Город стал полем силы, по незримым силовым линиям которого распределились наши судьбы — моя и Кутищева, — как и судьбы всех, кого мы знаем и не знаем, — великая и непостижимая эволюция монад! И что силовые линии есть мужские и женские, и нас увлекло по одной из женских линий, ибо у войны — женская сущность, ее нужно воевать, и у Книги — тоже сущность женская, ее нужно писать. Вот почему воюют и пишут по большей части мужчины... Я уже не в силах был слушать весь этот вздор о двух храбрых рыцарях, странствующих в Фарамондском или Осмондском лесах, где за каждым деревом, за каждым кустом затаился злобный гоблин с обоюдоострым кинжалом. Всю эту несусветную чепуху о древнем Змие-убийце, которого в незапамятные времена запечатал в горе Никита Кожемяка («в некотором роде наш коллега!»), а вчера какая-то сволочь распечатала и выпустила на волю... Я чуть не заплакал от собственного бессилия и бесконечной жалости к моему несчастному другу, да и к себе тоже.

Между тем, похоже, спецкор Кутищев (впервые в жизни!) созрел для принятия ответственного решения, а именно: пасть смертью храбрых на поле боя. Хуже того: вероятно, он полагал, что это и мое сокровенным желание! Всю дорогу ему грезились какие-то «философские смерти», хризмы¹ и распятия... Вот и сей-

¹ Хризма или хрисмон (Хи-Ро), ☩ — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΟΣ) — Х (хи) и Р (ро), скрещённых между собой.

час, лежа на грязном тротуаре, он лихорадочно перечислял бесконечный ряд героев древности, которых распяли, как он выразился, «на кресте времени и пространства». Неожиданно, запнувшись на одном из имен, он как-то весь обмяк и надолго умолк.

— Нас положительно хотят убить, — высказал я свою наболевшую мысль в надежде вернуть друга к реальности.

— Ничего положительного не вижу, — откликнулся он будто из царства теней; голос его был холоден, как далекий колокол, но сам ответ его принес мне некоторое облегчение: значит, есть еще надежда, что спецкор Кутищев продолжит борьбу и не даст вот так запросто распять себя, а заодно и меня.

Я заговорил оживленнее, с напором, силясь вызволить его ослабевший дух из вязкой трясины апатии:

— И что за война такая дурацкая! Еще вчера никакой войны не было, а сегодня... Надо же!.. Как с цепи сорвались: бомбят, стреляют, крушат!

Прислоненный к стене аптеки, с померкшим лицом, спецкор Кутищев, казалось, крепко спал и меня не слышал.

— Ты что-нибудь понимаешь? — все больше распялял я самого себя. — Зачем все это?!

Кутищев отмахнулся — рука, точно веревка.

— Война как война. Она всегда здесь жила, только наружу не выползала... — сказал он и уже совсем не к месту добавил: — Тринадцать...

— Что — тринадцать?

— Тринадцать — это смерть иллюзий. *Bellum omnium contra omnes*, помнишь? Война всех против всех — вот что это такое. Ну а мы с тобой, старик, не устраиваем ни тех, ни других.

— Еще как устраиваем! — с горечью заметил я. — В качестве мишеней. И это — война всех против нас.

— Очень может быть. Но это ничего не меняет: все равно — тринадцать.

— Я тебя не понимаю...

— Есть такой Аркан.

— Вот именно, — подхватил я, — скоро нас с тобой заарканят и как двух псов бродячих поволокут прямиком на бойню!

Кутищев улынулся.

— За-арканят, — повторил он, прямо-таки смакуя каждый звук. — За-арканят... А что? Симпатичный каламбур... Впрочем, мы давно уже за-арканены — с самого рождения.

Он закрыл глаза. Так и не дождавшись продолжения или, скорее, пояснения, я отнес его темные речи, учитывая также их мрачный характер, на счет помутнения рассудка, или маниакально-депрессивного психоза, или разлития желчи...

Звуки выстрелов приближались. Загрохотали барабаны. Низкие — гулко выбухивали основной ритм, на который нанизывались звонкие дробы — злобные, агрессивные. Первые, казалось, били громче, вторые — ближе. Вместе они отражались в слепых зеркалах каменных стен и, многократно умножаясь, накрывали Город, как шрапнелью. Через равные промежутки времени вся эта барабанная шрапнель озарялась визгом и воем труб — так расцветали смертоносные цветы войны, у которых аромат пламени и крови, и вдохнувший его хоть раз постигает огнисто-черную душу смерти... Зажмурился, я видел как бы внутренним взором не какой-нибудь полковой оркестр в белых кителях с золотыми лирами в пеглицах, в белых перчатках и с начищенной до блеска ревущей медью — обыкновенный духовой оркестрик, собранный из щекастых выпускников училища имени Глиэра, забритых в солдаты, — нет, то настоящие демоны войны пели и вытанцовывали свой исполинский стэп... Я невольно заслушался, поддавшись жуткому обаянию этой макабрической полиритмии. Оставаясь все еще живым, я, казалось, ощущал истинный драйв предсмертной агонии, и это новое знание — непрошеное и запретное — повергло меня в такой ужас, что я вскочил на ноги и готов был очертя голову бежать, бежать, бежать — куда-нибудь... Или сей же час, немедленно проснуться, чтобы до конца дней своих никогда больше не засыпать. О, чего бы только я не отдал, чтобы или проснуться, или убежать, или просто исчезнуть!.. Но почему-то я не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Положа руку на сердце, я и до сих пор не знаю, что остановило меня в ту минуту: врожденная доблесть, хорошее воспитание, тупое упрямство или, быть может, просто здравый смысл, который иногда, подобно инстинкту, руководит тварями неразумными помимо их воли, но во благо им? Я так и застыл в какой-то нелепой позе над неподвижным спецкором Кутищевым. Наши взгляды встретились. В правом глазу моего друга посверкивала слеза, точно алмаз. Я уже хотел спросить его, почему он плачет: уж не пора ли нам прощаться друг с другом и с жизнью? — но он опередил меня, сообщив, что причиной слезы в его правом глазу является либо соринка, либо конъюнктивит, либо бревно...

И тут у меня случился нервный срыв.

— Бревно?! — кричал я. — Конъюнктивит?! Да ты хоть понимаешь, что все это из-за нас с тобой!

Кутищев безмолвствовал. Рот его и глаза были плотно сомкнуты, и весь он сейчас был подобен герметически закрытому сосуду.

— Зачем нужно было выходить из дому? Захотелось испытать судьбу?.. Сидели бы себе тихонько на кухне — и война бы не началась! Господи, какой же я дурак!.. И не надо так вздыхать, от твоих вздохов только хуже делается!..

— Дурак, — прошептал Кутищев.

— Конечно, дурак! Дурак, что послушался тебя. Дурак, что и сам пошел, и тебя не остановил. А ведь уже тогда можно было все понять... Ты вспомни, вспомни: мы вышли ровно в полночь — ты так хотел, — а уже на пятнадцатой минуте в нас швырнули первую гранату! Это и было начало войны... Господи, прошло всего каких-нибудь пятнадцать минут!..

— Ноль, — кротко возразил спецкор Кутищев.

— Какой ноль?! Я говорю, пятнадцать! Я даже время засек.

— Смотря откуда отсчитывать, — задумчиво сказал Кутищев. — Иногда в «пятнадцати» могут помещаться и все «шестнадцать», если отсчитывать от «ноля», как, скорее всего, оно и есть в нашем случае. Короче говоря, старик, если от «ноля», то надо делать поправку на единицу, потому что «ноль» — это «Дурак», и всякое смещение для него — природно... Кстати, именно по этой причине и граната не разорвалась.

— Смещение? — оторопел я.

— Ну да, смещение, старик! В этом-то весь фокус. Ты думаешь, почему граната не разорвалась?

— Да мало ли... мало ли, что на войне случается! Отсырела, или заржавела, или чеку забыли выдернуть...

— Как бы не так! Она не разорвалась потому, что мы с тобой в эту минуту находились между «разверстой пастью гиппопотама» и «фаллическим символом»... Кстати, старик, должен предупредить тебя: если ты пошел на столь рискованное дело из-за женщины, то берегись...

Да, мой друг Кутищев был плох. Совсем плох. Он бредил... И я бредил вместе с ним и поэтому был еще хуже, чем он.

— Если бы мы остались дома... — чуть не плача снова повторил я, уже начиная за это себя ненавидеть. — Какой же я дурак!

— Ты так напуган? — Кутищев посмотрел на меня не то с грустью, не то с сожалением, не то с удивлением. — Дурак — это состояние величайшего одиночества, — сказал он, — ибо никто в целом мире не поспешит к нему на помощь... Помнишь, у Экклезиаста: «Но горе одинокому, когда упадет, а другого нет, который поддержал бы его». А у тебя есть я, и я не дам тебе упасть, хотя со стороны может показаться, что это ты меня тащишь на себе и не даешь упасть...

От такой наглости я опешил!

— Тебе так не терпится быть разумным? — продолжал Кутищев, не давая мне опомниться. — Но, скажи мне, как можно стать разумным, не будучи сначала дураком? Только дураку есть куда стремиться. И ты стремишься, стремишься...

— Я стремлюсь?..

— И вот однажды ты становишься разумным. И тогда ты восклицаешь: «О Господи, какой же я дурак!»

— Ну хорошо, — согласился я. — Ответь мне только на один вопрос: если мы сейчас вернемся назад, война прекратится?

— Поздно, — сказал Кутищев, глаза его просияли, в длинных рыжих волосах появились какие-то странные золотистые проблески. — Теперь уж поздно об этом говорить. Дело сделано, и слава Богу. — Он немного помолчал — видно, слова давались ему с трудом, — а потом, судорожно сглотнув, произнес: — Старина, я должен сказать тебе одну вещь... Очень важную...

— Какую?

— Обещай, что не станешь обижаться.

Внутри у меня все оборвалось. Да и могло ли быть иначе после такой преамбулы? Ведь, собственно, я уже был обижен, и еще как! Разве не спецкор Кутищев сорвал меня с постели — тепло, сонного, разомлевшего и почти счастливого? Разве не он чуть ли не силком потащил меня в ночь, в этот черный ветер, отравленный пеплом, дымом и гарью — и всё лишь затем, чтобы измышлять... (Мой внутренний монолог был внезапно прерван: над нашими головами пронесся ледяной сердцем свист, ослепительная вспышка света вырвала из тьмы перекресток двух улиц с церковью на углу; мостовую сильно потрянуло, и церковь как бы нехотя сползла вниз с вертикального полотна ночного пространства, превратившись в груды камней, а мы с Кутищевым потонули в клубах пыли вперемешку с густым едким дымом...) Да, так вот, — вернулся я к своей мысли, — и все это ради того,

чтобы измышлять какую-то эфемерную книгу? Эфемерную — в смысле написания, но, как видно, достаточно реальную, чтобы вызвать к жизни весь этот кошмар... Странно, откуда на перекрестке взялась эта церковь — старая, в псевдорусском теремочном стиле? Никогда раньше я здесь ее не видел. И вообще мне всегда казалось, что на этом месте стоял Институт архитектуры с лампами дневного света в окнах, с кульманами и ватманами и злым вахтером на входе... Мои мысли метались в разные стороны — совсем как те трассирующие пули, что сейчас огненными стрелами пронизывали беззвездное небо во всех направлениях... Это было похоже на хаотичный отстрел звезд — последних, уже занесенных в Красную книгу... Да, похоже, мой друг знал, что говорил, когда после той неразорвавшейся гранаты заявил: «А разве ты не знал, что все великие дела чреватые смертельной опасностью?» Я даже встряхнул головой, пытаюсь избавиться от страха.

— Ты хотел сказать что-то важное, — напомнил я Кутищеву, видя, что он молчит.

Он долго не отвечал, то ли решая, говорить или не говорить, то ли подводя итоги своей жизни, то ли прислушиваясь к отчаянной пальбе и вою сирен на соседних улицах. Потом жестом показал, чтобы я придвинулся ближе.

— Оставь меня здесь, — прошептал спецкор Кутищев, было видно, как к его горлу подкатил комок, глаза увлажнились.

— Как так, оставь?! Что все это значит?..

— Брось меня! — тоном, не терпящим возражений, сказал он. — Ты должен идти один. Я буду только обузой...

— Ты что, совсем с ума сошел? — Сказать по правде, я не знал, чего сейчас во мне было больше: возмущения, или страха за его дальнейшую судьбу, или боязни остаться одному. — Ты меня впутал во всю эту историю с книгой... Ты стащил меня с дивана, вытолкал на войну, а теперь — брось? Теперь я один должен все расхлебывать?

— Почему один? Ты же знаешь, Перетятко должен ждать нас в Замке...

— К черту твоего Перетятко! Думаешь, я не знаю? Наверное, опять наклюкался до беспамятства и дрыхнет без задних ног. Ему теперь и война нипочем.

— Bravo!.. Чем больше ты будешь мечтать о возвращении в свой зачуханный раёк с продавленным диваном, чашкой водянистого чая, облезлым котом и таким же облезлым пледом, пахнущим облезлым котом, тем скорее и тем вернее ты совершишь великий подвиг. Все правильно, старик. Таков механизм достижения цели: ее нельзя желать, не противопоставив ей своего отчаянного нежелания.

— Ты бредишь! — не выдержал я. — У тебя горячка.

— Нет, старик, у меня контузия, или радикулит, а может быть, гангрена... В общем, не важно. Мне хана! А ты... Я знаю, ты сможешь довести дело до конца.

— Но как же книга? Наша книга?

— Наша?.. Она — просто слепок. Как и любая другая книга.

— Ах, слепок! И из-за этого «слепок» в Городе началась война? Да ты смеешься надо мной!

— Все не так просто, старик... Понимаешь, у Единого Человека, расprostертого в Космосе, есть Единая Книга — Книга Книг. Он пишет ее вечно в бесконечном своем бытии. И эта великая Книга объединяет в себе все книги всех времен и миров: они как реки и ручьи, как воды земные и небесные, что впадают в единый океан и, слившись в нем, постигают свою неразделенность. Понимаешь?

— Нет! — честно признался я.

— Ну, считай, что наша с тобой книга — всего лишь миллиардная частица Книги Книг. Одна из ее страничек... Может быть, полстранички... И если даже наша книга, которую ты напишешь, станет одним-единственным маленьким предложением в великой Книге Книг, — это уже хорошо. Теперь понимаешь?

Я опустил глаза.

— Дурень! — сказал я.

— Ошибаешься, старик. Дурень — это ты, а я — Висельник...

Двенадцать.

— Хорошо, лучше дурень, чем висельник.

— Тебе не быть Висельником, можешь и не надеяться. — Кутищев перевел дыхание. — Это — моя судьба. Моя... Двенадцатый Аркан...

— Извини, — перебил я, — но я уже перестал понимать, когда ты бредишь, а когда говоришь трезво. Для меня — все это какая-то ахинея.

— Это не ахинея, старик. К сожалению, сейчас не время объяснить тебе, как действует вековечный механизм. Великие философы годами постигали его, а мы с тобой в полном цейтноте... Просто доверься мне.

— Я уже доверился один раз, и вот видишь, чем все закончилось.

— Это только начало.

— Какая прелесть!

— Пойми, старик, все не так просто...

— Я это уже слышал.

— Нет, ты меня не слышишь! Или не хочешь слышать.

— Хорошо, говори.

— Пойми, во мне умер Бог! — По телу спецкора Кутищева пробежала мелкая дрожь и тут же перескочила на мое тело. — Во мне умер Бог, — повторил он, крепко сжимая мою руку. — И теперь я способен только на жертвенность, больше ни на что... А у тебя... у тебя нулевой Аркан. Ты пройдешь через всё, свяжешь всё и перевернешь. Потому что Бог, как известно, дурней жалуется.

Еще один снаряд разорвался — на этот раз где-то за углом дома с аптекой. Нас окатило градом стекольного крошева. На перекресток с ревом и лязганьем выехал танк. Он остановился и приглушил мотор, будто почуял что-то. Покатая, похожая на черепаший панцирь, башня с длинным вздернутым стволом орудия поворачивалась во все стороны в поисках жертвы (уж не той ли, о которой только что говорил Кутищев?!), и ослепительно-яркий луч прожектора ощупывал одну за другой стены зданий. Мы оба замерли, лежа ничком на асфальте, прямо в грудях битого стекла. С трудом верилось, что в утробе этого стального мастодонта могут находиться люди — обыкновенные люди из плоти и крови. И, однако же, они там были: нажимали на рычаги, смотрели в перископ, вкладывали снаряд в орудие, переговаривались. Может быть, рассказывали анекдоты и поедали тушенку прямо из жестяных банок — потные, с черными от копоти лицами... В желудке у меня предательски заурчало. Кутищев медленно повернул ко мне свое лицо и приложил палец к губам. Но что я мог поделать? Перед выходом я даже не поужинал, поскольку сам же Кутищев настаивал на том, что на сытый желудок настоящие книги не пишутся. Танк по-прежнему стоял на месте. Напряжение нарастало. Мой взгляд буравил броню, как будто бы мог, словно рентгеновский луч, проникнуть внутрь. Орудие медленно повернулось в

нашу сторону и застыло в ожидании. Я сразу представил, как из его жерла вырывается сноп огня... Сердце мое отчаянно заколотилось, подскакивая к самому горлу. Меня охватил такой ужас, что я уже готов был вскочить на ноги и побежать сломя голову куда-нибудь... Рука Кутищева, тяжелая и холодная, опустилась мне на спину. «Лежи, не двигайся», — услышал я его шепот, будто доносившийся с того света. Крышка люка на башне со скрежетом откинулась и показалась сначала голова в шлеме, а следом и вся фигура танкиста в черном комбинезоне с автоматом в руке. Ботинки его звонко застучали по броне танка. Спрыгнув на мостовую, он повесил автомат на плечо и, повернувшись к нам спиной, стал мочиться прямо на гусеничные траки. Облегчившись, танкист зажег сигарету и сделал несколько глубоких жадных затяжек. Еще одна голова высунулась из люка. «Ты куда ссышь, придурок? — прокричала голова. — Другого места не нашел?» — «А я темноты боюсь!» — последовал ответ. «Вот дебил!.. Ладно, поехали, их видели на Сретенской!» Насвистывая что-то веселое, танкист вскарабкался на башню и полез в люк. Взревел мотор, танк рванулся с места и, разворотив по пути догорающий у обочины грузовик, скрылся за углом, омерзительно лязгая гусеницами.

— Уходим, — решительно сказал я. — Нельзя здесь оставаться.

Я снова взвалил обессиленного спецкора Кутищева себе на спину вместе с его контузией, или гриппом, или подагрой, и понес его дальше.

— Молодец, — прошептал он мне в самое ухо. — Молодец, что не бросил меня, хотя спасти меня все равно невозможно... Просто я должен был проверить тебя, старик.

— Когда поправишься, я набью тебе морду, — прохрипел я, не останавливаясь.

— Ты настоящий Дурак, за это я тебя и люблю, — сказал Кутищев. — Ладно, давай я попробую идти сам.

II

Стиснув зубы, Кутищев ковылял рядом, тяжело опираясь на мое плечо. Ноги слушались его плохо. Впереди чернел силуэт пятиглавой барочной церкви; золото крестов на ее куполах время от времени вспыхивало в зарницах канонады, гремевшей где-то в Нижнем Городе.

— Стой! — сказал Кутищев, резко останавливаясь. — Что это?

Он наклонился и поднял с мостовой пробитую пулей милицейскую фуражку. Кутищев просунул палец в дырку.

— Калибр семь шестьдесят два, — сказал он тоном знатока. — Пистолет ТТ... Легендарное оружие... Ага, тут что-то написано. Прочти, я плохо вижу.

Превозмогая внезапный приступ тошноты, я взял фуражку в руки.

— Внутри, — подсказал Кутищев.

Я перевернул фуражку. На внутренней стороне околыша действительно виднелась какая-то полузатертая надпись.

— «Тринадцатый сон Пришивалова»... или «Пришибалова»... — прочитал я. — Тут как-то неразборчиво... Что это значит?

Кутищев взял у меня фуражку и метнул ее в темноту.

— Пойдем, — сказал он. — Анализ может нас далеко завести. Тебе ведь не очень понравится, если вдруг выяснится, что все это даже *не наш* сон?

— Не знаю...

— Ну вот и ладно.

От церкви, меж покрытыми сухостоем холмами, улица круто устремлялась вниз, заворачиваясь кольцом. Вымощенная грубо тесным бульжником, она напоминала чешуйчатую спину дракона, спящего в ложе из каменных омертвелостей домов. «Уж не тот ли это распечатанный какой-то сволочью Змий-убийца, о котором в бреду упоминал мой несчастный друг?» — подумал я, но спросить вслух не рискнул: кто его знает, что бы я услышал в ответ?

Спотыкаясь на каждом шагу, мы миновали церковь. Оставшись у нас за спиной, она парила в мгlistом небе. До Замка было уже рукой подать — его зыбкая громада маячила впереди, метрах в пятидесяти ниже. Взметнулась и зависла над его башней и дымоходами ярко-красная ракета, заливая все вокруг кровавым светом. Спецкор Кутищев стал пунцовым, и глаза у него отливали красным, как у кролика. Наверняка и у меня был такой же адский вид, так что мы оба в ужасе отшатнулись друг от друга... Послышался рокот моторов. Он угрожающе приближался... Мы бросились в маленький садик со старинной беседкой, на краю крутого склона, утыканного мертвыми деревьями, и укрылись за одним из них, плотно прижавшись к его голому безжизненному стволу. Сверху, по нашим еще не остывшим следам, разрывая тишину в клочья своей трескотней и рыканьем и подскакивая на неровных

бульжниках, спускалась колонна мотоциклистов. Раздалось несколько автоматных очередей. Трассеры свистели слева, справа, над нашими головами, срезая сухие ветки, и с тупым звуком ударили в стволы деревьев. Не останавливаясь, колонна проследовала дальше, в сторону Нижнего Города. Обесточенный, без единого огонька, он зиял где-то там внизу, за холмами, будто черная падь. Вдалеке грохотала канонада.

- Во обложили, гады! — прошептал я.
- Дирижабль видел? — спросил Кутищев.
- Какой еще дирижабль? — изумился я.
- Там, над холмом, где заброшенное кладбище...
- Кладбище?..
- Да, монастырское... Не высовывайся, он сейчас улетит.

Выждав несколько минут, мы покинули наше укрытие и снова ступили на «драконью спину». И тогда разверзлись хляби небесные. Стена воды обрушилась на Город, заглушив все звуки войны. Улица мгновенно превратилась в грохочущую горную реку. Клокоча и пенясь, она стремительно неслась вниз, увлекая за собой остатки довоенной жизни: фотокарточки, открытки, пустые бутылки и консервные банки, детские игрушки, шляпы, кастрюли и чайники, обломки мебели и даже денежные купюры, которые теперь стоили меньше, чем осенние листья. Поток подхватил и нас с Кутищевым и понес, и мы были как те осенние листья... Странно, но на сердце у меня стало легко и спокойно.

— Хочешь знать... почему нет... ни одного трупа? — кричал Кутищев, гребя руками по-собачьи и отплеываясь — пловец из него был никудышный.

Да, умеет мой бедный друг испортить настроение! Но, с другой стороны, действительно было странно: столько войны — и ни одного трупа.

- Почему? — крикнул я в ответ.
- Потому что мы с тобой... еще живы!..
- Лучше гребь, а то утонешь! — зло огрызнулся я.

Замок быстро приближался. Еще несколько гребков — я ухватился за край выступающей из воды каменной ступени и протянул руку спецкору Кутищеву. Из последних сил он судорожно ухватился за нее — и я вытащил его из потока, едва живого.

— Вот он, «Фаллический символ», Замок Света, — промолвил он, тяжело отдуваясь.

Я тихонько постучал в дверь.

— Если на башне четыре зубца, то тогда — Шестнадцать, — продолжал размышлять Кутищев, и у меня были все основания опасаться за его рассудок. — Ты случайно не обратил внимания, сколько зубцов на башне?

— Нет, — сказал я раздраженно и постучал в дверь уже громче. — Если бы я считал зубцы на башнях, то мы наверняка бы утонули.

— Но даже если Шестнадцать... выбирать не приходится, — с кротким видом заключил Кутищев.

— Где твой Перетятыко? — спросил я, со всей силой стуча в дверь кулаком. — Почему он не открывает?

— Он такой же мой, как и твой...

— Что будем делать? — прервал я Кутищева.

Над холмом с кладбищем взвились еще две красные ракеты, превращая небо в пылающий студень, улицу — в огненную реку, а нас — в беззащитных букашек. Ливень лил, не переставая; вода текла с нас ручьями, которые впадали в бурный поток, с ревом проносившийся уже у самых наших ног. Где-то внизу, за поворотом, заворчал моторный катер. «А вот это конец!» — мелькнуло у меня в голове. Мы с силой прижались к двери так, будто надеялись раствориться в ней. Внезапно под нашим натиском дверь распахнулась, и мы с грохотом рухнули на пол. Дверь за нами сама захлопнулась. «Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр...» — фырчал за дверью моторный катер, с натугой преодолевая стремительное течение. «Клац-клац-клац-клац-клац...» — стучали наши зубы в темноте. Сколько времени мы пролежали ничком на полу, сдерживая сердцебиение, в страхе пошевелинуться, насквозь промокшие и продрогшие, — не знаю. «Хорошо, что под нами не цемент и не кафель», — думал я. Мы лежали на прекрасном дубовом паркете, и, значит, простуда нам не грозила. И это единственное, что нам не грозило.

Мало-помалу мы приходили в себя и уже могли кое-что различать вокруг. Это было просторное помещение, своды которого исчезали во тьме. В центре — широкий прямоугольный стол, несколько венских стульев. Справа — камин с решеткой. Дров не было. Над камином — большое зеркало в золоченой раме. Слева смутно виднелась деревянная лестница с высокими витыми перилами; она уводила вдоль стены куда-то вверх. Воздух стоял затхлый, тяжелый, — по-видимому, здесь давно никто не жил.

Зазвонил телефон. Мы с Кутищевым вздрогнули и удивленно переглянулись. Аппарат висел на стене, у самого входа. Звонки были резкие, настойчивые... На цыпочках я подкрался к телефону и еще раз посмотрел на Кутищева. Тот кивнул. Сделав глубокий выдох, я снял трубку. На другом конце провода был Перетятько. «Ночью буду ждать в Замке!» услышал я... и сразу короткие гудки. Ни тебе «здравствуйте», ни «до свидания». И голос какой-то несвежий...

— Звонил Перетятько, — сказал я, в некоторой растерянности кладя трубку на рычаг. — Судя по голосу, он звонил еще днем, а сюда докатилось только сейчас.

— Стало быть, звонок довоенный, — сказал Кутищев. — Чего он хотел?

— Да ничего. Сказал, что будет ждать нас в Замке...

— Ну, и где же он?

Я пожал плечами.

— Похоже, ты был прав, — вздохнул Кутищев. — Скорее всего, он напился еще вчера и все проспал... Вот свинья!

— Не думаю, — сказал я. — Голос у него, конечно, был несвежий — не этого часа, — но трезвый.

— Трезвый?

— Трезвый. Я уверен.

— Гм... Что же тогда могло случиться?

По скрипучей деревянной лестнице мы поднялись на антресоли. Кроме трех железных кроватей, покрытых полосатыми тюфяками, здесь ничего больше не было.

— Отдохнем немного? — спросил я.

— Не плохо бы, — откликнулся Кутищев и тут же повалился на одну из кроватей; ее противный скрип, наверное, был слышен даже на улице.

Я помог ему снять ботинки, потом разулся сам и лег на вторую кровать. У моей кровати скрип был более мелодичный, что-то ностальгическое слышалось в нем. Переодеться было не во что, — мы лежали, молчаливо уставившись в потолок, обхватив себя руками в попытке согреться, и наша мокрая одежда медленно сохла на наших телах... Я опять подумал о Перетятько — третья кровать, очевидно, предназначалась для него. Что же, в самом деле, могло случиться? Почему он не пришел, не встретил нас? Может, он попал в плен и сейчас, пока мы здесь жируем, его пытаются?.. А может, его подстрелили, когда он пробирался в Замок?.. От этих мыслей меня мутило.

- Ты не спишь? — тихо позвал я Кутищева.
— Уснешь тут, — пробурчал он.
— Послушай, когда ты в последний раз видел Перетятко?
Кутищев ответил не сразу:
— Я вообще его никогда не видел.
— То есть, как это?.. Он же твой друг!
— Мой? Я думал, он твой друг.
— Да я его в глаза никогда не видел!

Мы оба приподнялись на своих кроватях, и каждая заскрипела на свой лад. Я даже почувствовал, как одежда на мне стала сохнуть быстрее.

— А чему тут удивляться, старик? — сказал Кутищев. — Духовная правда и правда историческая часто не совпадают. По крайней мере — во времени.

Мы снова приняли горизонтальное положение.

III

Несмотря на сильную усталость, я никак не мог уснуть. Должно быть, от нервного перевозбуждения. А еще — не покидало чувство, будто обо всем происходящем с нами я уже читал в какой-то книге. Но тщетно силился я вспомнить, в какой именно. Мысли мои все время возвращались к войне, причиной которой мы стали и, одновременно, жертвами которой должны были стать — во всяком случае, именно к такой развязке все шло. Я вспомнил, как Кутищев называл войну — Медузой Горгоной. И, следовательно, на войне художнику никак не обойтись без зеркала, ибо, если он возжелает смотреть на нее в упор, сердце его навсегда окаменеет. С грустью сознавал я, что не в силах, подобно моему другу, философски отстраниться от всех этих чудовищных событий. Не было у меня такого «зеркала»!.. Меня мучила совесть. Ведь несмотря на уговоры Кутищева и мои собственные старания, я не чувствовал в себе той прекрасной и отчаянной, бросающей вызов судьбе дерзости человеческой, которую древние греки именовали «Hybris» и за которую нас со всею очевидностью ждала страшная кара...

Еще некоторое время я прислушивался: нет ли комаров? Я ужасно не люблю комаров, особенно когда при выключенном свете они зудят и зудят где-то над самым лицом, словно совершая невидимые фигуры высшего пилотажа, то отдаляясь, чтобы запу-

тать меня, то приближаясь, чтобы спикировать на мой нос или под глаз. И, стоит тебе уснуть ... О-о-о!.. Но комаров не было. Неужели и они покинули этот Город?.. Я слушал далекий рокот канонады и беспокойное дыхание Кутищева. «Как он может спать?» — не без зависти подумал я.

Так и лежал я — с открытыми глазами. Сквозь перила антресоли я видел лишь малую часть залы внизу — с камином, зеркалом и дверью, которая могла распахнуться в любую минуту. В зеркале странным образом отражался блик света. Ему неоткуда было взяться, и все же он отражался. Я смотрел на него долго, ожидая, что вот сейчас он исчезнет, но он не исчезал, и взгляд мой, подобно углой лодчонке, тонул в темной глади стекла. Казалось, в этой зеркальной пучине можно тонуть вечно... Слух мой обострился настолько, что я мог слышать не только поскрипывание кроватей и посапывание Кутищева, но и ружейную пальбу в разных концах Города, топот сапог по брусчатым мостовым, бряцанье оружия и шум дождя. А зрение мое и вовсе отделилось от меня, и теперь перед ним распахнулось все помещение целиком вместе с нашими спящими телами — такими утомленными, маленькими и беззащитными... Передо мной медленно поплыли картины моего некогда безмятежного и грешного богемного прошлого:

Под тихий скрип убогой койки
мне снится странствий света,
невероятные попойки
и пьяных женщин нагота
Таинственно и полновластно
струится ночи долгота...
Чем гуще сумерки,
тем женщины прекрасней
и тем опасней
темнота...

Сердце мое болезненно сжалось. Я испытывал странное чувство неловкости, как будто кроме меня кто-то еще видел все это. Но как будто этим кем-то был я сам. Война так быстро и так глубоко изменила меня, что все эти картины прошлого теперь казались бесцветными, бессмысленными и даже постыдными.

Гладь зеркала покачнулась и стала прозрачной, словно вода озерная, и мертвые глубины ее наполнились живым дыханием, и там взошла Луна, вся в голубом сиянии. «Я — Луна», — сказала Луна. «А я — Классик», — представился я, и даже самому стало противно. Луна не отвечала, будто ожидала от меня чего-то другого. «Я — Король!» — воскликнул я и сам удивился. «Королевство грядет», — сказала Луна, и свет ее стал золотым. Казалось, она смотрит мне прямо в глаза, ибо мои глаза — это все, что от меня осталось. Я стал зрением в чистом виде. Я стал золотым взором. И вся зала огромным полым шаром вертелась вокруг меня... «Я знаю тебя, я люблю тебя!.. Я всегда тебя любил, даже когда меня еще не было...» Луна улыбнулась: «Ты был всегда». — «Да, я был всегда... Как хорошо, что я был всегда! Но я всегда так много говорил и не знал, что на самом деле был нем, как почва...» Луна смотрела на меня с любовью и нежностью: «Ты будешь всегда». Так она говорила мне, мерцавшему в этом заброшенном посреди бушующей войны доме. Она знала обо мне все, она успокаивала меня, как ребенка. И я заплакал... Клянусь Грядущим Королевством, это было так прекрасно, что я несколько не стыдился своих слез! Наверное, впервые в жизни я был по-настоящему счастлив, так что неожиданно для самого себя запел, и голос мой был чист и свеж, как ветер. И я, как тот король-пастух, что видел, то и пел:

Я вижу:
из озер зеркальных,
где перевернутых
дворцов пирамидальных
колеблются изысканные силуэты,
подобно водным травам,
между тьмой и светом,
из тех глубин,
наполненных слюдою,
и платиной, и жемчугом, и темнотою,
из тех миров
непроницаемых и застекленных,
теперь оживших
и дыханьем окрыленных,
восходишь ты, нежна и молчалива,
царица серебра
над зеркалом залива, в котором я тону...
Я вижу:

за твоей спиной
эпохи, царства и народы,
любовь богов, война миров,
великие походы —
все то, что женщина способна отразить,
а зеркало — навеки сохранить.
Я вижу пахаря и звездочета,
разбойника лесного,
рыцаря, пилота,
апостола, солдата, гончара...
Еще — две чаши светятся во мгле:
одна с вином,
другая с ядом, —
их перемешиваю взглядом
и вот, вкушаю —
так велит любовь.
Я умираю и рождаюсь вновь...

И вижу я,
себя не осязая,
как долго и печально
любовь моя стоит у алтаря
и видит сон зеркальный.
Как в сгустке янтаря
ты запечатана в том сне
и снишься мне —
так солнце отражается в тебе,
и ты сама еще не знаешь,
что в золотых его лучах
бессмертный образ обретаешь...

Но знаю я:
расплавится янтарь,
ты выпорхнешь на волю —
для этого достаточно всего лишь
пять унций веры, океаны боли,
немного волшебства и королевской воли...

Так я пел, и мне казалось, что многоголосый и полнозвучный хор поет вместе со мной. Да, это была странная песня, странная музыка. И столь же странной была моя любовь...

— Восемнадцать... — едва слышно пробормотал сквозь сон спецкор Кутищев. — Вторая инициация...

«Несчастный, даже во сне не утомонится!» — подумал я.

И тут, будто сквозь шум ветра, под громкий храп моего друга, я услышал дивный голос в ответ:

Метели, птицы, листья улетели —
любимый, ты люби меня.
Века меж нами пролетели —
ты все равно люби меня...
Под нами земли
в ожиданье млеют,
и корабли плывут, и облака —
и тают, за собой маня,
и тлеет тонкий звук свирели...
Любимый, ты люби меня.

К тебе небесною росой,
дыханием вернусь.
вином и медом, и живою
водою дождевой прольюсь.
Любимый, ты люби меня...

— Светло... светло... — бубнил Кутищев. — Светло как днем...

Я встал с кровати, которая жалобно заскрипела в тишине и, подойдя к моему беспокойно спящему другу, потрогал рукой его лоб — он был горячим, липким от пота. Волосы на его голове заметно поредели и стали еще золотистее. «Похоже, кризис», — подумал я, снова ложась на свою кровать.

И тут... Я даже не успел испугаться. Вспышка света. Удар. Звон в ушах. Кровать скакнула из-под меня, как лошадь... Внизу, там, где минуту назад была входная дверь, сквозь завесу порохового дыма и пыли я увидел какую-то бесформенную толпу людей. Их появление сопровождалось странным и очень неприятным эффектом: меня словно заморозило, даже пар пошел изо рта, а мокрая одежда (с которой, как я теперь заметил, ударной волной сорвало все пуговицы) задубела и покрылась инеем... Со скрипом кроватным я повернулся к Кутищеву. Его трясло в ознобе. И палец, который он приставил к губам, тоже дрожал. Я снова посмотрел вниз. Зеркало, еще несколько минут назад бывшее для

меня источником прекрасных грез, как это ни странно, после взрыва уцелело, но поверхность его была покрыта толстым слоем искрящегося инея.

Громыхая коваными сапогами и громко переговариваясь, толпа заполнила помещение.

— Дайте свет! — потребовал кто-то ржавым металлическим голосом.

Все тут же, как тараканы, разбежались в стороны. Зачиркали спичками, защелкали зажигалками.

— И уберите зеркало! Вы же знаете, я ненавижу зеркала!..

Словно смирительную рубаху, на зеркало набросили защитного цвета брезент. Внутри у меня все померкло.

Один за другим загорались огни керосиновых ламп, и лица людей возникали будто из небытия, едва оживленные тусклым желтушным светом. Я насчитал тринадцать с половиной душ. У тринадцати — лица словно из воска, в руках — страшные деревянные автоматы. А тот, которого я посчитал за «половину души», был персоной во всех отношениях необычной: мал ростом, мурчлив и пискляв, он беспрестанно вертел головой, попростолоудински шмыгая носом, и взгляд его словно выискивал кого-то по темным углам. Но самым необычным в нем было, так сказать, анатомическое строение: он наполовину состоял из kota, а наполовину — из мышцы... Нет, не в том смысле, что, скажем, передняя часть его была кошачьей, а задняя — мышшиной, или наоборот, а в том смысле, что весь он, до мельчайших деталей, — как говорится, с ног до головы, — состоял из двух этих антагонистических природ; он был из них как бы синтезирован — одновременно и во всех направлениях. Кроме того, держался он на двух задних конечностях, и притом весьма осанисто. И если все тринадцать носили военную униформу, обильно «обрегаленную» регалиями, то сей странный Котомыш был одет в цивильное, тоже сплошь украшенное орденами, словно торт цукатами и кремовыми розами, а на поясе у него висела внушительных размеров ведерная клизма.

Среди остальных особенно выделялись еще двое: сухопарый мужчина в черном мундире, застегнутом до самого подбородка, лицо его было неподвижно, словно у промерзшей щуки, а в глазнице сверкал монокль с невероятно огромным изумрудом; рядом, широко расставив ноги, стояла какая-то тетка со злым

синюшным лицом. Тетка была облачена в резиновый ОЗК¹, а поверх, будто змеями, обвита португееями, парашютными лямками и патронташами. В одной руке она сжимала тлеющую метлу, а в другой — газовый фонарь, который гудел, как партизаны в землянке.

— Пятнадцать... Инфернальная триада, видишь? — прошептал спецкор Кутищев так, что меня дрожь пробрала.

Владелец изумрудного моногля медленно прошаживался вдоль строя, придирчиво вглядываясь в лица солдат, замерших по стойке «смирно», — одна нога его громко скрипела, будто заржавленный костыль. Вид у него был такой, словно он хотел для разминки произвести децимацию², как в римской армии. Котомыш и синюшная тетка привилегированно расположились отдельно.

— Эй, разведка! — с подчеркнутым командирским высокомерием бросил он в их сторону.

— Слушаю-с, Сидор Пантелеймоныч! — живо откликнулся Котомыш; сделав шагок вперед, он остановился, изящно опершись лапкой в кожаной перчатке на клизму.

— Что скажете, штабс-капитан? С нетерпением жду вашего доклада.

— Извольте, Сидор Пантелеймоныч.

Лихо смахнув с широкой поверхности стола какой-то антивариат, штабс-капитан Котомыш расстелил полевую карту и снял перчатки. Некоторое время он о чем-то раздумывал над ней, то барабанил ногтями по столу, то ворча себе под нос и почесывая в затылке. В сильном нетерпении синюшная тетка подступала к нему то справа, то слева, пытаясь что-то показать дымящейся метлой на карте, но Котомыш, невзирая на ее принадлежность к дамскому полу (хоть и чисто символическую, но все же!), довольно грубо ее отпихивал. Справившись с очередным таким поползновением, он царапнул когтем где-то в середине карты и по военному четко доложил:

— Мы находимся здесь.

— Очень хорошо, — согласился Сидор Пантелеймоныч, снимая огромную фуражку и вытирая платочком капли пота на лысом черепе. — А мы?

¹ Общевойсковой защитный комплект (*армейск.*).

² Децимация (*лат. decimatio*) — наказание каждого десятого в римской армии.

— Вы?.. — Котомыш почесал лапой затылок. — Ну, вы — это совсем другое дело! Вы — вот здесь...

— Совсем хорошо. А они?

— А вот это-то самое интересное, командир! Видите ли...

— Все понятно, можете не продолжать.

Наконец синюшной тетке удалось пробиться к столу.

— Нутром чую, они где-то здесь! — она провела газовым фонарем круг над головой. — Уж поверьте женской интуиции.

— Ты бы отвалила, Мотька, пока не зашиб, — мягко посоветовал Котомыш. — Где это видано, чтобы солдатскую смекалку подменяли бабьей интуицией?

— Так я же для общего дела! Командир, чего это он мне рот затыкает?

— Очень хорошо, любезная Матрена, мы проверим ваши предположения, — сказал Сидор Пантелеймоныч. — Обязательно проверим. В свое время.

— Да что тут проверять! — презрительно морщил часть морды Котомыш. — Был бы у этой карги орган Якобсона, тогда другое дело. А то нутро, которым она якобы чует, мы знаем преотлично даже — сплошная мусорная яма...

— Нахал! — оскорбилась Мотька, замахиваясь метлой. — Я вот-те сейчас фонарем по башке как забурбеню!..

— Ну вот видите, Сидор Пантелеймоныч! Вот она, типичная бабья непоследовательность: замахивается метлой, а ударить хочет фонарем.

— Всем молчать! — скомандовал Сидор Пантелеймоныч. — Прошу не забывать, мы на войне и враг у нас один... Или два? — и он вопросительно поднял сначала одну бровь, а потом и обе вместе. — Один или два, я спрашиваю?

— Так точно, два! — отчеканил штабс-капитан Котомыш. — Два в одном.

— Превосходно. Кстати, Лаврентий, как вам наша война?

— Ох, хороша, Сидор Пантелеймоныч!

— Вот именно! Плохих войн не бывает, штабс-капитан, бьют только плохие солдаты.

В ответ Котомыш Лаврентий четко козырнул.

Мы с Кутищевым до предела вжались в свои кровати и уже почти не дышали. Еще немного, и мы научились бы и вовсе обходиться без воздуха, без тепла, а заодно и без пищи. Наше состояние было сродни анабиозу...

— А вот здесь вы прочесали? — как бы невзначай поинтересовался Сидор Пантелеймоныч, склоняясь над картой.

— Так точно, прочесали.

— А здесь?

— И здесь тоже.

— И здесь?

— Так точно-с.

— Что, и здесь тоже?

— Мы везде прочесали, командир, — с чувством выполненного долга сообщил Котомыш Лаврентий, сбросил с задней лапы ботинок и прочесал ею у себя за ухом. Потом, заметно поскучнев, добавил: — Должен заметить, Перетяцько пытался оказать нам серьезное сопротивление...

Мы с Кутищевым навестили уши.

— Что? — Сидор Пантелеймоныч схватил своей железной клешней Котомыша (если можно так выразиться) за клизму, которая торчала у того за поясом, и сильно ее сдавил; из клизмы брызнул прокисший томатный соус. — Такой несерьезный человек, как Перетяцько, может оказывать серьезное сопротивление? Я вас не узнаю, штабс-капитан!..

— Значит, буду богатым, — удовлетворился Котомыш.

Изумруд в монокле Сидора Пантелеймоныча полыхнул зеленым пламенем.

— Обязательно будете! А с Перетяцькой мы еще посчитаемся. Кстати, где он теперь окопался, или залег, или затаился?

— Вот здесь! — уверенно отрапортовал Котомыш. — Или нет, вот здесь... А может, и здесь, или даже, точнее, вот здесь, вот-вот. Да... И вообще тьфу на него!.. Какая, к черту, разница, где он окопался, если мы все равно с ним посчитаемся!

— Очень хорошо. Итак, все по порядку: мы находимся здесь...

— Так точно!

— Вы находитесь здесь...

— Так точно!

— Перетяцько — все равно где... Тогда, скажем, здесь...

— Так точно!

— А они, следовательно, находятся тоже здесь. Или не тоже?

— А я вам говорю, не здесь они вовсе, а вот здесь! — снова прорвалась к карте синюшная тетка Мотья. — Нутром нутряным, утробушкой утробной чую!

Метла ее затрещала, будто раскаленная, а в газовом фонаре поднялся страшный ажиотаж.

Наступила тягостная пауза. Честно говоря, я был совсем не против того, чтобы она продлилась как можно дольше, и тогда, быть может, все это как-нибудь развеялось бы, рассосалось или, как говорится, сошло бы на нет. Но увы! Враги, все как один, подняли головы и ни с того ни с сего уставились прямо на нас.

— Спускайтесь, голуби!

— Гули-гули-гули!..

Мы со спецкором Кутищевым, как в детстве, притворились спящими, или сделали вид, что нас тут нет, или что слова эти («Спускайтесь, голуби!» и «Гули-гули-гули!») относятся не к нам, а действительно к каким-то голубям... В общем, нечто в этом роде.

— Считаю до пяти!

— До двух, — уточнил Котомыш Лаврентий.

— Хорошо, до трех, — согласился Сидор Пантелеймоныч.

— Раз! — гаркнула Мотья.

Отсчет начался... Весь отряд закурил. Сидор Пантелеймоныч достал коробку «Казбека» и предложил Котомышу и Мотье, которая не сводила с меня влюбленных глаз.

— У меня свои, — нараспев, тоном бывалого окопного солдата сказал Лаврентий, показывая кисет и огрызок газеты «Красная Звезда». С толком и расстановкой он сварганил знатную «козью ножку», сунул ее в зубы, подкурил от свечи и смачно затянулся. — На войне, как на войне. Правда, Мотья?

— Один с четвертью!.. — считала Мотья.

Остальные по очереди подкурили от ее газового фонаря и сквозь пелену табачного дыма снова уставились на нас.

— Наверное, мы умрем, — тихо сказал я.

— Тринадцать, — еще тише произнес Кутищев.

Дрожащим голосом я продолжал:

— Перед лицом смерти я хочу признаться тебе... Понимаешь, всю жизнь я мечтал сочинять сказки... Милые, добрые истории, со счастливым концом. А вместо этого писал глупые, никому не нужные романы...

— Два с половиной!.. — продолжала торопливо отсчитывать чертова Мотька.

Кутищев слушал меня молча, не перебивая.

— Я мечтал о сказках, в которых были бы чудесные странствия, прекрасные герои, великие тайны, добрые и злые волшебники, и главное — любовь, побеждающая все зло этого мира. Отправляясь с тобой в путь, я думал, что мы наконец-то сочиним такую сказку, и после этого можно было бы спокойно умереть. И вот, похоже, мы действительно... действительно умрем... Но умрем отнюдь не спокойно и так и не совершив это деяние... Что же ты молчишь? Неужели нечего сказать мне на прощанье?

Кутищев по-прежнему молчал.

— Неужели ты смирился?

— А ты?

— Я?..

Я хотел сказать, что не смирился, но промолчал. Пожалуй, в глубине души я совсем не был уверен в силе своего духа. Мне нужна была поддержка.

Кутищев первым поднялся со своей кровати.

— Нет смерти королю, он может лишь исчезнуть, — сказал он. — Надо идти.

— Хорошо, пойдем, — выдохнул я.

— Три! — раздался снизу хриплый голос Мотьки, словно внутри у нее что-то треснуло.

Мы мужественно обнялись, как бы попрощавшись навеки, и на негнущихся ногах стали медленно спускаться по лестнице в залу. Одной рукой придерживая штаны без пуговиц, другую, с зеркальцем для бритья, я вытянул перед собой и старался смотреть в него неотрывно, чтобы не видеть врагов. Кутищев же отказался в него смотреть...

IV

— Ха-ха! Котомыш всегда радуется при виде человека!

Такими словами встретил нас штабс-капитан Лаврентий. А дальше все происходило с головокружительной скоростью. Сначала у меня отобрали зеркальце, которое, впрочем, так обмерзло, что в него все равно уже не было смысла смотреть. Потом нас

схватили, скрутили и принялись обыскивать. Нас то валили на пол, лицом вниз, то заставляли, упершись руками в стену, широко расставлять ноги, при этом бесцеремонно обхлопывая, ощупывая, заглядывая в рот и особенно пристально — в глаза. Так ничего и не найдя, кроме размокшей пачки сигарет «Союз-Аполлон» и моей любимой китайской авторучки с золотым пером, принялись за интерьер: перевернули вверх дном всю залу, затем долго по-собачьи рылись в наших кроватях, разодрав в клочья тюфяки, но и там ничего не обнаружили.

— Ищут, значит, она существует, — прошептал мне Кутищев на ухо.

— Кто — она? — не понял я.

— Книга Книг...

— Молчать, собака! — раздалась команда.

В ту же секунду перед нами вырос Сидор Пантелеймоныч — похоже, основной источник невыносимого холода. Он указал мерзлым пальцем на Кутищева и спросил куда-то в пространство:

— Кстати, что это с ним?

— Разберемся, командир. — Пожевывая потухшую «козью ножку», Котомыш вплотную приблизился к спецкору Кутищеву, прищурившись, осмотрел его с ног до головы и вынес вердикт: — Он застрелен, или задушен, или зарезан... В общем, убит наповал.

Сидор Пантелеймоныч взглянул на моего друга сквозь свой изумрудный монокль, как глядят на останки в анатомическом театре:

— Гм, действительно убит. Ну так уберите труп. Здесь ему не место. Как там сказал философ: «Поэта мы увенчаем цветами и вынесем вон из города».

Тут же двое солдат бросили на пол свои деревянные автоматы, подхватили моего бедного друга под мышки и поволокли к выходу. Вдогонку полетел засохший лавровый венок, который слету повис на его шее, как спасательный круг. Я рванулся следом, но меня грубо схватили за шиворот и повалили на пол. С молчаливым ожесточением пытался я вывернуться, я кусался, царапался, но держали меня крепко. В конце концов связали руки за спиной и усадили в кресло. От бессилия я чуть не сошел с ума! У меня не было ни меча, ни копья, ни жезла — ничего тако-

го, чем мог бы защищаться настоящий король. Авторучки с золотым пером — и той больше не было. А с каким бы удовольствием я всадил бы ее в глаз этому Сидору Пантелеймонычу!

— Ну так что, голубь, будем говорить? — как-то неожиданно по-отечески ласково предложил мне Сидор Пантелеймоныч и зачем-то достал из кармана опасную бритву.

— Что с моим другом? — героически спросил я, не отводя глаз от посверкивающего лезвия.

Сидор Пантелеймоныч сочувственно вздохнул:

— Это ужасно, молодой человек, ужасно! Война не жалеет никого... Эй, Лаврентий, а что там у нас с трупом?

— У вас?

— Нет, у нас вместе! Научитесь разделять ответственность, штабс-капитан. Или, по-вашему, война все спит?

Котомыш недоуменно пожал своими узкими плечиками и лениво прыснул какой-то мерзкой жидкостью из клизмы в сторону зияющего дверного проема.

— Так что с трупом? Тут люди волнуются, справки наводят... Доложите, штабс-капитан.

— А чего там докладывать? И так ясно: труп закопают, или зароят, или предадут земле...

— Очень хорошо, но...

— Или похоронят...

— Это уже лучше. Но все-таки хотелось бы чего-нибудь более возвышенного. Что скажете?

— Возвышенного? — Котомыш задумался. — Можно оставить его висеть на виселице.

— Вот! Это намного оптимистичней.

— А потом уже закопать, — добавил Котомыш вдохновенно.

— Лучше зарыть.

— Слушаюсь, Сидор Пантелеймоныч.

— Хорошо, действуйте.

Лаврентий залихватски взял под козырек и вышел вон.

— Вот что, сержант, — Сидор Пантелеймоныч повернулся к Мотьке. — Там темно копать, вы бы пошли, посветили бойцам своим фонарем.

Досадливо скривившись, синюшная тетка шаркающей походкой поплелась к выходу. Уже у самого порога она обернулась и помахала мне метлой, так что меня с ног до головы обдало невыносимой вонью.

— Я еще вернусь, глазастик! — прохрипела она и канула в дверной проем, сопровождаемая гудением и дымом.

Я схватился за голову, но — мысленно, потому что руки по-прежнему были связаны за спиной...

Еще битый час Сидор Пантелеймоныч ласково задавал мне вопросы, делал заманчивые предложения, сочувствовал моему горестному настоящему и сердечно переживал за мое трагическое будущее, которого, собственно, по его глубокому убеждению, у меня уже не было.

Я молчал. Сначала я еще слушал его, а потом и слушать перестал. Я вспомнил свою возлюбленную, ее милый образ, исполненный любви и нежности, но чем больше я цеплялся за него, будто за спасительную соломинку, в надежде на невозможное, тем быстрее он отдалялся от меня, пока и вовсе не растворился где-то в безграничном космосе моего подсознания... О за чем, зачем ты покинула меня, моя любовь? И ты, друг мой Кутищев, зачем оставил меня одного в этот час?..

— Молчишь? В герои вляпаться хочешь?..

В эту минуту пронзительно зазвонил телефон. Я вздрогнул от неожиданности, и сердце мое заколотилось в недобром предчувствии. «Все молчать!» — приказал Сидор Пантелеймоныч солдатам и снял трубку.

— Алло!.. Перетягко? Где тебя черти носят? — кричал он, прижимая трубку к самому рту. — Как это кто? Это я, Кутищев... Ты что, меня не узнаешь?.. Ну конечно, мы тебя ждем — а как иначе? Давай скорее!..

И тогда я что было мочи завопил:

— Беги! Перетягко, беги! Спасайся!.. Нас взяли!..

Сидор Пантелеймоныч в бешенстве бросил трубку на рычаг, и я понял, что действительно «вляпался в герои». Я опустил голову и закрыл глаза, будучи уверен, что Сидор Пантелеймоныч зарежет меня прямо сейчас своей ужасной бритвой, но он быстро взял себя в руки.

— А ты не так прост, как я думал, — сказал он, ухмыляясь. — Что ж, так даже увлекательнее... Эй, Лаврентий, вы только посмотрите на этого голубя-хитрована!

Котомыш, который только что вернулся в залу, бросил на меня взгляд, полный презрения.

— Кстати, кто он у нас там, в прошлом воплощении? — поинтересовался Сидор Пантелеймоныч.

— Точно не помню, командир... То ли Гофман, то ли Бах, то ли Оффенбах... Что-то в этом роде.

— Очень хорошо.

Я понял, что попал в руки настоящих безумцев.

— Очень хорошо, но ничего героического, — продолжал Сидор Пантелеймоныч, протирая платочком изумрудный монокль; на месте глаза зияла черная дыра, из которой тянуло стужей. — Возьмем, например, товарища Гофмана. Если мне не изменяет память, он был музыкантишкой времен наполеоновских войн, не так ли?

— Так точно-с.

— Стало быть, музыкантишка, — радостно посмеиваясь, повторил Сидор Пантелеймоныч, и, вставив монокль в свою обледеневшую по краям пустую глазницу, принялся внимательно изучать мое лицо; голова у меня закружилась, ноги стали ватными.

Котомыш взял полевой бинокль и тоже принялся рассматривать меня, но начал с ног.

— Он уже тогда шпионом был, — неожиданно заявил он, — в этом ихнем Фатерланде басурманском...

— В Германии, — уточнил Сидор Пантелеймоныч.

— Так точно-с! Только сдается мне, командир, ему теперь не хватает этой... ну, как ее... увлеченности.

Оба снова наставили на меня свои монокль и бинокль.

— Что вы хотите этим сказать, штабс-капитан?

— Ну, выражаясь интеллигентно, хоть, вы знаете, я этого страшно не люблю, ему нужна... эта... как ее... муза. Да поядреней. А уж она-то под монастырь его и подведет, будьте покойны!

— Гм... Вы так думаете?

— Уверен, Сидор Пантелеймоныч. Из-за женщин и головы с плеч летят, и царства рушатся.

С минуту Сидор Пантелеймоныч о чем-то размышлял. Он был похож на куклу, у которой внезапно закончился завод.

— И что же, Лаврентий, у вас имеется достойная кандидатура для нашего утомленного голубя? — спрашивал он, почти не раскрывая рта.

— А как же! Вот сейчас с похорон вернется Мотька, она хоть и стерва, но дело свое знает. Да и голубь ей явно приглянулся. Верно я говорю, ребята?

— Хай живе Weibermacht!¹ — в один голос выпалил отряд, зубы солдат сверкали в свете керосинок.

— Мотьхен! — позвал Котомыш. — Komm zu mir, meine Liebe²!

В залу, опрокидывая солдат, словно те были костяными фигурами на шахматной доске, ворвалась Мотька. Она развела в стороны газовый фонарь и метлу и зашла в лихой чечетке. От ужаса я сразу пришел в полное сознание. О, как горько пожалел я о своей несбывшейся любви, о своей растроченной впустую молодости, о так и не написанной Книге... Неужели это конец? И такой безобразный, такой бездарный!..

Скрипучим, но властным мановением протеза Сидор Пантелеймоныч остановил Мотькины пляски:

— Боюсь, не по зубам ей эта роль.

Мотька обиженно поджала губищи.

— Так точно, Сидор Пантелеймоныч! — с готовностью согласился Лаврентий и тут же предложил другой вариант: — Раз этот голубь корчит из себя стойка, то почему бы ему и не помереть, как той Сенеке римской?

— Гм... В память об императоре Нероне, что ли? — заинтересовался Сидор Пантелеймоныч.

— Ваша правда, командир! За удовольствие надо платить.

— Формула красивая, спору нет, — согласился Сидор Пантелеймоныч, — но слишком уж хлопот много: горячая ванна, кровь... И потом, у нашего стойка нет второй жены, как у Сенеки, дабы она, подобно Помпее Павлине, возжелала ступить вслед за ним в царство теней. У *нашего* стойка нет даже первой жены.

— А Мотька? — вкрадчиво предположил Котомыш. — Чем не жена для стойка?

— Да, чем не жена? — заволновалась Мотька.

— О, вы еще так молоды, Матрена! — воскликнул Сидор Пантелеймоныч. — Брак требует зрелости чувств, большой ответственности...

Я не верил собственным ушам, но все же вздохнул с некоторым облегчением.

¹ Власть женщины (нем.).

² Иди ко мне, любовь моя! (нем.).

— Кое в чем Сенека, конечно, был прав, когда утверждал, что как басня, так и жизнь ценится не за длину, а за содержание, — продолжал развивать свою мысль Сидор Пантелеймоныч. — То же самое я сказал бы и о смерти.

— Нет смерти королю, он может лишь исчезнуть! — неожиданно для самого себя выпалил я, и слова эти и голос мой показались мне чужими.

— Вот видите, штабс-капитан? Это же типичный городской сумасшедший, а вы нам — про Нерона, Сенеку...

— Ух, как бы я хотел поддержать его за кадык! — теряя всякое терпение, простонал Котомыш.

— Нет-нет, Лаврентий, я придумал кое-что поинтереснее, поизощреннее! Я так понял, голубь наш в своей прошлой жизни был музыкантишкой?

— И немецким шпионом, — компетентно добавил Котомыш Лаврентий.

— Чудесно! Музыка, шпионаж — романтичнее не бывает. Вот мы и посадим нашего Гофмана, или Баха, или Оффенбаха за рояль...

— Ага, — дошло до Котомыша, — пускай сделает нам красиво?

— Тьфу! — в досаде сплюнула Мотька.

— К роялю этого голубя! — скомандовал Сидор Пантелеймоныч.

— К роялю! — подхватил весь отряд, и меня потащили к выходу.

— А как же война? — спросил Котомыш.

— Пусть еще немного побудет, — добродушно отвечал Сидор Пантелеймоныч. — Да и с этой вашей Перетяжкой еще посчитаться надо...

V

Передо мной простиралась площадь, окруженная старинными домами с остроконечными крышами. Минутная стрелка часов на здании ратуши, посверкивая золотом, застыла на цифре «6», — часовая стрелка отсутствовала вовсе. «Шесть», — прошептал я, вспомнив Кутищева, и слезы навернулись мне на глаза. Я понятия не имел, что значит «Шесть». Мои уста сами произнесли это слово.

В центре площади стоял необычный рояль — весь из прозрачного стекла. Было тихое утро с голубыми. Я подумал о моей возлюбленной, и на душе стало легче.

Через всю площадь меня поволокли к стеклянному роялю, в котором отражалось утреннее небо. Посадили на подставленный стул и развязали руки. Сидор Пантелеймоныч наставительно похлопал меня по плечу:

— Играйте, маэстро. Вам же нравится играть, не так ли?

— Но я не умею, — попробовал увильнуть я, предвидя полный свой позор.

Сидор Пантелеймоныч наклонился надо мной так низко, что с головы до ног меня обдало стужей, и злобно процедил:

— И если хоть раз сфальшивишь, собака, рояль взлетит на воздух. Вместе с тобой.

О, в эту минуту как много отдал бы я за то, чтобы разок глянуть на него знаменитым «дурным глазом Оффенбаха», но, увы, такой таинственной и властной силой мои глаза не обладали. Вместо этого, растирая ноющие кисти рук, я тупо смотрел в рояль: сквозь стеклянную поверхность, по которой проплывали вереницы облаков, виднелась вся его сложная механика — стройный ряд молоточков, струны, натянутые на мощную бронзовую раму. Вот оно, место моей гибели... Прямо передо мной, на стеклянном пюпитре, покоились чистые партитурные листы. Но если бы даже ноты на них и были, для меня это ничего не меняло.

— Начинайте, маэстро! — услышал я нетерпеливый голос Сидора Пантелеймоныча. — Публика уж заждалась!

— Давай, наяривай! — кричал Котомыш Лаврентий.

Раздались жиденькие аплодисменты.

С замирающим сердцем я посмотрел на хрустальные клавиши, медленно положил на них дрожащие руки — и словно не моими они были и не я их положил... Я сразу похудел килограммов на десять, так что одежда на мне обвисла, и сами собой закрылись мои глаза. Наступила тишина...

Стою, закрыв глаза,
и слышу,
как бубенцы шагов моих
уходят.

Их путь далек и радостен
и звонок...

...Пальцы мои нажали на клавиши, и инструмент откликнулся первыми прекрасными звуками. Я замер в наслаждении и, одновременно, в страхе одним каким-нибудь неточным, неловким движением все испортить, но пальцы мои уже самостоятельно блуждали по клавиатуре, извлекая из этого огромного стеклянного ящика с множеством отливающих медью и серебром струн музыку. Видит Бог, то была настоящая музыка!..

...Их путь далек и радостен
и звонок.
Легка их поступь
как роса.
Что им пологости альпийские
и сосны,
кварталы Дрездена,
уснувшего в камнях,
где лишь не спят
глаза прекрасной Форнарины?
Что им Германия —
миниатюрная резьба столетий
и размягченный пивом
аллеманский дух?..

...Я открыл глаза. Впереди, пылая красочными огнями, высился дворец — великолепный и странный. На фоне тревожно-свинцового неба он был похож на огромный слоеный торт или на разноцветную карусель, которая медленно поворачивалась вокруг своей оси. Балконы, террасы, галереи быстро заполнялись толпами лицедеев в красочных костюмах самых невероятных фасонов. Они разыгрывали одновременно какие-то непонятные мне спектакли с сотнями главных и второстепенных героев, с десятками параллельных сюжетов и действий. Смутные реплики, крики, взмахи рук и крылатых плащей, хороводы масок, вспышки огней, торжественные речитативы, сверканье очей и клинков, конское ржание, проклятия, пламя и дым, хохот и таинственный шепот, и рыдания — все это суетилось, двига-

лось, кружилось и переливалось. И все это — под звуки моего рояля!.. Под *мою музыку!* И она была прекрасна... И я превратился в дремлющий песчаный берег, на который накатывали одна за другой седые волны прибоя, и по берегу сны пробегали босые, оставляя на его поверхности свои замысловатые следы, и их тут же смывала следующая волна. А я все играл и играл на стеклянном рояле — будто на пишущей машинке печатал. Площадь за моей спиной была заполнена людьми, все — единое устремление, единое дыхание...

А позади уже мерцают
огни Варшавы утомленной
и сквозняки вокзальные,
и чудный парк,
где черной ночью
сплетала пальцы
Мнишек с мнимым
государем Всея Руси,
и заговора плелся рядом
черный волк.
Теперь там блеклые снега,
унылые берез посадки,
врастающие в мой старинный сон
со склеротической привычкой
повторяться...

Шаги,
шаги мои
крылатые как боги,
и эта музыка,
она как тень моя —
все время впереди, —
и мы нерасторжимы,
и вслед за ними
в дорогу собираюсь я...

...Случайно взор мой упал на ратушные часы: минутная стрелка сделала скачок и замерла на цифре «12». «Двенадцать», — повторил я. Не прекращая играть, я обернулся, словно меня окликнул кто-то, и не поверил своим глазам: в толпе стоял спецкор Кутищев — воскресший, или восставший из гро-

ба, или вознесшийся! Он был почти без волос и весь светился. «Лучистый человек... Человек эфира...» — подумал я. Толпа обступила его безликим скопищем землистых изваяний, темной неоформленной массой. Кутищев радостно махал мне рукой. А может, мне это только казалось... «Так ты живой?» — хотел прокричать я. «Нет, — хотел прокричать Кутищев в ответ. — Я умер». — «Умер?» — «Или родился. Или очнулся от сна... Все это — одно и то же. Помнишь Тринадцатый Аркан?» — «Нет», — хотел ответить я. «Ну и хорошо! — хотел рассмеяться он. — Смерть — это вульгарно. Я предпочитаю *Reincarnatio*¹. Или *Transmutatio energiae et viviam*². Друг мой, я пробуждаюсь прямо в другой мир. И когда я проснусь окончательно, вокруг будет светло и солнечно. И не будет горя. Нигде и никогда...»

Все это время руки мои продолжали летать над клавишами, но я их уже совершенно не чувствовал.

«Вот она! Вот она!..» — хотел сказать мне Кутищев. Я хотел спросить: «Кто — она?», но вместо этого посмотрел в том направлении, куда Кутищев показывал рукой, и увидел на пюпитре рояля, точнее, на партитурном листе сияющие слова:

«КНИГА КНИГ»

На мгновение мне показалось, что я куда-то проваливаюсь. Перед глазами все кружилось и сверкало. На тот момент мои и без того скудные «кардинальные жидкости» как будто все разом начали испаряться. Руки сползли с клавиатуры, и рояль продолжал играть уже сам, без их участия. Я видел сквозь прозрачную деку, как клавиши приводят в движение молоточки, которые быстро ударяли по струнам, а в то же время на партитурных листах вместо нот буква за буквой появлялись слова, которые быстро, словно руководимые чьей-то волей, выстраивались в целые предложения. «Я выйду ночью в путь неблизкий, шагов моих увижу призрачные знаки...» Рояль играл, музыка звучала, актеры лицедействовали, толпа внимала, и от меня уже ничего не зависело:

¹ Перерождение (*лат.*).

² Пресуществление энергии и жизни (*лат.*).

...Я выйду ночью в путь неблизкий,
шагов моих увижу призрачные знаки,
и будет замыслу сопутствовать Луна,
и одинокая валторна ветра
мне на прощанье
петь будет долго
и печально.

А на рассвете
увижу Город тот волшебный,
войду под своды Золотых Ворот
и с первым солнцем побегу,
с дождем искристым
по улицам его,
счастливым...
И вспыхнут тысячи каштановых свечей,
и загудят колокола,
святую встречу возводя в канон.

А к вечеру, усталый,
с последним солнечным лучом
паду на землю и усну спокойно
до пробужденья полного,
когда узнаю то, что знал всегда:
что и цветы, и музыка,
и гибкие, как девушки, стихи,
и краски все,
и все века,
что Город ждал прихода моего,
и камни древних улиц,
и голуби в расщелинах дворовых,
и голубятня над змеиным спуском,
которая вот-вот взлетит под облака,
как одинокая душа,
и фонари, бросающие медь
на плечи Королевы,
на лицо, на руки,
которые
люблю любовью, жаждающей любить.
Она рождается нечаянно...
Так маковинка,
стерегущая свой сон столетний,
проснется вдруг на дымном поле,

разбудит пашню.
И вот — цветок!
Как капля крови
на губах у Фавна,
пьяного
от счастья и свободы...

И тут я потерял сознание, или лишился чувств, или...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

ЗАЛА С АСТЕНИЕЙ

I

ВЕСЬМА ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛАВНОМ ЧАСОВЩИКЕ

«...И не мудрено, что путники потеряли счет этажам и межэтажьям. Крошечный Фургон их колесил по слоистым пространствам Замка, увлекаемый потоками его времен и озаряемый его чарующим лунным светом. Все эти бесконечные снования вверх и вниз, вдоль и поперек, вширь и вглубь, а также стремительные марши туда и сюда, над и под закружили их и окончательно запутали, и даже те, редкие в пути, остановки, передышки, привалы, ночлеги и каникулы были лишь скудной возможностью вдохнуть или выдохнуть, услышать или сказать, откусить или прожевать давно откушенное, прилечь или вздремнуть стоя, но при этом постоянно оставаться в нечеловеческом напряжении...»

Слова эти, минуту назад запечатленные на безукоризненно белой манжете, г-н Филин прочитал вслух громко и выразительно, изо всех сил стараясь, чтобы смысл даже малейшей запятой и особенно последнего, как бы уходящего вдаль, многоточия был донесен до грядущих поколений, которые, кстати, прямо так и толпились перед его внутренним взором. Видимо, эманация этих умозрительных толп оказалась столь велика, что и без того тесный Фургон стало сильно пучить.

— Ну как? — напряженно кругля и без того круглые очи, вопрошал г-н Филин.

— А что? — сказал г-н Архивариус, поправляя ученый колпак на голове. — Услышанное нами из вашего почтенного клюва, дражайший коллега, пусть несколько и затянuto, как всегда, и в

общем-то, как всегда, бездарно, все же носит на себе едва приметные следы загубленного таланта, а это настолько невероятно, что как-то сразу даже хочется вам поверить.

Тут Вялый Горбун, лихо вписавшись в поворот, с криком «Опаньки!» вкатил трещавший по швам Фургон в просторную залу, дальний конец которой терялся где-то за горизонтом. Вялый Горбун остановился как вкопанный. А вместе с ним — и все путешествие. Вот вам и «Опаньки!» Всеобщее недоумение легко можно было понять: как уже не единожды случалось, в этой зале тоже чего-то недоставало. Нет-нет, что касается двери, то, на сей раз, она физически существовала, и в нее можно было свободно войти и даже выйти. Но вот что странно: существовала она уж как-то слишком сама по себе, как-то чересчур, что ли, обособленно, — если не сказать отчужденно, — словно бы не имея ни малейшей связи с залой, на пороге которой в нерешительности переминались с ноги на ногу путники. Да и каких-нибудь других зал, или гостиных, или комнат, или комнатушек, или, на худой конец, закутков в здешних местах не наблюдалось. Вероятно, оттого, что вокруг не наблюдалось никаких стен. Собственно, стен вообще не было! Одни потолки, потолки, потолки... Нескончаемые потолки во все стороны света — белые, серые, иногда пятнистые, — будто небеса, плывущие куда-то над необозримыми полями полов, которые колосились золотистыми паркетам. Одиноко торчавшую дверь можно было и вовсе обойти стороной — справа или слева, — тут уж дело вкуса.

— Однако! — озадаченно промолвил г-н Архивариус.

— Двойко! — не то согласился, не то попытался возразить г-н Филин.

А Янке стало грустно. Особенно из-за того, что во всей зале не было ни единого окна. То есть окон не было вовсе не потому, что не было окон, а потому, что не было стен. Но, отнюдь не исключено, что как раз стен не было именно потому, что не было окон... И тут Янке пришла в голову замечательная мысль о том, что *настоящие* окна, в отличие от *обычных*, появляются только на тех стенах, которые им нравятся или чем-то близки — например, особым каким-нибудь настроением или отношением к окружающей природе. Да, а здесь им даже и появиться не на чем! А с другой стороны, почему бы не существовать просто одному очень большому окну, на котором там и сям могли бы возникать маленькие квадратики стен — и не только квадратики, но и овалы, и тре-

угольники, — выкрашенные в разнообразные красивые цвета... Но тут Янке пришла в голову еще одна замечательная мысль: стены, окна, а также и двери, как люди, могут жить сами по себе, но иногда притягиваться друг к другу, и если они существуют порознь, то, значит, время соединиться для них еще не настало...

— Угу-у-у? — заныл г-н Филин. — Что-то мне не по себе!

— Астения, — со знанием дела поставил диагноз г-н Архивариус.

— Ошибаетесь, сударь, — обидчиво возразил ученый секретарь. — У меня стенокардия.

— Да я вовсе не о вас, дражайший коллега. Астения — это значит, что стен нет.

— Угу! И так видно, что стен нет. Но, надо полагать, они когда-нибудь все же появятся? Угу? А то без стен как-то совсем уж неуютно.

Г-н Архивариус развел руками.

— Мне очень жаль, — сказал он, — но с подобным я и сам сталкиваюсь впервые.

— Впервые? — переспросила Янка.

— Увы, княгинюшка, впервые, — решительно подтвердил г-н Архивариус. — Во всяком случае, впервые в своей практике.

— Угу, а в теории? — с надеждой в голосе воскликнул г-н Филин.

— Гм... в теории... — Г-н Архивариус задумался. — В теории нам известно совсем немного. Нам известно, что приступы астении случаются с некоторыми из архитектурных сооружений как внутри, так и снаружи, и длятся всего-навсего несколько мгновений.

— Угу! — энергично возразил ученый секретарь. — Пока мы тут стоим, эти ваши хваленые «несколько мгновений» давно прошли. А приступ продолжается! Не так ли? — И г-н Филин прищурился.

— Видите ли, коллега, — невозмутимо отвечал г-н Архивариус, — как нам известно, мгновения бывают разные, то есть я хотел сказать, что продолжительность каждого из них не одинакова в том или ином месте, при той или иной температуре, в то или иное время суток, не говоря уж о той или иной эпохе, государственном устройстве, состоянии здоровья, и так далее. Иными словами, друзья мои, мы до сих пор не имеем точного эталона мгновения. Но все равно нет причин так волноваться! Рано или поздно при-

ступ астении прекратится, и мы, как всегда, упрямся в какую-нибудь стену, если только эта зала не является своеобразным памятником известному вам явлению. А памятник, уж извините, — вещь довольно-таки статичная: сколько времени он простоит, предсказать практически невозможно. Судите сами, разве вся античная архитектура не являет собой сплошной астенический мемориал?

— Простите, господин Архивариус, но откуда вам все это известно? Я имею в виду астению, — поинтересовалась Янка.

— Известно, откуда известно: от Главного Часовщика.

— Никогда о таком не слышала.

— Угу! — испугался г-н Филин. — Мне что, так и записать?

— А разве вы можете записать это как-то иначе, коллега? — удивился г-н Архивариус. — Пишите все так, как слышите, а еще лучше — так, как надо.

— Понял, угу! — и г-н Филин написал на своей манжете следующее:

«Ах, Главный Часовщик! Ну кто же не слышал о Главном Часовщике! — радостно воскликнула Ее Высочество княгинюшка Янка».

— Ну так вот, речь идет о самых сокровенных знаниях, — продолжал г-н Архивариус, искоса следя за нервическими движениями пера ученого секретаря. — Нам известно, что сии знания Главному Часовщику открылись, в свою очередь, благодаря гениальной болезни, коей сей достойный муж охвачен с головы до самых пят.

— И что же это за болезнь такая? — сочувственно спросила Янка.

— Часотка, — ответил г-н Архивариус.

— Часотка?! — изумленно воскликнула Янка, а г-н Филин в ужасе отпрянул от г-на Архивариуса и закрылся манжетой, словно боясь заразиться.

— Ну да, часотка. Видите ли, княгинюшка...

И г-н Архивариус погрузился в пространные разлагольствования, из которых постепенно выяснилось следующее: часотка у Главного Часовщика — это как бы болезнь и в то же время как бы не болезнь; тут вся соль в ее определении «гениальная»; а это значит, что часотка у Главного Часовщика — недуг в абсолюте,

подобно тому, как всем хорошо известный Гениальный Кондратий перманентно подвержен так называемой литератургии — другой гениальной болезни, то есть недугу в абсолюте, благодаря которому, собственно, Кондратий и называется Гениальным, в чем нет ни малейшего преувеличения. Ясно, что речь здесь идет о самой высочайшей степени, — степени, выше которой уже нет ничего: ни болезни, ни здоровья! Более того, между высшей степенью болезни и высшей степенью здоровья нет не только никакой разницы, но и ничего общего, из чего следует, что, назовем ли мы сие состояние болезнью или здоровьем, ни того ни другого не прибавится и не убавится, а результаты все равно будут одни и те же. Но вот ежели по обычному человеческому неразумию или даже праздного любопытства ради взять и опустить, так сказать, стержневое определение данной болезни, а именно — «гениальная», — все мгновенно потускнеет, увянет, скукожится и, как та мертвая пыль на ветру, развеется по поверхности ординарной медицины.

— Нет-нет! — вдохновенно восклицал г-н Архивариус. — Гениальные болезни, вроде часотки или литератургии, будучи истинными, завершенными и самодостаточными абсолютами, абсолютно не лечатся. Наоборот, они взращиваются! Они преумножаются или, если хотите, усугубляются, ибо они — дар, ниспосланный свыше и сразу в хронической форме!..

В простечение сих пространных разглагольствований г-н Филин густо исписал с десятков самых крупных манжет и от усердия клюв его покрылся испариной, сам он сильно взъерошился и вообще — весь походил на маститого писателя, только в перьях. Отложив в сторону манжеты с крылописью, ученый секретарь обратился к г-ну Архивариусу с вопросом, который, похоже, все это время не давал ему покоя:

— Угу, так какова же дальнейшая перспектива?

— Вы что-то сказали, дражайший? — переспросил г-н Архивариус, оправляя свой ученый колпак на седой голове.

— Угу, я спрашиваю, что дальше делать будем?

— Ах, это очень просто! Продолжим путешествие... Ну, а там будет видно.

— А сейчас что-нибудь видно? — настаивал г-н Филин. — Что записывать-то?

— Да поймите же, коллега! — в сердцах воскликнул г-н Архивариус, но тут же взяв себя в руки, перешел на патетический

тон: — Важно не останавливаться на полпути. Прочь сомнения и недоумения! Наши дела идут прекрасно, путешествие целиком и полностью соответствует плану! — теперь уже в голосе г-на Архивариуса появилась некая канцелярски-деловитая интонация, впрочем, тотчас же сменившаяся элегически-романтической:

— Дражайший вы мой! — нараспев протянул он, обращаясь к недоверчивому г-ну Филину. — Перестаньте дрожать! Войдите в соитие с миром, окружающим ваше бренное тельце. Помните, что мы с вами все же находимся в Замке, в чудо-владениях великой герцогини Эсклермонды, а не в какой-нибудь там районной конторе с кактусами, хиреющими на пыльных подоконниках, и посеревшими в серых буднях лицами служащих. А в Замке, как мы уже не раз убеждались, всяческие наипоразительнейшие кунштюки встречаются совершенно *неопапно* и *внеожиданно*. И именно в этих неопапностях и внеожиданностях — вся его красота. Ну, и наше удовольствие, конечно.

— Мне это нравится, — согласилась Янка. — А вам, господин Филин?

— Угу, — не слишком решительно ответил ученый секретарь. — Если только все это не вредит моему здоровью.

Но его опасения тотчас развеял г-н Архивариус:

— Поскольку, коллега, вы здоровы в высшей степени, в отличие от Главного Часовщика, который, как нам известно, в высшей степени болен, то вам уже вряд ли можно чем-нибудь навредить. Равно как и помочь, конечно...

II

КОВРОВЫЙ ТРАКТ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭПОХАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОБЛЕСТНОМ МУРМИЛОТЕ УЗОРНОМ И КРАСАВИЦЕ МЫШАНИНЕ

Путники заняли свои прежние места в Фургоне, и Вялый Горбун, посвистывая да пофыркивая, побрякивая да побряхтывая, покатил его в глубь астенической залы, подальше от самодостаточной двери, из которой, надо сказать, изрядно сквозило. В окна Фургона были видны просторы, отнюдь не лишённые признаков жизни. Они поражали своей широтой и необъятностью и

тем, что на них делалось: если в любом обыкновенном, *стено-графическом* помещении, то есть с ясно очерченными стенами, достаточно, как правило, и одного кота, ну от силы — двух, то здесь с громким топотом скакали целые кошачьи стада; главным их занятием и смыслом жизни было преодоление необозримых пространств от исполинских платяных шкафов и увитых плющом и диким виноградом трельяжей до вкусно пахнущих шератоновских буфетов, а от буфетов — к мягким диванам с мохнатыми пледами и горами подушек; наевшись до отвала, разомлевшие пузатые коты лениво возлежали на пуховых подушках, на шелках и батистах, и урчание их разносилось по всей округе.

Где-то вдалеке, за грядой древних комодов, в недрах которых могли таиться невесть какие сокровища, глухо лаяли собаки... А в остальном здесь было довольно тихо и спокойно.

Путешествие складывалось необычайно мягко и, можно сказать, уютно: колеса Фургона чуть слышно шуршали по густому ворсу знаменитого Коврового Тракта. Когда-то, в незапамятные времена, эта широкая, идеально ровная дорога была искусно соткана вручную и заботливо постелена на великих и пустынных паркетах гильдией легендарных мастеров. Передвигаясь неторопливо, можно было прямо под ногами или колесами, к великому своему удовольствию, а также для общего развития, созерцать красочные изображения самых выдающихся событий из истории Замка, которыми, словно татуировкой, был покрыт весь Ковровый Тракт. Картины плавно сменяли одна другую, и каждая из них тянулась многие сотни шагов. О, здесь от зрителя требовалось особое внимание и сноровка! Бывало, добравшись до окончания какой-нибудь очередной картины, путники никак не могли вспомнить, с чего же она начиналась. Однако это обстоятельство имело и свои преимущества, ибо тут же возникало желание посмотреть следующую... Ну, например, вот хотя бы эту: безмолвно-тканым языком красочных линий и пятен она повествует о романтическом свидании рыцаря с прекрасной девой под стенами Замка. Все внимание зрителя приковано к фигуре рыцаря: как бы застыв в динамичном напряжении, фигура эта пластически выражает предощущение грядущего события; отважный взор героя направлен в потертое и замусоленное, но все еще светлое будущее, виртуозно изображенное на заднем плане. А уже через каких-нибудь четверть часа, если быть не очень внимательным, можно невзначай наступить прямо на легкую, будто не из нитей, а

из ветра сотканную деву, которая устремляется всем своим существом навстречу герою, которого здесь, естественно, уже не видно, поскольку он остался далеко позади, за спиной у внимательного зрителя, теперь больше захваченного пленительным образом красавицы во всей его целокупности: глаза ее полны любви и радости узнавания, и к тому же на ней элегантно фиолетовое платье, которое как бы подчеркивает и одновременно усугубляет общее меланхолическое настроение. Ее великолепный белый иноходец, ведомый за поводья юными пажами в зеленых плащах и таких же зеленых шапочках, слегка подался назад, будто оробев пред львиным обликом героя. За спиной девы остановилась в ожидании чуда ее многочисленная свита в белых одеждах, богато украшенных *or cliquant*¹. Верховые лошади мирно лобызаются, как бы призывая всадников последовать их примеру, а над всей свитой колышутся облака плюмажей в комсом дожде тонких копий...

Метр за метром пробороздив эту лирико-эпическую картину, Фургон с путниками неспешно шуршал уже по следующей. Высушившись в окно, Янка еще долго оглядывалась назад. Вот ведь какая странность: все, что она сейчас видела на предыдущей картине, а точнее, нечто очень похожее, когда-то ей уже то ли снилось, то ли чудилось... И это нечто было настолько родным, светлым и безмятежным, и одновременно настолько теперь далеким и невозможным! На глазах у нее навернулись слезы...

— Угу! — воскликнул г-н Филин, который увлеченно перелистывал груды старинных манжет с полным перечнем и подробным описанием ковровых изображений. — Все ясно! Только что мы проехали так называемое «Свидание спецкора Кутищева и Альды у хозяйственных ворот Замка». Тут написано, что скорбящую Альду к стенам сего Замка привели ее поиски рыцаря Роланда, который, как известно, пропал без вести в Ронсевальском ущелье в 778 году... И надо заметить, «Свидание» это чудовищно длинное. Угу, двести пятьдесят шагов! На такое «Свидание» лучше смотреть с высоты птичьего полета, — и ученый секретарь мечтательно расправил крылья.

— Нам и отсюда все хорошо видно, — возразил г-н Архивариус. — И вообще, я давно заметил: кому не хватает воображения на земле, тот так и норовит воспарить в небеса.

¹ Золотой канителью (*франц.*).

— Угу, что может знать бескрылое существо о небе? — как бы между прочим заметил г-н Филин и вдруг дряблым голосом запел:

Есть одна у Филина мечта —
Высота-а, высота-а-а!
Самая заветная мечта —
Высота-а, высота!..

— Вы бы лучше вернулись на грешную землю, мой залётный друг, — прервал песню г-н Архивариус, — и быстренько посмотрели, что там у нас сейчас под колесами? Заглянули бы в ваши анналы и просветили нас.

— Позовите господина Рентгена, пусть он вас и просветит, — огрызнулся ученый секретарь.

— Ой-ой-ой, какие мы обидчивые! Ну же, будет вам кукситься. Лучше скажите, где мы все-таки находимся?

— Угу, — отвечал г-н Филин, кривя клюв и вообще всячески давая понять, что оказывает огромную услугу. — У нас под колесами «Охота Котомыша на себя». Так называется эта часть ковра.

— Разве такое возможно: охотиться на самого себя? — почти безучастно спросила Янка, все еще пребывая в туманных далях своего давнего сна.

— Ах, княгинюшка! — принялся разъяснять сей вопиющий парадокс г-н Архивариус. — Тут все дело в обоюдоострой природе Котомыша Лаврентия Печерского. Заметьте, ведь прозорливые ткачи выткали не какой-нибудь, а именно тот самый момент, когда так называемый «внутренний Кот» Котомыша охотится на его «внутреннюю Мышь», что непосредственно и является движущей силой духовного конфликта вышеназванного героя...

— Антигероя! — уточнил г-н Филин.

— Совершенно с вами согласен, дражайший коллега. Ибо что может быть хуже раздвоения личности? Как писал об этом в свое время Пафнутий Нехильый: «Кот зазывает Мышь урчанием живота своего»...

— Угу! — перебил его ученый секретарь и громко окликнул Вялого Горбуна: — Эй, Горбуша, чуть помедленней!

Фургон как раз проезжал по «Сэру Мурмилоту, повергающему Злокачественного Воркота», и старинные манжеты г-на Филина сообщали, что протяженность этой картины составляет триста шагов, а в основе — любовный треугольник.

— Равнобедренный, кажется, — неуверенно уточнил ученый секретарь, почесывая пером за ухом. — Или даже любовные треугольники... равновеликие...

— И что это значит? — спросила Янка.

— Это значит, что доблестный рыцарь сэра Мурмилот Узорный и красавица Мышанина однажды страстно влюбились друг дружку. Влюбились до Гробовой Доски! Но в это время с пыльных вершин Великих Мусорных Куч спускается Злокачественный Воркот, как всегда, разодетый в разношерстную цветастую кокотку. Пожираемый злобной завистью и мучимый удушливыми сновидениями Черной Жабы, спящей под горой Поскотиной, он задумывает небывалую гнусность: развлюбить влюбленных, дабы тем самым навеки разбить их сердечный котлован. Три дня и три ночи Злокачественный Воркот терпеливо хоронится за вышесказанной Гробовой Доской в ожидании подходящего случая. И вот на четвертый день ему удастся таки подкараулить Мышанину-красу, которая, ни о чем таком не помышляя, как раз прогуливалась себе туда и сюда в томительном ожидании цокота копыт своего возлюбленного законного супруга и...

— Эй, эй, господин Филин! — прервал страшную историю г-н Архивариус. — Pardon, но у возлюбленного и законного супруга никогда не было ни копыт, ни, тем более, цокота! Насколько я помню, копыта вместе с цокотом составляли неотъемлемую часть его Огнедышащей Скотины.

— Угу, как вам будет угодно, — торопливо отвечал г-н Филин. — В конце концов, какая разница, кому принадлежал цокот копыт, да и сами копыта, черт бы их побрал! Главное, что красавица Мышанина пребывала в полном замышательстве, — клюв ученого секретаря задрожал, а глаза увлажнились, — одна-одинешенька, и помощи ждать неоткуда!.. И тогда Злокачественный Воркот выскочил из своей засады и, вцепившись в восхитительные космы красавицы Мышанины, нагло похитил оную вместе с подмышками...

— Pardon! Pardon! Вы опять все путаете, коллега! — снова вмешался г-н Архивариус. — Всем известно, что в тот роковой вечер красавица Мышанина прогуливалась без подмышек. Она просто играла в жмурки со своими недавно раскрепощенными мышцами...

— Да какая разница! — обиделся г-н Филин. — С подмышками, без подмышек... Они же были еще совсем маленькими и несмышлеными и на ход событий все равно повлиять никак не могли.

— Послушайте, у этой истории есть конец? — мягко поинтересовалась Янка.

— О, угу! — интригующим тоном отозвался ученый секретарь.

Огорченный тем, что истина с подмышками так и не восторжествовала, г-н Архивариус демонстративно отвернулся, как бы давая понять, что больше не намерен слушать всю эту чепуху.

— А в это время, — продолжал г-н Филин, — ранним утром, к месту свидания на всю катушку скакал сэр Мурмилот Узорный. Но как описать ту яростную *котолепсию*, окотившую рыцаря, когда на месте свидания он обнаружил полную мышечную недостаточность?! «О, где же ты и куда подевалась, возлюбленная моя Мышанина?!» — горестно возопил сэр Мурмилот и в порыве благородного *котолицизма* принялся рвать на своей голове клочья густой шерсти... Кстати, впоследствии именно этой шерстью и воспользовались наши прозорливые ткачи при создании данной картины.

Г-н Архивариус только тяжело вздохнул, но на сей раз промолчал.

— Так вот, Ваше Высочество, — продолжал г-н Филин, обращаясь подчеркнуто только к Янке. — Как я уже говорил, прибыв на место и обнаружив мышечную недостаточность, храбрый рыцарь сэр Мурмилот Узорный сначала накричался как следует, а затем гневно ринулся в погоню. И *котофалк* его летел, влекомый Огнедышащей Скотиной, ужасая своею стремительностью. И вот, по истечении десяти дней, сэр Мурмилот настиг наглого похитителя, Злокачественного Воркота, и в честном бою поверг его в полное уныние своим *котоломом* или *апперкотом* — точно не припомню, чем именно... Угу, а потом еще некий бродячий безымянный поэт на заре двенадцатого века сложил об этих романтических событиях длинную балладу, которая называлась...

И тут г-н Архивариус замахал руками и закричал:

— Нет, нет и еще тысячу раз нет! Вы, господин Филин, вы совершенно все запутали, напутали и перезанапутали, да в придачу все исказивратили! Нет, вы просто наизнанили все на вывернутку!

— Угу, в науке простых путей не бывает, — смиренно, но с достоинством ответил г-н Филин.

— Ха-ха! — натужно рассмеялся г-н Архивариус. — Что это вы тут называете «наукой»? Лучше послушайте, что я вам скажу как специалист, и, пожалуйста, не надо воротить клюв: в конце концов, точность в науке — не моя личная прихоть. И вы, княгинюшка, тоже послушайте, чтобы у вас случайно не сложилось превратного впечатления об одной из лучших картин Коврового Тракта. Итак, — г-н Архивариус принял самый серьезный вид, — во-первых, сразу хочу заметить, что вся эта история рассказана еще Пафнутием Нехилым в его знаменитом «Котологе Глории», и я не знаю по́вести более романтической и более трогательной, в то время как ваши байки, дражайший коллега, кроме раздражения и скуки ничего не вызывают. Грубо и бесталанно. Да-с! Мне просто стыдно за вас, господин Филин.

— Угу! — оскорбился ученый секретарь. — Можно подумать, ваш кондовый рассказец — образец для подражания!..

— А во-вторых, — упрямо продолжал г-н Архивариус, — как мы знаем, в первоисточнике, каковым является труд Пафнутия Нехилого, нет ни полслова об упомянутом вами, коллега, «любовном треугольнике». Если уж быть до конца точным, то это в «Любогонии» Гениального Кондратия действительно имеет место некий «любодарный трелюбовник», возникший между самим Гениальным Кондратием, его Творением и Божественной Пульхерией. А вы, господин Филин, взяли и свалили все в одну кучу. Вам что Пафнутий, что Кондратий — все едино. И, в-третьих, мы знаем, что действительно некий бродячий поэт сочинил...

— Угу, а я что говорил?

— Да, коллега, но произошло ведь это не на заре двенадцатого века, как вы изволили утверждать, а на закате тринадцатого! И сочинил он не длинную балладу, как говорили вы, а коротенькое рондо. Оно так и называется: «Рондо». И тут уж ничего не поделаешь: нравится это вам или нет, но от исторического факта так просто не отключёшься, хоть бы и клюв у вас был орлиным. И последнее, — продолжал г-н Архивариус, переведя дух, ибо борьба за истину, как известно, дело нелегкое. — Кое о чем вы и вовсе не удосужились упомянуть. Хочется верить, что не по злему умыслу, а в силу обыкновенной некомпетентности, — хотя в данном случае трудно сказать, что хуже... О, только не надо, будучи птицей,

смотреть на меня зверем! Да будет вам известно, коллега, что в честь своей доблестной победы над Злокачественным Воркотом сэр Мурмилот Узорный основал Орден Гробовой Доски. Первыми Гроссмейстерами этого Ордена поочередно становились сначала Магнус Брюзга, затем каверзный сын Мурмилота и Мышанины Котомыш Лаврентий Печерский, которого, кстати сказать, сместили с этой должности за то, что он придал Ордену довольно-таки скандальную славу, а несколько лет назад в статус Гроссмейстера был возведен Полковник Ферапонтов, который, правда, воспринял смысл названия Ордена Гробовой Доски не просто буквально, а по-армейски буквально. Вы представляете себе, княжинушка, чего можно ожидать от человека, привыкшего все на свете доводить до конца, а тем более, если этот человек — военный?..

III

ФЕМГЕРИХТ И БАБА МАНЯ

Путники отколесили еще по ряду пушистых изображений, среди которых особенно выделялись: «Игра Моцарта и Скарлатини в три руки», две из которых, с одиннадцатью пальцами на каждой, естественно, принадлежали маэстро Скарлатини; затем диптих «Великий картограф Микробиус инструктирует и благословляет мореплавателя Брендана» и «Мореплаватель Брендан, обивающий днепровские пороги»; затем сверхконцептуальная картина «Суровый Полихроний Агапиевич отвергает Роскошный Часослов герцога Беррийского» (как сообщил своим спутникам г-н Архивариус, к этому чудесному ковру не поленился совершить паломничество сам Главный Часовщик; он лично отпылесосил его, а потом несколько дней лежал на нем ничком, в благоговении терся лицом об ворс и все никак не мог заставить себя уйти). С не менее потрясающей силой воздействовало на воображение зрителя златорунное панно под названием «Полковник Ферапонтов, совершающий тринадцатый подвиг Геракла», с благодарным Гераклом в уголке. Также хороши были и прочие панно, в правдивых образах представляющие различные выдающиеся события, более или менее связанные с бурной историей Замка.

— Кажется, этого человека я знаю! — сказала Янка, указывая на какую-то вышитую черными и кроваво-красными нитями грозную фигуру, распластанную под колесами Фургона.

Вялый Горбун послушно притормозил, чтобы путники могли получше рассмотреть шедевр. Грозная фигура представляла собой некоего председательствующего, облаченного в судейскую мантию и облеченного, по-видимому, непререкаемой властью. Картина сама была длинной и имела такое же длинное название: «Фемгерихт выносит справедливый приговор литературному консультанту Швыряеву».

— Да это же сам эксцесс-председатель! — не то восторженно, не то испуганно выпалил г-н Архивариус.

— Кто? — не поняла Янка.

— Это же Магнус Брюзга! Боже мой, Его Превращенство — ну как живой!

— Угу! — подтвердил г-н Филин и в страхе закрыл клюв крылом.

Янка недоверчиво всматривалась в огромную плоскость лица эксцесс-председателя. Шерсти на него ткачи не пожалели — особенно красной.

— Странно, — произнесла Янка.

— Что тут странного, княгинюшка? — осведомился г-н Архивариус.

— Странно то, что вы его называете Магнусом Брюзгой. А я знала его как бабу Маню. И знала очень даже хорошо, честное слово!

— Гм... — в нерешительности замаялся г-н Архивариус. — Ну, у нас тут, конечно, всякое случается, но чтобы...

— Позвольте, а кто же здесь Фемгерихт? — спросила Янка, разглядывая остальных персонажей на картине. — Может, надо проехать дальше, а то отсюда я не вижу.

— О нет! — остановил ее г-н Архивариус, и его суровое лицо ученого тронула смущенная улыбка. — Видите ли, княгинюшка, в чем тут дело... Фемгерихт, с вашего позволения, это такой несколько специфический судебный орган.

— Какой орган? — переспросила Янка.

— Специфический судебный, — повторил г-н Архивариус и тут же поспешил уточнить: — Это тайный суд, с вашего позволения.

— Ах вот оно что! Тайный суд бабы Мани... Ну и ну! Вот уж тетушка Клер повеселилась бы! Представляю себе нашу бабу Маню с лопатой или метлой в этой вот длиннющей мантии. «Ну-ка, — строго допрашивает она какого-нибудь провинившегося со-

седа. — Поди сюда! Ты зачем это, негодник, в мусоропровод прокисший борщ вылил? И не ты ли, неряха, окурки в окно выбрасываешь, а? И уж не ты ли, бесстыдник, неудобопроизносимые слова на стене нацарапал, а дверь гражданина Кошляка гуталином натер? А у парадного подъезда кто наплевал?!» Так говорит баба Маня, грозно взмахивая лопатой для чистки снега.

— Прошу прощения, княгинюшка, — вкрадчиво начал г-н Архивариус, — но настоящий Фемгерихт свершается несколько иначе. Прежде всего, он руководствуется одним-единственным законом. Это закон справедливости. Допустим, какому-нибудь ловкачу-преступнику удалось ускользнуть от публичного наказания, — а такое с помощью высокого общественного положения и денег случается весьма часто и повсеместно, — и вот тогда недремлющий Фемгерихт становится последним и неподкупным поборником правды: он молниеносно выносит негодяю приговор. И это приговор по совести!

— Угу! — снова подтвердил г-н Филин и снова быстро спрятал клюв под крыло.

— И какое же такое страшное преступление совершил этот... как его?..

— Швыряев, с вашего позволения, княгинюшка, — предупредительно подсказал г-н Архивариус, чувствуя, что происходит что-то не то. — Литературный консультант.

— Да, выглядит этот ваш Швыряев не очень... Даже лицо вышито будто наспех.

— Угу, еще и белыми нитками, — согласился г-н Филин. — Видать, суд был так скор, что ткачи не успели доделать подсудимого. Угу?

— Если я правильно поняла, господин Архивариус, судят его не за конфетный фантик, брошенный мимо урны, — предположила Янка. — Он что, ограбил кого-нибудь?.. Или убил?

— Хуже, княгинюшка!

— Да что же может быть хуже?

— Да вот что! — вскричал г-н Архивариус. — Вот вы, княгинюшка, говорите: ограбил. Да! Он крал! Но не деньги, нет. И не драгоценности, если, с вашего позволения, под драгоценностями понимать золото и алмазы. Нет, этот проходимец на самое святое: он крал чужое вдохновение и время, что равносильно самому циничному убийству. И убивал он не людей в телесном образе, как вы понимаете, а их несокрушимую веру в свои возможности и си-

лы, что можно смело приравнять к краже со взломом... Или — к разбою! При этом он имел наглость со скучающим видом, даже не утруждаясь скрывать зевоту, заявлять своим жертвам, что, дескать, истинный талант всегда пробьет себе дорогу самостоятельно и только таким образом засвидетельствует перед лицом истории свою истинность, а значит, и право на существование. Так, по существу, сам являясь закоренелым преступником, он бесстыдным образом вершил жестокий суд над теми, кто, быть может, и казался смешным и нелепым в своей искренней наивности, и даже, увы, был не столь силен духом, как нам бы того хотелось, но все же явился на свет Божий существом честным и невинным...

Тут г-н Архивариус на мгновение умолк и уже с тихой грустью в голосе закончил:

— В конце концов, поэты не рождаются ни алкоголиками, ни предателями, они ими становятся с помощью таких вот *Швыряевых* и перестают быть поэтами. Так что судить этих *Швыряевых* должны не бабы Мани, а великий и справедливый Фемгерихт во главе с грозным эксцесс-председателем Магнусом Брюзгой. Вот, милая княгинюшка, так я полагаю.

— Вы позволите, господин Архивариус, немного с вами поdiskутировать? — спросила Янка.

— Почту за честь, Ваше Высочество!

— Тогда скажите, не кажется ли вам, что этот ваш «фемгерихт» точно так же не вправе судить тех, кто сам судит неправедно? — с укоризненной улыбкой спросила Янка. — А тем более — делать это тайно.

— А почему бы и нет? — с жаром возразил г-н Архивариус. — Коль скоро преступление налицо, а наказание явно запаздывает и даже может вообще никогда не свершиться, то ведь кто-то же должен взять на себя этот тяжкий труд. А так называемой общественности все равно: тайно или явственно — главное, что зло наказано по заслугам! Скажу больше: для рядовых граждан нет никакой разницы, кто именно наденет на себя судейскую мантию — баба Маня или Магнус Брюзга, ибо настоящее имя суда — Фемгерихт.

— Но только не баба Маня, — продолжала упрямиться Янка, — хоть я ее очень люблю.

Видно было, что г-н Архивариус расстроился. Он сокрушенно покачивал головой, болезненно морщился, тяжело вздыхал, чуть ли не роняя слезу, но так и не находил тех простых и великих

слов, кои двигают горы и убеждают царственных особ. Даже г-н Филин совсем притих и только хлопал глазами в углу Фургона.

— Понимаете, княгинюшка, — наконец с печалью в голосе произнес г-н Архивариус, — так уж устроен мир: бывает, даже Магнуса Брюзгу высший долг принуждает иногда превращаться в бабу Маню, и наоборот, бабу Маню — в Магнуса Брюзгу. И это прекрасно! — срывающимся голосом добавил он.

— Простите меня, милый господин Архивариус, — растроганно сказала Янка. — Я не хотела вас огорчить. Может быть, я была слишком резкой в своих словах...

— О, что вы! Что вы, княгинюшка! — тут же принялся расшаркиваться г-н Архивариус.

— Конечно, я говорила о вещах, о которых сама не имею четкого представления....

— О княгинюшка! — с восхищением воскликнул г-н Архивариус. — Вы имеете абсолютное августейшее право вообще не иметь никаких представлений!

— Угу, угу! — в порыве верноподданнических чувств подхватил г-н Филин.

— Только без царедворства, друзья мои, — строго сказала Янка. — Я этого не люблю.

— Угу, и я тоже, — не растерялся г-н Филин.

— Так вот, дорогой вы мой господин Архивариус, — продолжала Янка, — я охотно верю и даже готова легко согласиться с вами, что этот ваш Фемгерихт судит настоящих преступников, и судит их по совести. Более того, очень может быть, что нигде в мире нет суда справедливее. — При этих словах г-н Архивариус сладко зажмурился и закивал головой; но тон Янки постепенно менялся: — Но и вы, господин Архивариус, должны меня правильно понять: если суд справедлив, то к чему все эти тайны вокруг него? Он что, сам боится пострадать за свою справедливость? Или, может быть, он не настолько уверен в ней, как вам бы того хотелось? — Янка обвела требовательным взглядом всех присутствующих, включая Фургон. — Я могу это понять. Кто возьмется определить, чем один человек справедливей другого? Вы скажете, что закон, которым руководствуются судьи, выше человека, а потому человек обязан ему подчиняться. А я вам скажу, что в результате все равно один человек подчиняется другому, потому что закон этот придуман самим же человеком, — и все для того, чтобы меньшинство управляло большинством.

— Вы что, изучали труды мсье Ле Бона?! — осведомился г-н Архивариус, изумленный такой, не по возрасту, зрелостью суждений. — Значит, вы сторонница «теории толп»?

— Вовсе нет. Я сторонница здравого смысла. И обращаясь к нему, я задаюсь вопросом простым и естественным: на земле, где вынуждены жить вместе богатые и бедные, здоровые и больные, мастера и праздные бездельники, преступники и их жертвы, а власть принадлежит далеко не лучшим из лучших, если и вовсе — не худшим из худших, о какой справедливости можно говорить? И кто из них может определенно объяснить, что такое абсолютная справедливость?

— Угу, только Господь Бог! — благоговейно выдохнул г-н Филин и молитвенно сложил крылья.

— Ну вот пускай Господь Бог и рассудит, в чем провинился этот ваш Швыряев. А я, как только увижусь с бабой Маней, или, если вам угодно, с Магнусом Брюзгой, выскажу все, что думаю об этом.

— Угу-угу, непременно все им выскажите, Ваше Высочество! — горячо подхватил г-н Филин. — А то ведь иной раз эксцесс-председатель что-нибудь такое отчебучит! Ведь так, господин Архивариус?

Но г-н Архивариус ничего не ответил, на всякий случай делая вид, что не слышит.

— Угу, чересчур круты бывают иной раз Их Превращенство, — продолжал настаивать г-н Филин. — Да вы-то должны хорошо помнить, господин Архивариус, как однажды Их Превращенство заявили мне буквально следующее: «Послушай, филин!..» И я прямо-таки всеми фибрами души почувствовал, как Магнус произнес мое благородное имя почему-то с маленькой буквы! «Послушай, филин, — говорит он, — ежели я еще хоть раз замечу, что ты филонишь, превращу тебя во флюгер, и ужо ветрюган не даст тебе закоченеть в безделье!» Вот же ведь как! Это я-то «филоню»! Где же тут справедливость, господин Архивариус, я вас спрашиваю? Вон, Луна свидетель, — ученый секретарь метнул обиженный взгляд вверх, где сквозь потолки сияла Луна, — я света белого не вижу, все тружусь да тружусь, крыл не покладая!.. Вы вот как полагаете, почему у меня глаза всегда такие круглые и навыкате?

— На лбу, вы хотели сказать, — уточнил г-н Архивариус.

— Не на лбу, а навыкате, — резко возразил г-н Филин и тут же повторил мучивший его вопрос: — А все почему?

— Почему? — спросила Янка.

— Угу! От постоянного перенапряжения и повышенного перенапряжения, Ваше Высочество, — словно некое заклинание пропел ученый секретарь. — А кое-кто, не будем называть имен, хочет сделать из меня флюгер!

— А знаете, княгинюшка, — вмешался г-н Архивариус, — мой коллега, как всегда, изрядно преувеличивает, но мизерная капелька правды в его бесконечных стенаниях, возможно, имеется. Все это, конечно, застарелый комплекс неполноценности, возвращенный на патологическом страхе и ущемленном болезненном самолюбии, а отсюда, прошу прощения, и глаза на лбу. Но, я хотел сказать о той мизерной капельке правды, которую кое-кто, не будем называть имен, превращает в океан безумия. Помнится, как-то раз, — продолжал г-н Архивариус, нисколько не обращая внимания на возмущенное уханье своего ученого секретаря, — довелось мне сделать замечание Их Превращенству Магнусу Брюзге. Ну такую малепусенькую ремарочку, настолько скромную и интеллигентную, что ее попросту можно было бы и не заметить!.. Уж и не припомню теперь точно, в связи с каким из тогдашних судебных процессов, коих проходило по десятку на день, но я позволил себе высказаться в том смысле, что, дескать, не следовало бы при вынесении приговоров, и без того более чем справедливых, руководствоваться печально известным принципом Императора Фердинанда, который гласит: «Fiat justitia rePEAT mundus», что означает: «Да свершится справедливость, хотя бы для этого погиб мир».

Услышав такое, г-н Филин позабыл все свое нечеловеческое возмущение и дребезжащим от ужаса голосом спросил:

— Угу, и что он с вами сделал?

— Ха-ха! — г-н Архивариус напустил на себя бравый вид. — Ничего не сделал! Дулся на меня целую декаду, что, правда, не лучшим образом повлияло как на мое бодрствование, так и на мой сон. Судите сами, друзья мои, стоило мне начать бодрствовать, как меня сразу клонило в сон, а когда я засыпал, то ни с того ни с сего вскакивал как укушенный и, еще не успев как следует проснуться, ничего не соображая, снова принимался бодрствовать, а в самый разгар бодрствования, представьте себе, снова засыпал! И так без конца и краю, днем и ночью!.. Уж не помню, как долго все это продолжалось. Измучился я ужасно: думал, помру. Наверное, тем бы и кончилось, если бы однажды на рассвете,

прямо ко мне в Скрипторий не пожаловали Их Превращенство собственной персоной — взор потуплен, руки висят ниже колен (вы, кстати, господин Филин, тогда спали как суслик). И не просто пожаловали, а скрепя сердце попросили у меня прощения и сквозь зубы процедили, что, пожалуй, малость были неправы, а затем, видимо, войдя во вкус, даже пообещали заставить зарвавшегося Императора Фердинанда своей же рукой переписать этот его пресловутый «Fiat justitia», но уже без «pereat mundus». Так что, друзья мои, как видите, на самом деле Магнус Брюзга — человек незлобивый и вполне отходчивый, пусть и не сразу. Это верно: иногда его заносит немного, но таков уж у него темперамент. Что тут поделаешь?

— Темперамент?! — ошетинился г-н Филин. — Темперамент! Угу, экая у вас логика! Выходит, изуверское превращение великолепной птицы в безмозглый флюгер можно оправдать чьим-то темпераментом? А потом еще и умиляться при каждом случае «доброте и отходчивости» эксцесс-председателя, угу?.. Я просто потрясен таким вопиющим бездушием! Неужели вам меня несколько не жаль?

— Кого? Вас? — удивился г-н Архивариус.

— Меня! — завопил г-н Филин, чуть не плача. — Меня, который повыдергивал из себя... Нет, не так... Меня, который положил на алтарь науки столько своих кровных перьев, что ими с лихвой можно было бы набить все подушки и перины в Замке.

Тут г-н Филин с такой обидой взмахнул крыльями, что с них слетели манжеты.

— У-у-у-у! А манжеты? Мои манжеты?! — причитал он. — Да вы посмотрите на меня: хожу как нищий бродяга! И все это ради того, чтобы иметь, на чем писать. А самому иной раз стыдно в обществе появиться. Ответьте же мне, господин Архивариус: почему с тех пор, как наша Замковая Кастаньяна окончательно свихнулась... нет-нет, вы не увильвайте, господин Архивариус, и не прячьте глаз, я требую, чтобы вы раз и навсегда дали мне ответ: почему с тех пор, как эта старая карга навеки скрылась в Чулане, мне самому приходится кроить манжеты, самому строчить и самому вышивать и обшивать, пропади оно пропадом?! Вам когда-нибудь доводилось кроить манжеты из палаточного брезента? А из прорезиненной мешковины?.. В конце концов, я ученый секретарь или швея? Молчите, я еще не кончил! Зато этот ваш Обвожательный Кокозей, этот павлин на курьих ножках, которого

вы вечно защищаете и который, как вам известно, вместо Безумной Кастелянши теперь ведаёт поставками манжет, воротничков, а также штанов, курток и прочего, и, следовательно, обязан беспрекословно снабжать меня всем необходимым по форме, сам, как девица, по горло в кружевах утопает и только и занят тем, что с утра до ночи пропадает на банкетах да на балах. Вот уж кто филонит, так филонит! Так почему бы тогда именно Кокозя не превратить в какой-нибудь павлиний хвост?

— Ну, ну, господин Филин... Будет вам...

— Угу, вам-то легко говорить, господин Архивариус! — залился слезами ученый секретарь. — Вы заняты только одним: целыми днями говорите. Может быть, кому-то это и нужно... Возможно, вас даже кто-нибудь и слушает... Но скажите, пожалуйста, кто еще будет так честно запечатлевать на этих грубых мешках вашу говорильню? Может быть, господин Флюгер? Угу?

— Да нет же! — поспешил оправдаться г-н Архивариус. — Я всего лишь имел в виду, что к деяниям Их Превращенства следовало бы подходить, как любил говаривать Тацит, *sine ira et studio*, то есть без гнева и пристрастия. А вообще-то, вы же знаете, как я ценю вашу так называемую преданность науке, и мне вас даже несколько жаль. В целом, вы частично неплохой парень... Честное, как мне кажется, слово.

— И мне тоже вас жаль, — прибавила Янка, поглаживая ученого секретаря по перистой головушке. — Вам бы надо побереечь ваши замечательные перья. Они такие шелковистые и, наверное, очень хрупкие...

— Угу, очень хрупкие, — плаксиво повторил г-н Филин.

— Хотите, я подарю вам шариковую ручку? Она у меня здесь, в сумочке.

— Ручку? — г-н Филин так и задохнулся от восхищения и умиления. — Ух! Да я бы с радостью, но...

— Какие еще «но», коллега? — возмутился г-н Архивариус. — Совсем с ума сошли? Их Высочество пожелали вас облагодетельствовать таким роскошным подарком, а вы еще клюв воротите!

— Да ничего особенного, — возразила Янка. — Ручка как ручка. Стоит всего пятнадцать копеек...

— Угу, — стал оправдываться г-н Филин, — но вы же знаете, что я пишу симпатическими чернилами. А для таких чернил шариковая ручка не годится. Необходимо именно перо.

— Как вы сказали? — изумилась Янка. — Какие чернила?

— Симпатические, — подбоченившись и выставив одну лапку вперед, г-н Филин принял значительный вид. — Ну, это известное дело: симпатическими чернилами я записываю все самое приятное, самое вкусное, самое ароматное и красивое.

— А невкусное и некрасивое?

— Угу, для невкусного и некрасивого, а также для злого, уродливого, грязного, вонючего и вообще всего мерзкого у меня есть другие чернила — антипатические. Но в нашем Замке, не извольте беспокоиться, я пускаю их в дело крайне редко. Не чаще одного-двух раз в неделю.

— Ах, как это мило! — заметила Янка.

— Угу! — откликнулся ученый секретарь, и тон его стал слащавым. — Наверное, вы не раз видели, Ваше Высочество, как иногда мне приходится макать перо поочередно в разные чернильные склянки...

— Конечно, видела. У вас при этом такие глаза... Как у настоящего поэта.

От смущения и удовольствия г-на Филина начало всего выкручивать, а кожа под перьями вся покраснела.

— Но я думала, что склянки вы меняете для красоты или для разнообразия... Или для вдохновения.

— А вот и нет! — г-н Филин загадочно усмехнулся. — Смотрите, Ваше Высочество.

Он извлек из ящичка с письменными принадлежностями небольшую склянку грязно-серого цвета.

— Когда я пишу, скажем, «Котомыш Лаврентий Печерский», или такое географическое название, как «ЖЭК №30/3», или «Альгакобилла», или «Администрация», со всей ее «администрухой» и «администрахами», то, конечно, я, полный отвращения, беру эту склянку с антипатическими чернилами...

Г-н Филин макнул перо в грязно-серую склянку и быстро нацарапал несколько слов на чистой манжете. Надо сказать, свеженарисованное пахло не очень приятно.

— Угу! Зато если я пишу о любидо Гениального Кондратия и его любофильской Поэме, или о Глобусе Киева, или о доброй герцогине Эсклермонде, то в таком случае в ход идет вот эта хрустальная склянка с симпатическими чернилами, а говоря по научному, — с раствором свинцового сахара.

Г-н Филин застенчиво опустил глаза и елеинным голоском добавил:

— А ваше светлое имя, княгинюшка, я всегда увековечиваю на моих манжетах исключительно раствором золотого сахара, а затем уже каждую буквочку окропляю цветочным нектаром и толуанским бальзамом.

— Ох, вы и льстец! — скривился г-н Архивариус. — Далеко полетите, сладчайший коллега...

IV

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Фургон с путниками продолжал плыть по тканым картинам Коврового Тракта. На одной из них был изображен никомидийский врачеватель Панталеон в окружении целого консилиума терапевтов, хирургов, невропатологов и прочих учнейших специалистов из Октябрьской больницы: благотворною рукою легендарный лекарь указывал куда-то вправо, по-видимому, ставя правильный диагноз находящемуся там больному льву, который послушно держал в своей пасти огромный термометр и глазами полными надежды взирал на Панталеона. Сей поучительный сюжет через некоторое время сменился другим: «Фарфоровый Лев дает займы свое Сердце королю Ричарду Плантагенету». И так далее, и так далее... Честно говоря, для того, чтобы перечислить все изобилие сюжетов, так и кишевших выдающимися героями, понадобилась бы не одна сотня страниц убористого текста, а вышитые там и сям замысловатые орнаменты, таинственные мандалы, вычурные иероглифы, рунические знаки, от которых как будто даже пахло вереском и морем, магические формулы, слова любви и благодарности, автографы, анаграммы, цитаты на всех мыслимых и немыслимых языках, алхимические и зодиакальные символы и вовсе не поддавались счету.

Путники очень утомились, их внимание таяло с каждой минутой, в глазах рябило от напора ярчайших красок. В поисках отдохновения их взоры перенесли на простертые во все стороны комнатные дали и близости. А там, помимо упомянутых раньше вкусно пахнущих буфетов и мягких диванов, время от времени попадались и другие примечательные достопримечательности. Например, весь отделанный праземом исполинский платяной шкаф, сработанный в духе Джованбатисты Тассо. Одиноко мая-

чивший вдаль, шкаф этот напоминал старую, романских времен, сторожевую башню с полуотворенными дверцами-воротами из красного дерева; легкий ветерок, а точнее сквознячок, доносил запах флорентийского нафталина. Время от времени по обе стороны Коврового Тракта вырастали тумбы и шифоньеры, высокие, выше человеческого роста, конторки с выдвигаемыми ящиками, резные стулья и табуреты, шахматные столики с расставленными в боевом порядке костяными фигурками и столы для игры в карты, которые г-н Архивариус с каким-то необъяснимым удовольствием называл «ломберными столами». Были тут и туалетные столики для пудры — так называемые *poudereuses*¹, — над которыми висело плотное марево из жасминовой и апельсиновой пудры, столики для щипчиков, которыми завивают волосы и парики, столики для парфюмерии, заставленные тесными рядами венецианских флакончиков из опалового, «льдистого», мильфлерного², костяного и особенно гутного стекла. Над этими столиками реяли ароматы фиалки, розы, лаванды и герани, разнообразных целебных трав и эфирных масел. Были тут и левиафановских размеров, персон на сто и более, обеденные столы — круглые, овальные и прямоугольные, — а также письменные, которые произвели особо сильное впечатление на г-на Филина.

— Угу, вот бы поработать за таким! — мечтал вслух ученый секретарь. — Хоть раз по-человечески. А то все на ходу да на лету. Вот так почерк и портится...

Но в том-то вся и заковыка, что писать, сидя за этими вожденными столами, было крайне неудобно, ибо от любого из них до ближайшего стула, на который можно было бы сесть, расстояние составляло не менее получаса ходьбы. Конечно, такое неудобство существовало только для человека — в силу своей крылатости, г-н Филин мог преодолеть это расстояние намного быстрее, но вряд ли в этом имелась необходимость, поскольку ему все-таки удобнее было бы писать, сидя не за столом, а *на* столе.

— Хм... необычная расстановка, — заметил г-н Архивариус так, словно речь шла не о столах и стульях, а о шахматах.

Завидев многочисленный отряд метельщиков в расшитых бисером парчовых робах и с метлами наперевес, который пробирался меж длинных скамеек к увитому диким виноградом трель-

¹ Пудерёзы (*франц.*) — одна из разновидностей туалетного столика.

² Тысячецветного (*франц.*).

яжу, путники неуверенно предположили, что, вероятнее всего, причина такой гарнитурной разобщенности между столами и стульями — в Генеральной уборке: чтобы ее осуществить, естественно, необходимо часто и много двигать и передвигать всю мебель. Столь простенькое объяснение г-ну Архивариусу показалось не слишком убедительным, тем более что никаких признаков уборки, не говоря уж об уборке Генеральной, на пути не попадалось: ни тебе веников, ни пылесосов, ни щеток, ни порошков и моющих средств, ни ведер с водой! Зато повсюду торчали сверкающие хрусталем серванты, горки с костяными слониками и фарфоровыми божками, а также массивные комоды, подле которых хлопотали давно прижившиеся в закомодье старички. Но больше всего путникам понравилось трехстворчатое трюмо, которое они сначала приняли за дворец, украшенный гигантскими зеркалами. Оно обладало невероятной притягательной силой, и по-видимому неслучайно, у его высокого подножия, со стремянками наготове, выстроилась длинная вереница писаных красавиц в надежде полюбоваться своими прелестными отражениями, попричесываться, попудриться, подушиться и попримеривать разнообразные аксессуары. Положа руку на сердце, Янке тоже очень захотелось заглянуть в одну из зеркальных створок этого великолепия, но стоять в очереди было некогда, а воспользоваться своим монаршим статусом было как-то неловко.

Невзирая на громкий и назойливый щебет писаных красавиц, которые махали соломенными шляпками вслед Фургону, г-н Архивариус все-таки ухитрился расслышать, как где-то названивает телефон. Действительно, чем дальше продвигались путники, тем длиннее и настойчивее становились звонки, пока и вовсе не превратились в одну сплошную и невыносимую трель. Пришлось остановиться.

— Похоже, междугородняя, — предположила Янка.

— Сейчас посмотрим! — сказал г-н Архивариус, вылезая из Фургона.

Пока он рылся в кучах старой пыльной рухляди в поисках телефонного аппарата, г-н Филин и Янка активно разминались после долгого и утомительного путешествия: поднимали крылья и руки вверх, разводили их в стороны, приседали, наклонялись и выпрямлялись, вытягивались на коготках и на носочках, глубоко дышали. Вялый Горбун заботливо закутывал в сухие махровые полотенца вспотевший Фургон, а мокрые выжимал и развешивал сохнуть на его дверцах.

— Алло? У аппарата!.. — кричал в обнаруженную телефонную трубку г-н Архивариус. — Кого?.. — он недоуменно пожал плечами. — Нет, Полковника Ферапонтова не видел... Говорю, не видел!.. Хорошо, передам... Что?.. Передам, говорю!

Только он опустил трубку на рычаг, опять раздался трезвон.

— Архивариус у аппарата. Да... Нет... Да... Нет, но да. То есть больше да, чем нет... Как вы сказали?.. Понятно, понятно, я же не глухой! Передам все в точности... Если увижу... Что? Увижу ли? Больше нет, чем да, но будем надеяться, что да... Как вы сказали?.. А, до свидания!

Г-н Архивариус положил трубку, но телефон затрезвонил вновь.

— Э нет, друзья мои! Так дело не пойдет. По местам, если мы не хотим застрять здесь на веки вечные!

— Скажите, а мне случайно не звонили? — смущаясь и краснея, спросила Янка.

— Увы, княгинюшка, — г-н Архивариус с сожалением развел руками и покосился на разрывающийся от звона телефонный аппарат. — Я бы вам сразу сказал. Но если хотите, я могу еще раз снять трубку, пока мы здесь.

— Давайте я сама, — и Янка сняла трубку.

— Алло?.. Ах... да, конечно, он здесь, — Янка удивленно посмотрела на ученого секретаря. — Это вас, господин Филин.

— Угу.

С важным видом г-н Филин принял из рук Янки телефонную трубку.

— Угу, Филин у аппарата... А, это ты! Ну дорогая, я же просил: не звони мне, когда я на работе... Я понимаю, что соскучилась. Я тоже соскучился... Нет, не знаю. Когда вернусь? Я же сказал: не знаю! Командировка затягивается... Угу, очень ответственная... Так, только без слез, я же не навсегда улечел... Что приготовить?.. Какие еще лягушачьи лапки?! Дорогая, ты же знаешь, я вегетарианец!.. Угу. Ну, все, все, хватит: телефон служебный. Угу... Нежно клюнь за меня малышей. Угу, и я тебя клюю тысячу раз. Пока!

Пока длился этот телефонный разговор, г-н Архивариус и Янка тактично отошли к Фургону и делали вид, что ничего не слышат. Они даже попытались побеседовать о погоде, но поскольку погода в зале была настолько комнатной, что, можно сказать, ее и вовсе не было, то вся беседа ограничилась двумя-тремя общими фразами светского характера, то бишь не о чем.

— Ну как? — участливо спросил г-н Архивариус ученого секретаря, когда тот, несколько смущенный, положил трубку и неуклюже подковылял к Фургону.

— Да так, ничего особенного, — отвечал г-н Филин. — Супруга звонила.

Он махнул крылом:

— Ну что, едем дальше?

Г-н Архивариус снисходительно улынулся: дальше — так дальше.

V

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОВРОВОГО ТРАКТА

И дальше путникам попадались предметы не менее диковинные: гладильные столы с разогретыми на огне чугунными утюгами, одним из которых, кстати, воспользовался г-н Филин и выгладил дюжину манжет, измятых в дороге; а еще — резные и инкрустированные этажерки с водруженными на них цветочными горшками и большие глиняные кувшины с водой, доставленные сюда неизвестно кем и откуда, — несколько раз Фургон останавливался у этих этажерок, и Янка заботливо поливала из кувшинов аспарагусы, маргаритки, бегонии, рождественники и орхидеи; а еще — нагромождения книжных стеллажей, у которых сосредоточенно возились изможденные букинисты и простые книгочеи; высоченные конторки, бильярдные столы для карамболя и русского бильярда, альковы с шелковыми балдахинами, мраморные каминные — в некоторых даже полыхал огонь, — медные и эмалированные ванны, возле которых под ультрафиолетовыми лампами пляжились компании молодых людей и старики под зонтиками, с комнатными собачонками, бутылочками с минеральной водой, толстыми романами, пледами и лорнетками. А еще — винтовые лестницы, деревянные, скрипучие, с витыми перилами, круто уходящие куда-то под самые потолки и там теряющиеся в ярком лунном свете. А еще — рундуки, сундуки и тесные кладовки, доверху набитые ларцами со всякой всячиной, а также — погруженные в густой полумрак столетий таинственные шкатулки, в которых скрывалась какая-нибудь преданная забвению бижутерия, или пожелтевшие письма и фотографии, или

старые почтовые открытки, или потускневшие коллекции гербариев и бабочек, или давно вышедшие из моды галантерейные мелочи, пустые пудреницы и флакончики из-под духов, и кто знает, что еще...

У одного из каминов — в его широкой пасти еще дышали жаром угли, — путники остановились, подбросили сухих поленьев — благо, несколько вязанок были заботливо сложены рядом, а не где-нибудь за версту, — подкрепились горячими сэндвичами и грогом, приготовленным лично г-ном Архивариусом, и, расположившись в креслах-каталках, перекинулись в бридж — к всеобщему удивлению, выиграл Вялый Горбун.

Отдохнув в этаком староанглийском стиле часок-другой, друзья отправились дальше. Миновали поросшие грибами столетние столешницы, а затем — какую-то утробно гудящую вертикальную трубу, которая, казалось, пронизывала сверху донизу весь Замок. По слухам, то был вакуумный мусоропровод, построенный якобы японскими ниндзя по просьбе Магнуса Брюзги. В Замке этот каприз эксцесс-председателя никого особенно не удивил, ибо все знали его почтительное отношение к тяжелому труду дворников.

— Фу, как противно гудит! — проворчал г-н Филин, когда труба мусоропровода осталась далеко позади.

— Говорят, в ней иногда пропадают люди, — сообщил г-н Архивариус. — Но я не очень-то доверяю этим сплетням.

— Уту, зато я очень даже доверяю!

— Как вы полагаете, господин Архивариус, — спросила Янка, — долго ли нам предстоит еще путешествовать?

— Право, не знаю, княгинюшка.

— Но ведь мы могли бы это как-то рассчитать. Вы говорили, у вас есть знаменитые карты Микробиуса. Давайте же возьмем их в помощь.

— Боюсь, это практически невозможно.

— Но почему?

— Видите ли, княгинюшка... Великий Микробиус действительно превосходно справился со стереоскопической географией всего Глобуса Киева, но, как это ни прискорбно, ему пока не удалось до конца разобраться в сложнейшем устройстве Замка. Количество залов, комнат и коридоров здесь столь безгранично, что после трех тысяч все начинает путаться... А если к ним добавить еще и все зашкафья, закомодея, засервантья, подстоля и подкроватья со всеми их сюрпризами, то тут требуются усилия уже деся-

ти Микробиусов... Да-с... Ну, а места, где мы сейчас находимся, насколько мне известно, вообще никем еще не изучены, а стало быть, не занесены ни на одну карту.

— Ах, господин Архивариус, у меня в голове тоже сплошная путаница! Если бы мне сейчас пришлось возвращаться назад, я бы обязательно заблудилась.

— Гм, пожалуй, и я тоже.

— Угу, а сколько у нас Микробиусов в наличии на сегодняшний день? — с деловым видом поинтересовался г-н Филин.

— Всего-то два, — вздохнул г-н Архивариус. — Великий и Малый. Но Малый не в счет.

— Это почему же?

— А вы когда-нибудь видели Малого Микробиуса?

— Угу, не видел.

— Вот. И никто его не видел.

В эту минуту Фургон проезжал мимо покосившегося от времени старого клавикорда, северная сторона которого сплошь поросла мхом, а южная рассохлась и потрескалась. Инструмент стоял у самой обочины Коврового Тракта, так что г-н Архивариус, ловко высунувшись из окна, успел провести пальцем по нескольким клавишам.

— Ужасно расстроено, — заключил он.

— Угу! — подтвердил г-н Филин. — И я тоже. Аж плакать хочется.

— Надо будет снарядить экспедицию настройщиков, — задумчиво продолжал г-н Архивариус.

— Чтобы улучшить настроение, угу?

— Чтобы улучшить строй.

Г-н Филин скептически покачал головой:

— Это лучше к Полковнику Феррапонтову.

Г-н Архивариус только хмыкнул.

— Ой, смотрите! — воскликнула Янка.

— Что? Где?

— Паутинка летит! Смотрите, и паучок на ней.

— Господин Филин, разве у нас сегодня бабье лето? — строгим тоном спросил г-н Архивариус.

— Угу, зачем вы спрашиваете, будто не знаете, что я женат?..

— Ах, господа! Ну что же вы такие недогадливые! Ведь это же к письму! — и Янка сдула паучка со своей ладони.

И действительно, не прошло и пяти минут, как друзья наткнулись на большой почтовый ящик. Он стоял почему-то рядом с аквариумом, в котором плескались промысловые иваси.

— А что, любезный господин Филин, не слетать ли вам за почтой?

Ученый секретарь искрометно выпорхнул в окно Фургона. Вернулся он не с пустыми крылами, но сначала долго перечислял все содержимое ящика, а оно оказалось немалым: журналы и газеты, накопившиеся за последние месяцы — «Observer», «Times», «Paris soir», «Ковчег», «Вопросы философии», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Play Boy», — и огромное количество писем и телеграмм.

— Безобразия! — возмущался г-н Архивариус. — Совсем от рук отбились!

— А вы снарядите почтовую экспедицию, — сочувственно предложила Янка.

— Обязательно, княгинюшка! Но, по правде говоря, вы даже не представляете, каких трудов стоит прибрать к рукам всех этих почтарей с их сургучами, штемпелями, почтанныками и почтовыми каретами!.. Пойдите, а что это у вас в крылах, господин Филин?

Вид у ученого секретаря был как никогда торжественный.

— Угу, письмо, — и он протянул Янке конверт, весь обклеенный марками и проштампованный бесчисленное множество раз. На конверте было написано: «Письмо для Янки». — Угу, и еще телеграмма для Полковника Ферапонтова.

— Странно, — сказал г-н Архивариус. — Совсем недавно один нобелевский лауреат уверял меня, что Полковнику никто не пишет... Вот радости-то будет! Военные парады, балы, фейерверки... Кстати, господин Филин, а что там, в этой телеграмме?

— Угу, не имею понятия. Тут все зашифровано.

— А вы расшифруйте, коллега. Помнится мне, вы когда-то увлекались криптографией. Вот и покажите класс.

— Угу, право, не знаю, — занервничал ученый секретарь. — Это же секретная телеграмма.

— Да бросьте! Я же вижу, как вас трясет от любопытства.

— Угу! А я вижу, коллега, как вам не терпится подвести меня под трибунал!

— Зря вы так, коллега.

Янка вскрыла конверт. Ах, нет ничего приятнее, чем вот так, неожиданно, получить письмо, а еще приятнее — читать его, путешествуя в мерно катящемся Фургоне, когда мимо окон, будто во сне, медленно проплывают помпезные мебельные гарнитуры, узорные гардины, бронзовые канделябры, пышные дворцовые люстры, висячие антресоли с деревянными кадками, в которых растут пальмы и японские розы; и Ковровый Тракт мягок и ворсист, и Вялый Горбун весел и неумомим, и мысли в голове рождаются спокойные и добрые, и время за чтением письма летит быстро и незаметно, словно прекраснейшая из мелодий...

ПИСЬМО ДЛЯ ЯНКИ

«...И пока ты засыпаешь в огромных ладонях ночи, вестники летят к тебе с добрым посланием — над горами, над лесами. И что такое эта музыка, как не далекий зов, приветствие или прикосновение... Или — сновидение, в котором, словно гибкие ветви, переплелись шорохи дождей, укрывающих своей пеленою мерцание часов на всех запястьях и на всех городских башнях.

Сновидение, в котором сны смешиваются с видениями, словно вода живая с водою мертвою, и кажется, ничто тебя уже не удерживает на зыбкой земле, как не удерживается на ней эхо альпийского рожка, что уносится от тебя прочь, но остается навсегда в пространстве — частью его, уносясь, остаешься и ты.

Сновидение, края которого, будто пенные волны, уже взломачены крыльями вестников, — великая страна. В самом центре ее — дом, а в доме том — очаг, вино и хлеб на столе и кот под столом, белый, с нежно-розовыми прожилками на ушах, сторожит большие и малые сновидения. И дети, эти миниатюрные волшебники, избранники Божьи, что с легкостью превращают пылинку в необъятный мир.

А к дому, как музыка, как вечный зов, вьется дальняя дорога. И все это — твое странствие, называемое возвращением.

Может быть, ты путник, расположившийся на ночлег в зарослях вереска на высоком Холме до восхода солнца...

А пока — ты засыпаешь в огромных ладонях ночи, и ароматная луна осыпается лепестками на твое лицо. Теплый ветер с востока — дыхание нового дня — едва слышно касается твоих волос, в их золотистых отблесках еще прячутся тени твоих снов, в которых пробуждается улыбка безмятежной радости...»

...Пока Янка читала письмо, г-н Архивариус не переставал возмущаться безответственностью Почтового Ведомства, которое позволило залежаться такому огромному количеству прессы и корреспонденции. Бог весть, когда все это дойдет по назначению! Ведь и княгинюшка давно уже могла получить предназначенное ей письмо и даже ответить на него. На это справедливое возмущение г-н Филин резонно заметил, что не припомнит таких времен, когда Почтовое Ведомство работало бы исправно: такое впечатление, что однажды волею случая оно обрело бессмертие и теперь пребывает в Вечности, а в Вечности спешить некуда и незачем! Это старая и неизлечимая болезнь почтовых служб всего мира. Примеры, кои в избытке привел ученый секретарь, были убедительны и одновременно возмутительны (как и все, что тот делал, — по меткому замечанию г-на Архивариуса). Так, если бы пришла вовремя важнейшая депеша от французского правительства, гоблины не обрушили бы Михайловский собор. Или вот еще случай: в 1945 году некий француз Жозеф Ледеван, находясь в германском плену, отправил с чужбины письмо своей невесте, проживавшей в то время в Аннеси, и письмо это находилось в пути — страшно даже выговорить — целых двадцать девять лет! Когда письмо, наконец, прибыло по адресу, бедной женщины уже давно не было в живых... А милая Полин Хаузер! Еще 11 декабря 1925 года она отправила рождественское поздравление своей подруге Розе Миллер, которая его получила спустя ровно пятьдесят лет, хотя жили подружки друг от друга всего лишь в каких-нибудь тридцати километрах! К сожалению, ответа Полин так и не дождалась, потому что не сумела прожить еще пятьдесят лет.

— Это еще что! — все сильнее распалялся г-н Филин. — Знаете ли вы, что в Италии письма исчезают с целыми поездами?

— Как?! — изумился г-н Архивариус.

— Угу! А чаще всего их тысячами выбрасывают на свалку или за копейки продают на бумажные фабрики, как обыкновенную макулатуру.

— Но почему?

— Не знаю. Может, письма там никому не нужны. Или, может, там вообще не принято читать чужие письма. А может, итальянцы пишут их просто так, по старой привычке... Угу? Что-то вроде эпистолярной болезни... Кто их разберет?..

VI

ДЕСЯТЫЙ МУЖ СЛАВЫ

Фургон следовал где-то между столовой и кухней, до каждой из которых было по несколько дней пути, когда впереди ясно обозначился какой-то обоз. Вскоре уже без труда можно было разглядеть, что состоит он из двух крытых брезентом подвод и десятка походных кухонь на колесах, запряженных комнатными слонами, которых погонщики подкармливали на ходу бисквитами со взбитыми сливками. После поглощения каждой новой порции слоны вздымали хоботы над головой и громко трубили от удовольствия. Один из погонщиков, в папаше, очевидно старший, отделился от обоза и быстро направился в сторону Фургона.

— Я начальник обоза, — представился он, подойдя ближе; за спиной у него болталась кветлая винтовка, а в патронташе имелся один, но залихватский патрон. — Отобедать не желаете, дамы и господа? Сегодня у нас гороховый суп, перловка... Видите ли, мы приписаны к артиллерии.

— Спасибо, мы не голодны.

— А то, смотрите, пока не остыло...

— Угу, а бисквиты? — почему-то обиделся г-н Филин.

— Бисквиты со сливками и коньяк — для слонов.

Начальник обоза покраснел, видно было, что ему неловко.

— А зачем вам оружие? — осторожно, чтобы не обидеть, спросила Янка. — Войны же нет.

— Оружие?.. Ах, это! — начальник обоза снял с плеча винтовку, щелкнул затвором и снова повесил на плечо. — Да мне оно вовсе ни к чему!

— Тогда почему же вы вооружены?

— Для большей натуральности. Так значит в приказе Полковника Ферাপонтова.

Видя общее недоумение, он принялся объяснять, правда, довольно сбивчиво:

— Понимаете, тут у нас такое закрутилось! Такая кутерьма и крутоверть!..

— Да в чем же дело, сударь? — нетерпеливо воскликнул г-н Архивариус.

— А дело в том, что Полковник Ферапонтов наш обоз денно и ночью подвергает своему нападению...

— Угу! — возмутился г-н Филин. — Попахивает бандитизмом.

— Никак нет! Их благородие не успевает стать бандитом. Потому что, как только это самое благородие приближается к нашему обозу со своей пальбой, так сразу же ставит его под свою защиту...

— То есть как это?

— Очень даже просто! Роем окопы, занимает круговую оборону, после чего бросается в контратаку, идет в штыки и, таким вот образом, спасает наш обоз от своего разграбления. А потом награждает сам себя очередным орденом и уже героем отправляется восвояси.

— А вы что, тоже ведете огонь? — почтительно поинтересовался г-н Архивариус.

— Никак нет. Она не стреляет, — и начальник обоза презрительно скосил глаза на свою винтовку. — Театральный реквизит.

В эту самую минуту к Фургону с оглушительным треском подкатил мотоцикл с коляской. В коляске, весь окутанный выхлопным дымом, крепко спал какой-то человек в кожаной куртке и кожаных галифе.

— Это флюгель-адъютант Полковника Ферапонтова, — пояснил начальник обоза. — Значит, жди неприятностей...

— Угу, вы, наверное, хотели сказать: «флюгер-адъютант», — поправил его г-н Филин.

— Совсе нет! Флюгер-адъютант обычно является, когда уже все разгромлены и всё кончено.

Не соизволив даже проснуться, человек в коляске протянул начальнику обоза запечатанный пакет и, похрапывая, промямлил:

— Время «че»!

— Угу, что он сказал? — переспросил г-н Филин, на всякий случай доставая манжеты защитного цвета.

— Обычный милитаристский бред! — отмахнулся начальник обоза. — В прошлый раз он нес какой-то вздор про безоблачное небо над всей Испанией. Где Испания, а где мы? Дурак, наверное...

— А что там написано, если не секрет? — спросила Янка.

— Какой уж там секрет!

Начальник обоза нервным жестом распечатал пакет и прочитал вслух следующее:

«Ни шагу назад! Иду на Вы. Битва состоится в районе Орехового Стола имени библиотекаря Борхеса. Неявка будет расценена как поражение. С боевым приветом! Полковник Феррапонтов».

— Тьфу! — сплюнул начальник обоза. — Точно, что «с приветом»!

Сдвинув папаху на затылок, он посмотрел куда-то вдаль:

— Видите, вон там, метров пятьсот отсюда будет, видите письменный стол? Там и произойдет потеха... М-да. Ну, мне пора. Не поминайте лихом!

— Угу, минуточку! — остановил его г-н Филин. — Тут у меня для Полковника Феррапонтова телеграмма...

— Небось, секретная? — перекинулся начальник обоза.

— Угу, секретная... А вы откуда знаете?

— Да у меня этого добра полный обоз. Ладно, давайте ее сюда.

Начальник обоза быстро сунул телеграмму в карман и, вскинув квелую винтовку наперевес, побежал догонять обоз.

— Вот вам и Полковник Феррапонтов! — озадаченно произнес г-н Архивариус. — Хотя, что тут удивительного? Я его хорошо знаю. Как-то раз он принял участие в очередной знаменитой битве, но потом никак не мог вспомнить, на чьей стороне. Тогда он здраво рассудил, что больше ему и негде было быть как на стороне победителя, ибо всемирная история войн не припомнит, чтобы легендарный полководец проиграл хоть одно сражение...

...Надо сказать, по Замку о Полковнике Феррапонтове действительно ходило много легенд. В свое время была даже издана книга барона фон Шпицрутена, которая так и называлась: «Легенды и мифы о Полковнике Феррапонтове». Из этого замечательного произведения можно было дознаться, что в Замок герой пришел из Страны Фейерверков и Необратимых Процессов и что в действительности Феррапонтов имел звание Генералиссимуса, а Полковник — это его имя.

Вот что писал барон фон Шпицрутен в своей книге, полное название которой:

«ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
О ПОЛКОВНИКЕ ФЕРАПОНТОВЕ,
ДЕСЯТОМ МУЖЕ СЛАВЫ»

«...У великого Генералиссимуса был необычайно развит *nervus belli*¹. В некотором роде он сам и был этим нервом войны. Обычно он руководствовался так называемыми случайностями, ибо в военном искусстве случайности имеют наибольшую силу. А отсюда — несть числа подвигам Полковника Ферапонтова, и восхищаться ими можно бесконечно: штурмовал то и се на всех фронтах, в прифронтовых зонах и даже просто в чистом поле; сражался за каждую пядь Земли до последней капли крови, выполняя интернациональные долги и защищая различные Родины и Отечества, которые когда-либо пребывали в опасности. Каждый день он рвался в бой, бросался под лошадей, под тачанки, под танки и бронетранспортеры различных типов и модификаций, а также — под бронепоезда, нанося им непоправимый вред. По понедельникам, учитывая исключительную тяжесть этого дня недели, он поднимался в атаку, шел на таран и в штгики, и даже усы его метали громы и молнии; остальные дни были посвящены отчаянным вылазкам, захвату “языков”, десантированию и артобстрелам. Что же касается воскресных дней, то после завтрака он миловал пленных, а после обеда ставил заграждения, коллекционировал пустые гильзы и неразорвавшиеся снаряды, писал письма, под непрерывный грохот канонады дремал на пушечных лафетах, передвигался только под шрапнелью, а пищу принимал под бомбежкой, и когда в котелок с горячей кашей попадали снарядные осколки и комья жирной от перегной земли, каша становилась намного вкуснее и наваристей. У него была привычка не иметь привычек, вот почему в огне он не тонул и в воде не горел...

Он мог месяцами без усталости ползать на брюхе по-пластунски, а когда уставал, переворачивался на спину и продолжал ползать...

Нужду Генералиссимус справлял только на минных полях, к чему приучал и своих гренадеров, которые доверяли ему безгранично.

Не чурался он и простого общения, простых мыслей, простых слов и простых шуток, от которых ржали и солдаты, и лошади в полной сбруе. Не прочь был также поиграть в свободные от атак и

¹ Нерв войны (*лат.*) — движущая сила войны (обычно о деньгах).

контратак часы в “кусающего дракона” или в жмурки. А еще лучше — в гляделки. Ибо, поскольку Полковник Ферапонтов был человеком прямым и моргать считал для себя унижительным, то всегда выигрывал.

“Генералиссимус должен быть прост и предсказуем, как солдат, а солдат должен быть сложен и непредсказуем, как Генералиссимус!” — часто говаривал он, и за это солдаты очень его любили. Полковник Ферапонтов тоже очень любил солдат. А больше всего — их внешний вид, который должен быть выстиран, отглажен, начищен и блестеть, как у kota причиндалы. Он даже ввел особым приказом обязательное ношение париков с короткой стрижкой. Сам же полководец так часто брился наголо, что волосы на его голове стали расти внутрь.

Исключительное внимание Генералиссимус уделял отданию чести и всегда требовал: “Если в радиусе ста метров некому отдать честь, отдавай сам себе!” И объяснял для особо непонятливых: “Отдай, раз взял, ать-два!” Обычно после этого, сильно разгорячившись, он, чтобы успокоить нервы, долго маршировал строем по плацу или по болоту — все зависело от военно-политической обстановки и дислокации...

А наград и знаков отличия у Полковника Ферапонтова было видимо-невидимо, так что уж и девать их было некуда. С одной стороны, все эти груды металла были безусловным доказательством беспримерного героизма, доблести и славы, а с другой — тянули к земле и лишали маневренности. К тому же, они так громко звенели, что казалось, будто это идет не великий полководец, а стадо овец. И вот, чтобы добро не пропадало, ему приходилось развешивать свои награды прямо на деревьях, что растут вдоль военных дорог. Говорят, и по сей день там и сям на обочинах широких автострад или на полузабытых лесных тропинках можно встретить какой-нибудь клен опавший с Георгиевскими крестами на ветвях, или вечнозеленую елку с орденом Славы, а то и рябину со Святым Станиславом трех степеней. Известен случай, как где-то на берегу Дуная местные крестьяне заприметили иву плакучую, увенчанную орденом Почетного Легиона, и потом долго дивились такому чуду.

Надо признать, солдаты тоже были не промах: кто же не мечтал заслужить знаменитый орден Ферапонтова трех степеней тяжести для посмертных награждений?..

А еще очень нравилось Полковнику Ферапонтову носить погоны. Каких он только не имел в своем гардеробе — и шитые золотой нитью, и серебряной. И круглые, и овальные, и прямоугольные — большие и маленькие. Бывало, встанет у зеркала и пожурит сам себя: “Носить мне — не переносить!”

Единственное, чего он не переносил, так это цивилизных, которые по тылам прячутся, шибко умными прикидываются и вредный пацифизм разводят. Он принципиально не играл с ними ни в серсо, ни “в Чапаева”, ни в фантики, ни в испорченный телефон, ни в городки, не говоря уж о *pala-maglio*¹. Обидно, господа!.. Но такова жизнь и такова история.

Как известно, Замок оказал на великого полководца самое благотворное влияние: он перестал сквернословить, после чего в нем пробудился литературный талант. А начал Генералиссимус свою писательскую деятельность с небольшого, но сразу ставшего раритетом, сборника коротких и поучительных рапортов на свое имя, вышедших в свет под названием “Разрешите доложить!” Затем была обнародована лирическая поэма-приказ “Лечь! Встать!”, в которой автор вскрыл и вдохновенно воспел истинную философию императива.

Спустя несколько лет, заполненных ратными трудами и подвигами, Полковник Ферапонтов снова вернулся к жанру рапорта, но уже на новом, более зрелом уровне. А толчком к этому послужили его длительные воздушные маневры близ Аэрогенной зоны Замка. Так появился многотомный эпический роман-рапорт “Взятие Феклы с воздуха”.

Известность Генералиссимуса, как полководца и писателя, к тому времени была уже столь велика, что без его участия, как правило, не обходилось ни одно историческое издание на военную тематику — он являлся либо соавтором, либо редактором, либо консультантом, но никогда — читателем. Не случайно, работая над своим переводом сочинений Прокопия (а именно: “Войны с персами, вандалами, готами”), г-н Дестунис в качестве военного консультанта пригласил Полковника Ферапонтова, который хорошо знал их всех лично, да и на самого Прокопия оказал немалое влияние. А живописцу Якобу-Асмусу Карстенсу Генералиссимус помог в создании больших полотен “Битва при

¹ *Pala-maglio* (*итал.*) — название старинной игры в шары, введенной в Англии Карлом II.

Росбахе” и “Битва центавров с лапифами”, подробно описав художнику внешние приметы действующих лиц, поскольку сам был участником тех памятных событий. Воистину, сколь многие авторы обязаны своей славой Полковнику Ферапонтову, но даже не догадываются о том, ибо обычно любит он приходить и консультировать во сне, не слишком заботясь о славе и авторских правах. Истина дороже.

Следующим этапом стало создание оперного либретто, на которое известными композиторами братьями Виаграми была написана опера “Яйцо Небылинга”. А все началось во время знаменитой прогулки по Саду Придуманных Птиц и Цветов, для которого Генералиссимус придумал цветок окопник и птицу-связиста. Прогуливаясь по Саду с братьями Виаграми, Полковник Ферапонтов высказал ряд тонких замечаний об истории Панических войн, после чего, придя в сильное творческое замешательство, а затем возбуждение, братья Виагры заперлись в своей комнате, подальше от забав престонородя, которое постоянно докучало им своими драками, скрипками, чехардой, кеглями и невыносимыми криками — в переводе Пастернака. Таким образом, пребывая в чести и пользе, они в два притопа и три прихлопа сочинили своего “Небылинга”. Спектакль был просто обречен на грандиозный успех, тем более что оркестром управлял сам маэстро Скарлатини, а в финале на сцену вносили огромное золотое яйцо, которое сам Полковник Ферапонтов разрубал трехручным мечом, и из него выскаквали братья Виагры, и тогда уже все вместе раскланивались! Потрясенный послепремьерным фуршетом, маэстро Скарлатини во всеуслышание поклялся, что за три дня напишет в его честь симфоническую оперу “Ясная поляна” в пятидесяти частях, то есть по количеству поданных блюд и напитков...»

«...В настоящее время, — пишет далее барон фон Шпицрутен, — ведя затяжные боевые действия в секторе астении, Полковник Ферапонтов попутно заканчивает мемуарную тетралогию под общим названием “Война и мы”, в которую вошли книги “На войне как на г...не”, “Блеск и нищета партизанок”, “В бой идут одни парики” и “Хочешь войны — готовься к миру”. И, надо сказать, никто и никогда еще о войне не писал так честно и проникновенно. Читателя пробирает до костей, и после каждой прочитанной страницы автор лично наливает ему фронтовые сто грамм, так что к концу тетралогии...»

Обещанное сражение разгорелось возле Орехового Стола имени библиотекаря Борхеса. Продовольственный обоз вынужден был спешиться, и пока Полковник Ферапонтов атаковал и одновременно защищался, сопровождающие разбрелись кто куда, на перекур, а комнатных слонов распрягли, и они теперь мирно слонялись туда-сюда вместе со своими женами-заслонками.

Благоразумно решив не вмешиваться и предоставить славному Генералиссимусу проявлять чудеса массового героизма, г-н Архивариус, Янка и г-н Филин снова сели в Фургон и с Вялым Горбуном во главе под страшный грохот орудий продолжили путешествие.

VII

НЕСМЕТНЫЕ СТИХОПЛЕТЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ БАТАЛИИ

Ехали молча, каждый думал о своем. Вялый Горбун, быстро перебирая кривыми ножками по Ковровому Тракту и утирая слезы, думал о том, что если бы не г-н Архивариус, то экспедиция давно заблудилась бы в хоромах и кулуарах Замка, и тогда даже ему, многоопытному вездеходу и всепроходимцу, ничего не удалось бы сделать. Г-н Архивариус, в свой черед, думал о том, что, конечно, г-н Филин непоседлив и рассеян, а также упрям, обидчив, хитер, ворчлив и занудлив, одним словом, совершенно невыносим, все же без его манжет г-ну Архивариусу никогда не написать давно задуманное «Жизнеописание Замка». А г-н Филин думал о том, что если бы Янка была птицей, а сам он не был уже женат, он наверняка бы на ней женился — ведь она такая красивая и такая милая!.. Ну а Янка думала о том, что за все время их долгого пути Вялый Горбун, должно быть, ужасно устал. Ей очень хотелось его пожалеть, ведь он такой вялый, такой чувствительный! Но она боялась, что он проплачет целый день и у него будет обезвоживание организма.

До краев наполненный этим лирическим отступлением, Фургон незаметно въехал в толпу несметных стихоплетов. Одни из них яростно жестикулировали, другие взмахивали руками, словно бабочки крылышками, третьи раскланивались и расшаркивались, наступая друг другу на вьющиеся по полу усы и насыщая воздух

облаками пышных шевелюр и бород. То выкатывая, то закатывая очи и стараясь перебить один другого, они шептали велеречивые импровизации и отпускали их на волю, в подлунное пространство, с потолков которого, как лианы, свисали ажурные тужуры. Там, в серебре воздуха, порхали мусические девы, их бигуди нежно позванивали в волосах, и на устах их сверкала хрусталь поцелуев. Соприкоснувшись с возносящимися к ним импровизациями, девы восхищенно вздыхали и растворялись вместе с шепотом, но оставались их поцелуи, которые хрустальным дождем сыпались вниз, на покрытые лаврами и терниями головы несметных стихоплетов. Иные, вылезая на головы тесно толпящихся соседей, пытались ловить этот сверкающий дождь в подставленные шляпы, в ящички от письменных столов, в премиальные мешочки или просто в футляры для очков. Путникам, Фургон которых безнадежно застрял в толпе, хорошо была слышна поцелуйная барабанщина на его крыше.

— Похоже, это никогда кончится, — посетовал г-н Архивариус, наблюдая из окна за поэтическим столпотворением.

А г-н Филин, прикрыв голову крылом спросил:

— Как вы думаете, наш Фургон выдержит все эти поцелуи?

— Трудно сказать, дражайший коллега. Его еще никогда так не целовали.

К счастью, повеяло холодноватым северо-западным авангардистским сквозняком, и импровизационный шепот вместе с хрустальными поцелуями сдуло куда-то к юго-востоку. В толпу врезалась немногочисленная, но крикливая гурьба *экверлибристов*. Эти мблодцы хватали всех без разбора за косматый синтаксис, с корнем вырывали запятые и точки и делали друг другу для храбрости прививки от силлаботонизма, а результаты прививок в виде задушевно-философских *экверлибров* записывали в тисненые томики. Им в отместку некоторые недобитые академисты с помощью *эклогорифмической* линейки слагали венки советов, из множества которых особо восхитительным получился «Совет по уходу за птичьими, лестничными и грудными клетками».

И вообще, стихоплетство здесь не прекращалось ни на миг, да и как оно могло прекратиться, если каждый второй стихоплет был лауреатом или соискателем и неизлечимо болел рифматизмом в последней стадии. А как скромно и, в то же время, с каким достоинством хаживали и сиживали они в своих праздничных го-

норарках на голое тело, бубня и речитативя что-то себе под нос и изредка встряхивая головами и разводя руками! Сильнее всех тряс головой и шире всех разводил руками пожизненный поэтапус Мульдадули. Этакая почесывающаяся простота с упитанным хореем и светлой лысиной на голове, он по-дружески, словно хлопывая по плечу, декламировал обожавшим его стихоплетам плоды своего рифматизма, и спазматические плоды эти плодились, пускали корни и становились могучими корнеплодами, после чего уже на века консервировались в аплодисментах дальновидных тепёрьков для благодарных потомков. На грубых пропляков, не способных оценить истинное стихоплетство, как это водится, всем было начхать.

— Ну, а сейчас — последний мой поэтический экспромтовар, извините-подвиньтесь! — совсем по-домашнему, без церемоний, объявил поэтапус Мульдадули, чем поверг неизвестную даму в маске Беатриче в червовое ожидание:

Стихи хихи
стихисти стигстихи
хисти стихия
стихи я пишу!

Отовсюду раздавались сгущенные хлопки и узорные возгласы восхищения. И только двое подозрительных архетипов сальерической внешности угрюмо помалкивали, прижимая к груди свои несгораемые сейфы с драгоценным пеплом.

— Извините, пожалуйста, а вы случайно не знакомы с Гениальным Кондратием? — без всякой задней мысли спросила поэтапуса Мульдадули Янка.

— Что?! Как вы сказали, сударыня? — насупился тот. — Знаком ли я с Конуальным Гонотатием?

Тут Янка поняла, что задела творческое самолюбие пожизненного поэтапуса. Мысленно она уже ругала себя за необдуманность и поспешность, недопустимые в общении с людьми глубоко ранимыми, каковыми являются все великие творцы: в самом деле, нельзя же вот так прямолинейно, такому человеку!

— Постойте, постойте! — будто бы мучительно напрягая память, простонал Мульдадули. — Кажется, что-то смутно вырисовывается... Такое невзрачное, непрезентабельное... Как вы *это* называете? Кондратувиальный Гуманадий?..

Очень вовремя на выручку пришел г-н Архивариус. Он снял с головы свой ученый колпак и, почтительно поклонившись поэтапусу, воскликнул:

— О, если бы вы только знали, в каком мы восторге от вашей рифметики, дорогой господин Мульдадули! Готов поклясться, вы величайший из стихоплетов и гениальнейший из рифмоедов, когда-либо вызревавших в утробе нашего Замка!

Даже не взглянув на г-на Архивариуса, поэтапус Мульдадули сунул ему в руки новенький, еще пахнущий типографской краской, Стихийник с заранее заготовленным автографом:

— Берите, берите! Не стесняйтесь! У меня их пруд пруди.

С благоговением приняв подарок, г-н Архивариус робко поинтересовался, не смог ли бы нетленный поэтапус сплести на прощание еще хотя бы один экспромтовар.

— Отчего же нет? Очень даже мог бы! Только прошу полной тишины и всеобщего почтения. Так как мне необходимо на чем-нибудь сосредоточиться, извините-подвиньтесь!..

Как бы высвобождая поэтическое пространство, поклонники подвинулись и — оцепенели. Стихотворящий взгляд поэтапуса Мульдадули остановился почему-то на г-не Филине, который, по видимому, став предметом сосредоточения знаменитого стихоплета, замер между любопытством и ужасом. А тут еще все тот же подозрительный архетип сальерической внешности сильно нервничал: он молча косился на свои нескораемые сейфы с драгоценным пеплом. Так прошло несколько минут, в течение которых неизвестная дама сменила маску Беатриче на маску Лауры, а червовое ожидание на трэфовый интерес.

Но вот чудо поэзии свершилось! Голос Мульдадули звучал мягко, вкрадчиво, рассеиваясь в тишине, словно морозящий туман:

Фифи лин лин
линфи лин фифи
филинфи лин
линфили нлин
фифилин фи
цзинши¹ ...

¹ Цзинши — высокая ученая степень в Древнем Китае.

— О, какой поэтический ци-гун! Настоящая китайская грамота! — восклицал г-н Архивариус, с тревогой поглядывая на своего ученого секретаря.

— Ну, разумеется, извините-подвиньтесь! — сразу согласился Мульдадули. — В молочном возрасте я много переводил древних китайцев. Например, Ли Бо, Ду Фу... Более того, из этих двух китайцев мне удалось извлечь четырех.

— То есть как?

— Элементарно! Фу Ли и Ду Бо, извините-подвиньтесь, не чуть не хуже, чем Ли Бо и Ду Фу, уверяю вас. Разницы никакой! Хотя родители мои и ставили мне условие: либо Ду, либо Фу, иначе они от меня отрекутся.

— Какой ужас! — воскликнула Янка.

— Такова поэтическая жизнь правды, сударыня.

— Извините, — пододвинулась Янка поближе к источнику поэзии, — а не знакомы ли вы случайно с отцом Вдоха и Выдоха, старым По?

От такой бесцеремонности у Мульдадули даже захватило дух, он вытаращил глаза и уже разинул рот, но тут неожиданно в разговор впорхнул г-н Филин, который успел прилежно заспектировать на манжетах как первый, так и второй экспромтовары поэтапуса и, очевидно, открыл в себе нечто такое, о чем раньше даже и помыслить не мог и в чем теперь уже не сомневался:

— Угу, разрешите и мне прочитать скромный экспромтоварец, получите-распишитесь! Угу?..

Все с большим интересом воззрились на ученого секретаря. Г-н Филин взмахнул крылами и продекламировал следующий опус:

Мульдамульда дулидули
дамуль дули
мульдада
дули мульмуль
муль дульдули
дададули мудада
мули мули
гули гули
угу да угу
больше не могу!

В тот момент, когда пожизненного поэтапуса Мульдадули уносили на носилках на заслуженный отдых, а неизвестная дама, ступая по увядшим лотосам, обмахивала его бледное лицо маской красавицы Мэй Си, в поэтический круг ворвался еще один бессмертный лауреат: грузный и академичный, он передвигался уверенным пятистопным ямбом. В одно мгновение заполнив осиротевшее без Мульдадули пространство своими пышными телодвижениями и героическими позами, он освободил его от боязни пустоты.

— Почтенная публика! — воскликнул он, воздев огромные руки над своей лохматой головой. — Я только что победил в Последнем Состязании несметных стихоплетов и весь еще киплю от возбуждения!

— Примите наши искренние поздравления, — сказал г-н Архивариус.

— Я раздавил их как букашек массой своего стиха!..

— Вы хотели сказать мощью? — осмелился поправить бахвала г-н Архивариус.

— Я смёл их как пыль, как прах, как пух, как... что там еще...

— Позвольте, уважаемый, но если стихоплеты несметные, как же их можно смести?

— О-о-о! — взревел победитель и чуть не захлебнулся от гордости за содеянное. — Это нужно было видеть! Стоило мне огласить мою мощную «Криптооду», как все они скопом превратились в ислевшие мощи, в перегной, в сухмень. И тогда я взял метлу, огромную как хвост кометы, и... Но что я вижу? В ваших глазах читается трусливое недоверие!

— Право, не знаю, что и сказать, — неуверенно промямлил г-н Архивариус. — После Гениального Кондратия и Мульдадули...

— Стыдитесь! — прервал его бессмертный лауреат. В конце концов, что вас больше интересует: культ мощей или культ личности? — он выжидающе затопал ножкой. — Смотрите у меня, а то в другой раз я не потерплю.

— Сразу видно, вы большой стихоплет, — сказала Янка, стараясь спасти ситуацию. — Стихоплет сметающий.

— Говоря по правде, сударыня, я — стихозавр. Разрешите представиться: стихозавр Громогор.

— Очень приятно, — Янка сделала легкий реверанс. — Вы позволите задать вам один вопрос?

— Задавайте, — снисходительно позволил стихозавр.

— Кажется, вы сказали, что состязание несметных стихоплетов было последним?

— Естественно, последним! Каким же ему еще быть, ежели состязаться больше не с кем? Я же их всех смёл...

— И что теперь с ними будет?

— С мощами, что ли? Ну, пусть займутся чем-нибудь другим, — например, строительством рукотворных памятников, гробниц, мавзолеев. А стихоплетство для них умерло навеки!

— Ах, должно быть, вы ужасно одиноки, господин стихозавр.

— Это правда, — смягчился Громогор. — Вот вас тут много, а я совсем один. И куда ни плюнь — последний.

— Угу! — и подобравшись к самому уху Янки, г-н Филин с горячностью зашептал: — Вот бы сюда сейчас Котомыша Лаврентия Печерского! К этой мании величия он быстро прибавил бы еще и манию преследования!..

— Я последний, кто взойдет и кто снизойдет! Я последний, кто вразумит и кто вразумится! Я последний, кто утвердит и кто опровергнет...

— Вы знаете, — перебил стихозавра г-н Архивариус, которому его бахвальство уже порядком надоело, — у нас тут только что уже состоялось одно поэтическое состязание.

— Угу, — подхватил г-н Филин и скорбно посмотрел в том направлении, куда унесли носилки с поэтапусом Мульдадули. — И тоже имеются жертвы.

Громогор презрительно взмахнул густыми волосами:

— Ха! Мульдадули — слабак, кто же этого не знает! Плешив, а потому быстро перегревается. Ну, да что уж там, послушайте-ка лучше мою победоносную «Криптооду». Закачаетесь! Имеющий уши да захлопает ими!..

И обеда величественным взором приунывшую толпу, стихозавр Громогор извергнул из себя свой бессмертный шедевр:

КРИПТООДА

Агапэ! Tu est дебора,
Гэвьон ирена и анна
Идунн эрифия роза.
Je suis алкиона диктинна —
Анна перенна
Chante хэ сянь гаятри
Et эа приносит с бригитта

Надежду.
О гаури, ўма иннин,
Амата гу, бритомартис de qui
Маргарита! —
Анфея хлоя, гештинанна
И адрастея вика пота любви!¹

Хлопанье ушами было бурным и продолжительным. Никто не мог остановиться — уши хлопали и хлопали сами по себе. Присутствующие всячески пытались их остановить, но безуспешно, а какой-то умник из толпы охарактеризовал происходящее как «самопроизвольное движение слуховых органов».

— Вы хоть что-нибудь поняли, княгинюшка? — спросил г-н Архивариус, снимая с головы ученый колпак, который чинил помехи этому «самопроизвольному движению».

— Должно быть, это каким-то образом связано с чувствами автора, — предположила Янка неуверенно, уши ее покраснелись и заметно увеличались.

— Угу! — воскликнул г-н Филин. — Вы только посмотрите на Вялого Горбуна!

Бедняга безмятежно похрапывал на козлах Фургона, даже не подозревая, что уши его двигаются, правда, совсем вяло, — будто плавники выброшенной на мелководье рыбы.

— Вы, коллега, смотрите не лучше! — охладил ученого секретаря г-н Архивариус, от глаз которого не укрылось резвое шевеление над его перистой головой.

Но еще необычней выглядело поведение Фургона: его дверцы хлопали, издавая при этом жалобные скрипы. На несколько мгновений друзей охватила настоящая паника: казалось, это безобразиие, порожденное встречей с настоящим поэтическим искусством, никогда не прекратится, и они так и будут хлопать ушами до скончания времен! В довершение всему, сверху на головы почтенной публики посыпались уже целые объятия: дружеские, любовные, нежные, но причиняющие массу неудобств.

¹ Стихотворение сложено из женских имен разных народов и эпох: «Любовь! Ты пчела // Дающая мир и благодать. // А я — зимородок, угодивший в сеть, // Вечно длящийся год // Пою бессмертную песнь, // И предрасветный ветерок приносит с вершин // Надежду. // О белая, светлая владычица небес, // Душевная дева, чье целомудрие // Жемчужина! — // Цветущая зелень, виноградная лоза небес // И неизбежная победа любви!» — *Примечание и предисловие к переводу Издателя.*

Собравшись с силами и растолкав Вялого Горбуна, путники, не мешкая более, вскочили в Фургон и покатались вперед по затоптанному и зацелованному до неузнаваемости Ковровому Тракту, продираясь сквозь пыльные объятия и холодные хрустальные поцелуи, сквозь толпы несметных стихоплетов, сквозь их бесконечное стихоплетство, сквозь облака бород, сквозь вздохи и речитативы, сквозь стихари, стихии и рифмоедство — куда-нибудь подалее, где, может быть, еще осталось хоть чуть-чуть прозы и простоты...

КНИГА ГОРОДА

КОРБЮЗЬЕВИЧ БЕЗРУННЫЙ

I

...В тот год саламандры покидали город. Они уходили древними подземными галереями, озаряя их сочащиеся сыростью своды пламенистыми сполохами и обращая в паническое бегство крыс и кожанов. Они уходили тайными путями, проторенными в незапамятные времена эльфами. Правда, в отличие от эльфов, которые уплывали на своих крылатых кораблях вверх по течению Подземного Днепра, саламандры держались подальше от его темных и глубоких вод.

И вот теперь, с уходом саламандр, над городом больше не сверкали молнии, — лишь отдаленное эхо грома иногда вяло докатывалось из грозового неба. Автомобили заводились в лучшем случае с десятого раза. Спички — и те не желали зажигаться, сколько ни чиркай о коробок, — только дымились и шипели. Горелки кухонных газовых плит в домах горожан чадили ужасно, и огонь их был холоден как лед. И все свечи, и керосиновые лампы, и зажигалки чуть ли не в один день пропали с магазинных прилавков, их невозможно было найти даже на роскошных барахолках Сенного и Житнего рынков!..

По вечерам люди предпочитали сидеть дома, а ночью за окнами ползли густые туманы и в их липкой мороси бродили какие-то подозрительные серые дряхлецы, — невесть откуда взявшиеся. Называли их по-разному: тученосцами, цветокрадами, пеплотворцами, огнеедами... Но как бы ни называли их, все они отличались сморщенной изюмностью лица, водянистым взглядом, и от их лохмотьев несло болотом и гнилой рыбой. Завидев такого дряхлеца, бездомные собаки, поджав хвосты, улепетывали во все лопатки прочь. Один слепой дед, переживший в свое время массовое нашествие быдляков-изуверов и кровожадных узурпанов, а теперь просивший милостыню на Андреевском спуске, не уставал повторять гнусавой скороговоркой: «Свято место пусто не бывает!

Свято место пусто не бывает!..», но проходящие мимо горожане даже не догадывались об истинном смысле его слов, полагая, очевидно, что под «святым местом» он подразумевает свою протянутую для подаяния руку. Только бездомные собаки понимали, что дед говорит о зловещих дряхлецах, пришедших на смену благородным саламандрам.

Горожане упрямо делали вид, что все эти странные перемены их нисколько не волнуют. Жить своей обычной жизнью было уже совершенно невозможно, а если докапываться до истинных причин столь разительных изменений, думали они, жить стало бы еще хуже. Поэтому никто и не желал ничего знать ни об эльфах, которые ушли из города так давно, что о них почти ничего не было известно даже самым древним старикам, ни о саламандрах, которых и вовсе никто в упор не замечал, хотя те всегда жили рядом. Говорили о чем угодно — об «энергетическом кризисе», о «дефиците», о «временных трудностях», — но только не об огнистых саламандрах. Впрочем, все это были более или менее удачные эвфемизмы, которые Городская Администрация через средства массовой информации и с помощью неприметных людей Укром Укромыча из Серого Терема ежедневно впрыскивала в сознание горожан.

Потревоженные неожиданным исходом саламандр, крысы и кожаны оставляли подземные лабиринты и массово переселялись на чердаки и в подвалы жилых домов, затаив лютую злобу и ненависть...

II

...Это было совсем иное, никогда раньше не испытываемое им одиночество. И было оно не врожденным, как у всякого человека, то есть полученным в дар от земли вместе с телесной оболоченностью, вместе с ограниченностью временем и пространством, а обретенным, если можно так выразиться. Щедрый дар утраты.

Как узник, который все еще надеется на амнистию или чудесную милость Свыше, художник Корбюзьевич считал дни, прожитые без Руны, и спрашивал себя: ну почему так мучительно больно он живет? Почему не может жить как-то иначе — легко и необременительно, как те же сотни раз на полотнах запечатленные им цветы? Живут и не морочат себя тем, сколь они прекрас-

ны, ибо они и есть красота и аромат в чистом виде, в своем самом естественном проявлении. Не отягощенные дурными поступками, муками совести, посланцы Рая, они не ведают утрат любви — возможно, оттого, что сами и есть воплощенная Любовь.

Роза — благоуханная родина Лахими...

Он больше не писал картин. Прежние вызывали отвращение, смешанное со страхом, какое вызывают обычно мертвецы. Все холсты он развернул красками к стене, как бы проводя границу между дивными снами и горькой явью, которой он теперь хотел насытиться до предела. Но граница эта, между сном и явью, оказалась чистой условностью. Пытаясь перехитрить самого себя, художник Корбюзьевич украдкой возвращался мыслями в ту злополучную ночь, когда он в последний раз видел свою возлюбленную, и спрашивал себя: уж не приснились ли ему и академик Свампиус со своей свитой, и даже сама Руна, и их любовь? Слишком невероятным представлялось все это теперь, спустя столько солнечных, полных реальными очертаниями дней. Однако рука, которой он пытался исправить испорченную Свампиусом картину Руны, по-прежнему ныла на смену погоды, и спина, после того как к ней приложилась своей гудящей штуквиной синеватая тетка, тоже побаливала... Все чаще вспоминались давние слова его друга Классика: «Будь осторожен. Фантастические мысли нередко вызывают к жизни фантастические события. И либо ты овладеешь ими, либо они тобой...»

Его картины больше ничего не значили: искусно запечатленные на них свет, воздух и образы не в силах были заменить те, которыми когда-то жили и дышали влюбленные, они не могли вернуть утраченное. Как одинокую пирамиду посреди пустыни, как корабль, бурей выброшенный на необитаемый берег, Корбюзьевича заносило мертвым песком нелюбви. Но зато теперь-то он, как никогда раньше, знал, что был единственным на свете, кто любил Руну так, словно и нет этого мира со всеми его обстоятельствами, закономерностями, случайностями и даже фантазмагориями. Он любил ее поверх мира, поверх жизни и смерти, и от этого любовь его расцветала еще ярче над мертвыми песками ее нелюбви. Это было своего рода *инобытие*...

Снова и снова приходил он к ее дому — на углу Тарасовской и Саксаганского. Медленно, затаив дыхание, поднимался пешком

по лестнице. Долго звонил в дверь. Какие-то чужие люди в квартире. Все тот же тишайший зеленый двор за окном. По голым стенам гуляет сквозняк... «Сколько можно вам повторять? Она здесь больше не живет».

А где она живет? Где?..

Жгучий ветер подхватывал его и нес по городу, бросая из улицы в улицу, и глаза его повсюду выискивали Руну — ее светящуюся тонкую *линию*, ее нежный *цвет*. Он был уверен, что оба они ходят по одной земле, под одним небом, пьют одну воду и дышат одним воздухом... Но живут почему-то в разных мирах. Это было непостижимо, и смириться с этим он никак не мог.

Так надежда с отчаянием блуждают рука об руку, попеременно обгоняя друг друга.

Просыпаясь туманными утрами, он с грустью перебирал ее маленькие дары, оставленные ему в память о той или иной их встрече: высохший каштан, речная ракушка, засушенная роза, кусочек сиреневой пастели, которой она когда-то набросала на картоне его портрет... И снова бесплодные, тщетные поиски. От полной безысходности глаза его тускнели, лицо быстро старилось и словно наливалось тяжестью. С опущенным взором, нигде не останавливаясь, он брел и брел сквозь город, не чувствуя его каменной плоти. А город становился воплощением геометрии мёбиусовых пространств, так что иной раз, спускаясь по какой-нибудь круто вниз убегающей улице, художник Корбюзьевич мог легко оказаться на самой высокой его, овеваемой ветрами оконечности, и, наоборот, восходя вверх, вдруг обнаруживал себя где-нибудь в запыленных подольских низинах. Бывало, он и вовсе перемещался по городу вниз головой. День ото дня он становился тоньше, легче. Казалось, достаточно было слабого дуновения ветерка, чтобы улететь. Но, наверное, время еще не пришло, и он не улетал. А преданный фантастикум черного пса его тоски, что шествовал впереди, натягивая невидимый поводок, тащил и тащил за собой, увлекал все дальше, и дорога (или, в более узком смысле, очередная улица), по которой они следовали, никуда не вела.

В одну из самых темных и промозглых ночей, в какие обычно под погасшими фонарями таятся безглазые и безротые великаны с Труханова острова, которые похищают запоздалых путников и пожирают их своими задними проходами, в такую вот ночь ху-

дожнику Корбюзьевичу во сне явился сам Классик. От радости Корбюзьевич чуть не проснулся: никогда раньше Классик ему не снился — ни в бытность их дружбы, ни после его таинственного исчезновения; и несмотря на то, что во сне его звали Невермором, и одежда на нем была странная и излучала цветá потерянного времени, все же это точно был Классик... Плавно, не касаясь пола, вошел он в мастерскую художника Корбюзьевича, посмотрел на серые спины картин, которые томились у стен, будто провинившиеся дети, встал на табурет и сказал: «Не там ищешь. Не там ожидаешь. И не в том времени. Свет твоей мысли и глубина чувства в их единении — вот то пространство, где только и возможно существование твоей любви. Туда лежит твой путь». — «А что, если, — ответил на это художник Корбюзьевич жалобно, — что, если любимыми, как и любящими, рождаются, а не становятся?» Невермор-Классик спрыгнул с табурета. «Не уподобляйся карлику, которому на пять минут доверили подержать небо на своих плечах, а небо его расплющило», — сказал он и, уходя с табуретом под мышкой, добавил: «Береги свой дар. Он спасет тебя...»

Проснулся художник Корбюзьевич с таким чувством, будто вдохнул полной грудью, а выдохнуть не может.

Табурет был на месте.

III

Как-то раз в мастерскую на огонек зашел старый приятель — художник Худобед.

— У тебя сегодня день рождения! — уже с порога не то спросил, не то приказал он, внося большой холст в раме и ставя его посреди мастерской.

— Обычно я не праздную, — угрюмо ответил художник Корбюзьевич.

Известно, что художники, как правило, неохотно дарят друг другу свои произведения. А если и дарят, то те, которые признают, мягко говоря, не слишком удавшимися. Вот почему художник Корбюзьевич не очень-то обрадовался подарку и без всякого нетерпения следил за тем, как Худобед сдирает с холста оберточную бумагу.

И в самом деле, картина являла собой сунбур из сваленных в кучу блеклых фигур и, к тому же, выполненный довольно небрежно: всюду подтеки, незавершенности. Слово «авангард» прозвучало много раз, но произведение от этого не стало лучше.

Выпив значительную часть портвейна, принесенного с собой, и съев у Корбюзьевича недельный запас хлеба, художник Худобед ушел восвояси в самом праздничном настроении.

Оставшись один, Корбюзьевич с отвращением посмотрел на подарок. В искусстве он не выносил малейшей небрежности, да и к авангарду в принципе был совершенно равнодушен. Картина Худобеда его раздражала. Какого лешего она здесь торчит? Он уже предвидел, как она будет отравлять ему существование. И убрать как-то совестно, не говоря уж о том, чтобы выбросить — ведь подарок друга! — и оставить все как есть, невозможно.

Походив из угла в угол, Корбюзьевич остановился у коробок с красками. И тут его осенило!.. Для начала он убрал на картине Худобеда все подтеки. Затем углубил тени, высветлил объемы, выправил неточности и вообще существенно улучшил все, что было возможно.

Дня через три художник Худобед навестил его с приглашением на какую-то очередную домашнюю выставку-попойку.

— Это чья же работа такая? — спросил он, явно заинтригованный.

— Как чья? Твоя.

— Моя?.. Вот черт! А все-таки недурно, правда?

Видно было, как настроение у него испортилось: он уже пожалел, что подарил этому малохольному Корбюзьевичу такую первоклассную работу.

После этого случая художник Корбюзьевич вновь развернул все свои картины — изнанкой к стене. Неожиданно для себя в многообразных ликах Руны, в этой их множественности, он будто видел ее впервые, заново открывая ее чудесную красоту. Сам того не замечая, он снова и снова влюблялся в нее. А Руна, ничем не обнаруживая себя в мире дневном, переселилась в его сны — осязаемая, теплая, благоуханная. Она правила в его снах как царица. Она нежила, обнимала его, шептала ласковые слова, и он любил ее самозабвенно, и пробуждался от невыносимого блаженства. Наутро было чувство, будто он всю ночь целовался с розой, и ее таинственный аромат еще долго витал над разомлевающим его телом. «Может, это не Руна мне снится, а моя любовь к ней?» — думал художник Корбюзьевич...

В ответ ему снова приснился Классик, на этот раз под именем Форевей, и одет он был в цвета застывших солнечных лучей. «Всякий человек подобен цветку, — сказал он. — И даже ядови-

тый цветок послужит на пользу твоей душе, потому что и яд вра-
чует. Каждый день жизни не уставай благодарить Бога за то, что
одарил тебя любовью...»

Так художник Корбюзьевич снова начал работать. И пускай
золото и серебро осыпались с праздничной карусели города, об-
нажив его пыльно-серую будничность и ветхость его механизмов;
пускай, померкнув и стусившись, бирюза и жемчуг в его колори-
те утратили свою первозданную светоносность; пускай во всех но-
вых картинах, в особенности дневных пейзажах, почти незримо,
какой-то неуловимой тенью, присутствовала ночь — она все еще
жила в сердце художника; пускай неосознанно он искал в светлом
темное, как оправдание поселившейся в нем боли, — в страдании
своём он, быть может, впервые на жизненном пути обретал цель-
ность — изначальную и конечную. И потому его поражение было
столь великолепным... Как странно и удивительно! Его любовь в
бесконечной череде мгновений жизни, судьбы, казалось бы, уми-
рая навсегда, тут же вновь оживала и обновлялась. И вместе с нею
каждый миг в нем умирали и одновременно рождались мириады
частиц — незримых, неосязаемых, но из которых была соткана
вся его видимая и осязаемая телесность, — частиц, проникнутых
этой непостижимой, этой невыразимой любовью. Художник Кор-
бюзьевич был, если можно так выразиться, полон жизни и смер-
ти, что не иссякают ни на мгновение. Он и был самой жизнью, не-
сущей в себе дыхание смерти. И — смертью, несущей в себе дыха-
ние жизни. И, очевидно, это было именно то, что вочеловечивало
его в мироздание, понуждая мироздание трепетать от чувств... Он
был подобен горящей свече, о которой писал божественный Лео-
нардо: пламя ее питало самое себя.

Любовь подносит бабочку к огню — так очищается душа.

На исходе зимы ему приснился сон: они стоят посреди
хрупкого как стекло дня; долго смотрят друг на друга, словно
подернутые туманом, и не знают, что сказать. Что-то измени-
лось в ее облике: она заметно похудела, лицо осунулось. «Я час-
то вспоминаю тебя, — отвечает она на его немой вопрос. — Хо-
рошо, что есть этот город, и в нем — ты». Он улыбается куда-то
вдаль. В ее словах не чувствуется прежней любви, и звучат они
литературно. Просто ей надо было чем-то ответить на его мол-
чаливый вопрос. Спустя целую вечность они снова стоят вдвоем

на вершине Флоровской горы. И так же, как и раньше, сильные порывы ветра развевают их волосы и одежды. Они держатся за руки, как за свое прошлое, но сердце уже не замирает в предчувствии полета. Быстро карабкаются рваные клочья тумана по склонам горы, по мокрым крышам домов внизу, а они стоят неподвижно, и ветер выдувает из них какие-то случайные слова, — едва слетая с губ, слова эти тут же увядают, не успев достигнуть цели, которой больше нет, и нет в них прежнего аромата акации или смородины. «Почему ты не искал меня?» — «Я искал. И сейчас тебя ищу». — «Но я там больше не живу». — «Знаю. А я...» Не договорив, он крепко сжимает ее руку, подносит к губам. «Я слышу, — голос ее дрожит. — Слышу, как ты зовешь меня... Но сейчас не могу». Он отпускает ее руку: «Я не тороплю. Просто люблю тебя». Произнося это, он чувствует неимоверное облегчение. А она прижимается к нему, уткнувшись лицом в его расстегнутое пальто. И больше не нужно никаких слов. Рано или поздно он расколдует ее, отведет прочь все чары, охранит от всех чудовищ этого мира. И он будет любить ее всегда.

Однажды среди ночи художник Корбюзьевич пробудился от внезапного и сильного желания нарисовать эту приснившуюся ему встречу. Он взял большой лист бумаги, закрепил его на мольберте, перед ним поставил табурет, сел... Ночь выдалась необыкновенная — с далекими зарницами, словно в город возвращались саламандры. Она двигалась не как всегда — на запад, а вместе с ветром — с юга. Ее фантастический синий цвет проникал сквозь стены мастерской, окрашивая в голубое все вокруг — и лист бумаги на мольберте, и электрический свет лампочки, низко свисавшей с потолка, и глаза художника Корбюзьевича, и даже его на строение. Утлый кораблик мастерской едва удерживался на якоре, бесшумно текущая ночь омывала его со всех сторон, и только время чуть слышно звенело в воздухе. И далекие голоса ухалиц доносились откуда-то с притоков Днепра, с Русановского залива, предвещая весеннее тепло... Да, скоро весна! — вспомнил он. Куда, в какую пропасть все уносится, в какой пучине все тонет? Ни один цветок, если высушить его, не сохранит свой первоначальный колер. Ни один сладостный аромат не живет вечно во всей своей полноте, силе и определенности; меняясь, он сначала становится своей отвратительной противоположностью, а затем и вовсе исчезает. Разве не то же происходит и с человеком, если благоухающая любовь его становится смердящей ненавистью? Но

откуда и сладостное благоухание, и дивный цвет, — откуда исходит вся эта полнота жизни в ее осязаемости? Не оттуда ли, откуда и сам человек исходит?..

Художник Корбюзьевич услышал мерный ход секундной стрелки за спиной. До весны оставались считанные часы. Руна, наверное, спит. Он вздохнул. «Спи... я думаю о тебе. Очень тихо думаю, чтобы не потревожить твой сон. Ты устала, я знаю. Свернулась по-детски, калачиком, и спишь, — я вижу».

Он не стал рисовать. Сейчас это казалось бессмысленным. Набросив пальто и намотав на шею шарф, он вышел из мастерской прямо в синюю ночь, полную зарниц, и, лишь слегка приотворив за собой дверь, отправился навстречу весне...

IV

...Улыбка на устах художника Корбюзьевича вымученная, терпко-кислая, цвета мерзлого крыжовника. Он и сам не понимает, почему, вместо того чтобы наслаждаться буйством весны, он сидит здесь, на этой вечеринке в честь какой-то нудной арфистки с туго перебинтованной черепно-мозговой травмой и огромной арфой между ног. Хозяин дома Лямур Двердомский, или Фигус-Нефигус, как величают его все поэты, изрядно *виноватый от вина*, много суетится, «фикусничает», всех и каждого вокруг *обвиня* горячим глинтвейном. «Нет, все-таки как хорошо, что мы отделались от этого Пердюка с Рябеньким! — в который раз повторяет он, ставя на стол графин из черного граненного стекла. — И с ними этот ... с дурно пахнущей фамилией... Гавендо! Такой «нефигус»!» — «Полный «нефигус»!» — подхватывает нестройный хор. «Кому вина, господа? Пить нам — не перепить!» Все пьют вино. Один лишь Игнатий Иванов вина не пьет, а потягивает водку, бросая огненные взоры на калечную арфистку. Она ему не отвечает. Она сидит посреди просторной комнаты со своей арфой, как партизан с прялкой — голова в бинтах покачивается, пальчики колеблют струны, а струны колеблют лоно. Корбюзьевич приглядывается внимательнее... Так и есть: трансвестит напудренный! И почему Игнатий этого не видит? Может, предупредить его? «Мом и Ком руководят пирушкой!» — слышен распевный голос Старика Придумкина сквозь арфовое журчание и писклявые возгласы каких-то «летучих мышей» в женских одеяниях, которые звонко целуются с Гением Вишнеуевским и Сашей Мильем,

а те прямо в их розовые рты декламируют свои стихи. «А опусы-то несвежие!» — ухмыляется Старик Придумкин. «Летучим мышам» тут же подают бокалы с обжигающе-горячим глинтвейном — «для дезинфекции». «Женщины! — зовет Лазарь Флюидов, обращаясь почему-то к корректору Впетлину. — Женщины!..» Корректор Впетлин понимающе кивает головой. Он весь в зазубринах, словно меч старого крестоносца. Рука, будто покрытая древесной корой, медленно тянется к карману, из которого свисает шелковый носовой платок цвета савана. «А кефир есть?» — спрашивает корректор Впетлин. «Тебе белый или черный?» — спрашивает Лямур Двердомский. «Что ты хочешь этим сказать?» — в недоумении корректор Впетлин отступает на шаг назад. «Обычный или в шоколаде?» — снисходительно уточняет Лямур Двердомский. «Кефир в шоколаде?!» — «Какой кефир? Я тебе про зефир...» — «К черту кефир! Вина! Вина!» — раздаются возгласы. «Зефир! Борей!» — выпевает Старик Придумкин. «Женщины!..» — снова доносится вопль Флюидова. «Ну дайте же ему кто-нибудь женщину!» — «Женщины все закончились! — строго отсекает Гений Вишнуевский. — Раньше надо было!» — «Одна живет с твоим лучшим другом, — наконец прорывает Лазарь Флюидова, — другая подсылает к тебе врача, чтобы убедить тебя и всех вокруг, что ты безумен!..» — «Ты зачем это покрасил свои слова в черное? — с обидой в голосе вопрошает Лямур Двердомский. — Так не честно. Черное и белое — это мой концепт. Тебе что, мало других цветов?» — «Каких других? В мире осталось только два цвета: цвет портвейна и цвет докторской колбасы», — это, конечно, Старик Придумкин, он проталкивается к художнику Корбюзьевичу: «Может, Корбюзьевич дополнит нашу скудную палитру?» Но тут Гений Вишнуевский, оторвавшись от женского клюва, кричит: «А мне нравится цвет «поцелуй меня, милашка»! А? Что скажете, концептуалисты хреновы?» — «Фетишисты долбанные!» — в восторге подхватывает Саша Милый. «Вина! Вина!..» — «А что тут делает Седовласов?» — полупшепотом спрашивает художник Корбюзьевич Старика Придумкина, пока всем наливают глинтвейн — смолисто-черный при свете свечей. «Как это что делает? Ты же видишь, потеет от удовольствия. Между прочим, это он приволок сюда этого извращенца с арфой». — «Цвет лошадиного мяса», — задумчиво произносит художник Корбюзьевич, глядя на руки, скачущие по струнам. «Точно!» — Старик Придумкин в восхищении смотрит на него. «Цвет гибели мира», — откликается Игнатий Иванов, жестом показывая на смор-

кающегося в платок корректора Впетлина со стаканом кефира в свободной руке. «Вот скотина! Как можно сморкаться, когда золото музыки льется прямо с небес, оплодотворяя все вокруг?!» Старик Придумкин разводит руками: «Про кефир мы и вовсе молчим»... Художнику Корбюзьевичу как-то не по себе. Предупредить Иванова или оставить все как есть? «Они демоны! — не унижается Лазарь Флюидов. — Демоны! И совсем не случайно кошмары им снятся чаще, нежели нам, мужчинам!..» Чмок-чмок!.. Дринь-бринь! — звучит в ответ. «Эй, Вишнуевский! Беги, беги от их любви, как бежал Иосиф Прекрасный! Спасайся! Оставь им свою одежду, а себе покой душевный!» — «Ага, а в чем я домой пойду?..» — отвечает Гений Вишнуевский сквозь обильное чмокание, и «летучая мышь» накрывает его своими крылами. Чмок-чмок... И снова: «Вина! Вина!» — «Водки-и-и-и!» — рычит Иванов как раненый зверь. Лицо его блекнет. «Цвет влюбленной жабы», — отмечает Старик Придумкин, щелкая пальцами. «Послушай, — наклоняется к нему Корбюзьевич. — Не могу поверить, что Иванов многоженец. Он же православный!». — «Да, у него две жены, на каждой из которых он не вполне женат. А ты что, разве не видел их?» — «Красивые?» — «Очень. И похожи друг на друга как две капли вина, только разного. Одна — мальвазия, другая — феригуле. Иванов рядом с ними — этиловый спирт, что, в общем, тоже неплохо...» — «Еще вина!.. Еще водки!..» — «А правда, что Флюидова бросила любимая женщина?» — «Не знаю. Никто из нас никогда ее не видел». — «А тебя когда-нибудь бросала любимая женщина?» — «Возлюбленная, — поправляет Старик Придумкин. — Любимыми бывают галстуки, книги и напитки». — «Так бросала?» — «А как же!» — «Ну и?..» Старик Придумкин поглаживает бороду, шурясь в далекое прошлое. «Ну что тебе сказать, дотошный искатель истины? Это была смертельная любовь. Я чувствовал себя эдаким стареющим сочинителем комедий масок, которого покинула его прекрасная примадонна, для которой, собственно, сочинитель и корячился, из кожи вон вылезая, чтобы обеспечить ей триумф, какого не знала еще ни одна сцена. Но, несмотря на весь его талант и нечеловеческие страдания, она неожиданно переменилась к нему, и все после того, как отведала тайком колдовских конфет Гратароля, которые еще известны под названием *diablotins de Naple*¹». Корбюзьевича бросает в жар. Он

¹ «Неаполитанские дьявольские конфеты» (*франц.*) — карнавальные хлопучки.

снова видит академика Свампиуса... Черная клешня со страшным скрипом медленно тянется к огромной красочной коробке, долго роется в ней... цепляет конфету-хлопушку... Подхватив, протягивает ее кукле, похожей на Руну... и та съедает ее. И — бах!.. Проклятая конфета взрывается у нее внутри! Прочь, кошмар! Прочь! С ужасом художник Корбюзьевич смотрит на Старика Придумкина: «И что же было потом?» — «Хм, потом... Можно сказать словами принца Дженнaro: ни умереть нельзя мне, ни бежать. Одно осталось средство». — «Какое?» — и художник Корбюзьевич медленно поднимается со стула. Старик Придумкин тоже, как за гипнотизированный, поднимается со стула: «Послушай, ты Стендаля прочитал, как я тебе советовал?» — «Нет». — «Ну, ты безумец!..»

Звуки арфы смолкают. Аплодисменты, восторженные возгласы... Кланяется почему-то маститый Седовласов. Может быть потому, что на нем шикарный костюм-тройка цвета молодой зимы. Опять все требуют вина. Иванов требует слова. Его качает. В руке пламенеет рюмка водки. «Тихо! Тихо!..» — «Если бы Заратустра...» — Так начинает Игнатий Иванов. «Летучие мыши» сразу замолкают. «Если бы Заратустра, — продолжает Иванов, — единственный из людей, кто, едва родившись на свет, уже смеялся, если бы он спустился сегодня со своих заоблачных горных вершин — о, ему было бы не до смеха! Он бы скорбел. Да и всем нам сегодня гораздо легче вообразить мудреца скорбящим, нежели смеющимся. Ибо мир состарился». — «Нефикус, — слышен голос Лямура Двердомского. — Стареть нам — не перестареть!..» Иванов опрокидывает в себя пламя из рюмки и тут же наполняет ее новым. «Но какова она, эта старость? Мы видим не убеленного сединой благородного Короля-Рыбака, хранителя Святого Грааля, и — не ветхого днями отца, с любовью наставляющего своего сына. Нет!» Иванов повторяет процедуру с глотанием и наполнением. «А вот это — полнейший “фикус!”» — восхищенно выдыхает Лямур Двердомский и, набрав полные легкие воздуха, принимается надувать матрас, чтобы традиционно, лежа — со сложенными на груди руками, — отдаться наслаждению красотой слова. «Перед нами дряхлый самодур, — продолжает оратор, — злой и тупой скопидом с ужимками лжеца и повадками старого развратника, растлителя детей и содомита, которого, еще немного, и, как следствие всей его несправедливой жизни, хватит удар. Таков этот мир. И он нам не отец, но отчим, которому мы, его пасынки, всегда в тягость. Что ж, мы платим ему той же монетой — смертью и

тленом. А души наши умирают раньше наших тел...» — «Какой все-таки “нефикус”!» — Лямур Двердомский уже возлежит на своем черном надувном матрасе. Многие ждут, что он сейчас скажет что-нибудь вроде: «Умирать нам — не переумирать!» Но Лямур Двердомский загадочно молчит. Лицо его напряжено. Очевидно, он подумал о том же, и успел вовремя остановиться. Рука корректора Впетлина нервно мнет платок. «Но разве не мы сами возжелали этот мир? — уже почти криком кричит Игнатий Иванов. — Не своей ли волей оставили отца и прибились к отчиму?.. Дайте же водки, в конце концов!» Пока Иванову нацеживают из графина, напуганные «летучие мыши» переводят дух, прижимаются к своим кавалерам, даже не подозревая, что главные страхи еще впереди: когда их кавалеры наберут необходимый градус и начнут свои *tours de Villon*¹. Старик Придумкин называл это *чересчурствизмом*. «И вот теперь мы мечтаем вернуться. Мы хотим вернуться, дабы испросить прощения. Получим ли?.. Только отец никогда в нас не умирает...» — «Аминь!» — заключает Старик Придумкин. Снова звенят бокалы, проливается глинтвейн, переливаются звуки арфы... Непокойно на душе у художника Корбюзьевича: какие-то недобрые предчувствия шевелятся в нем. Чтобы отвлечься, он изучает тени. Тень Седовласова похожа на ссутулившегося Мефистофеля — крючковатый нос, борода острая. Тень поворачивается туда-сюда, исчезает, снова появляется. Разрастаясь, Мефистофель накрывает собой всю стену и даже часть потолка... А вот у корректора Впетлина тени вообще нет! Господи, куда же подевалась тень Впетлина?.. Одна из «летучих мышей», с искусственными янтарями в маленьких ушках, кокетливо поминает Ремарка и требует плеснуть ей в бокал водки. «Дорогая моя, за потерянное поколение пьют ром!» — заверяет Гений Вишнуевский. «А мы круче! — подхватывает Саша Милый, на глазах его традиционные слезы. — Мы — похеренное поколение!» — «Тогда — одеколон!» Какой-то никому здесь неизвестный, в костюме и при галстукe, гость поет под арфу. Очень фальшиво и очень старательно. Поет и все не может остановиться, как тот сверчок, рискующий погибнуть от голода или в клюве какой-нибудь птицы. «Вечно-поющий бухгалтер! — почему-то подумал Корбюзьевич. — Петь ему — не перепеть...»

¹ Выходки в духе Вийона (*франц.*).

...Художник Корбюзьевич покинул вечеринку, так и не дождавшись кульминации, когда под бречание трансвеститовой арфы и заунывное пение неизвестного гостя на большом блюде для дичи внесли голого Геня Вишнуевского со страусиным пером в зад. А перо, надо сказать, было выдрано из антикварного веера, купленного на Сенном рынке у какой-то дореволюционной баронессы. Игнатий Иванов тоже не дождался этого фееричного зрелища: он тяжело спал под столом, и сон его был цвета раскаленных углей.

Несмотря на позднее время, художнику Корбюзьевичу ужасно захотелось прямо сейчас, во что бы то ни стало, навестить Гермогенова, которого он уже «лет сто» не видел. Странно, почему он не сделал этого раньше? Ведь Гермогенов был его самым близким другом. И не только. Он был великим кудесником: стоило ему взять в руки валторну, или гусли, или любой другой инструмент — и все печали и терзания тут же куда-то исчезали... Скорее, скорее! — подстегивал себя художник Корбюзьевич, захлопывая за собой дверь и торопливо спускаясь по беломраморным ступеням лестницы. На прощанье он все же позволил себе некоторую вольность и порекомендовал Лямуру Двердомскому переокрасить в черный цвет мыло, зубную пасту и туалетную бумагу, поскольку до «чистой белизны» все эти вещи явно не дотягивают и в черно-белой концепции домашнего мироздания выглядят предательскими «пробелами».

Никто не заметил, как он ушел.

V

Отправляясь к Гермогенову, художник Корбюзьевич еще не знал, что эта их встреча будет последней... Жил Гермогенов на Подоле, на Нижнем Валу. Он занимал комнату в коммуналке во втором этаже ветхой двухэтажной халупы, которая угрожающе пошатывалась, скрипя старыми древесинами и звеня всеми своими стеклами, люстрами и посудой, когда прямо под окнами с громы-ханием и лязганьем проползал железный ящер в образе трехвагонного трамвая.

Дом этот пользовался дурной славой. Все из-за крыс, которые населяли подвал и отличались особой свирепостью. Здесь не приживались ни коты, ни собаки, и голуби не паслись у порога, и ласточки не вили гнезд под крышей. Редкий гость отваживался

зайти в дом после захода солнца, не подвергая себя опасности. И что любопытно: «своих» крысы не трогали. А «своими» они, видимо, считали соседей Гермогенова по коммуналке: бабу Кварту — кривобокую старушонку в чепце, заветная мечта которой заключалась в том, «шоб вы усе сдохли!», — и ее тщедушного супруга, деда Какофония, за давностью прожитых лет почти полностью позабывшего человеческую речь, — дряхлого склеротика, мучимого солитером по имени Митрофан, с которым они были ровесниками и даже в известном смысле родственниками. Дед Какофоний был таким старым, что за что бы он ни брался, на всем оставался толстый слой пыли. Жил он невыразительно и почти незаметно, и только постоянная корвалоловая отрыжка выдавала его присутствие в доме.

Однако (и в это не так-то легко было поверить) поговаривали, будто бы в молодые, и в не очень молодые, и даже в совсем уже немолодые годы дед Какофоний служил, так сказать, «ликвидатором осужденных», или попросту — палачом. Якобы, сльвив непревзойденным мастером своего дела, он разъезжал по всей стране из одной тюрьмы в другую с неизменным маузером в деревянном футляре. Не было такого начальника тюрьмы, который не почел бы за честь принимать его в своем хозяйстве, ибо не всякому выпадал фарт полюбоваться на меткий выстрел с расстояния в пятьдесят шагов прямо в затылок, что в копеечку! Ну, а в военные годы был он снайпером: сначала латышским стрелком, потом — ворошиловским.

Гермогенов рассказывал, что, несмотря на слабоумие и постоянную дрожь в конечностях, дед Какофоний умел показывать клыки, и однажды на кухне попытался укусить его за запястье. Только каким-то чудом удалось увернуться. Подозревая супружескую чету в том, что она тайно подкармливает кошачьим и собачьим мясом проклятых крыс, Гермогенов даже пробовал выследить коварных стариков в надежде поймать их на горячем, но безуспешно — те всегда ускользали. А у Гермогенова имелись все основания, чтобы действовать таким не слишком шляхетным образом: в число «своих» он не входил и уже трижды, возвращаясь поздно вечером домой, подвергался нападению кровожадных грызунов. Как он сам рассказывал художнику Корбюзьевичу, всякий раз эти твари норовили вцепиться ему в руки, словно хорошо знали, что это руки музыканта. С некоторых пор он носил в кармане складной нож и фонарик — на лестнице кто-то постоянно

выкручивал лампочку. «Ну я-то знаю, кто этот *кто-то!*» — говорил он как можно громче и грозил кулаком стене, за которой проживали баба Кварта с дедом Какофонием.

Жилище Гермогенова представляло собой квадратную комнату с изразцовой печью, кабинетным роялем и тьмой самых невообразимых музыкальных инструментов, которые были развешаны на стенах и расставлены на полу, так что ступать приходилось с большой осторожностью. В каждом из этих красивых и, с виду, молчаливых предметов, оснащенных струнами, клавишами и клапанами, несмотря на их индивидуальные особенности и, подчас, непростые характеры, таился единый и священный язык — язык музыки, но «развязывался» он лишь в ту минуту, в то мгновение, когда рука Гермогенова касалась какого-нибудь из них. Букцина, барбитон, лур, оboe d'amore, viola da gamba¹, рагель — все эти и многие другие инструменты, но и в не меньшей степени прекрасные названия их, вызывали в художнике Корбюзьевиче, когда он бывал здесь, неизъяснимую сладостную ностальгию. Нередко он одалживал у Гермогенова живописную лютню, или сложной конструкции орферийон, или змееподобный серпент, чтобы изобразить на какой-нибудь из своих картин.

Над дверью с потолка свисал похожий на огромную сковороду оркестровый там-там, и Корбюзьевич часто ловил себя на мысли, что если разок как следует ударить в эту «сковороду» колотушкой, халупа его друга рассыплется, словно картонный домик.

За одним из двух окон, прямо над улицей, подвешенные на грубых пеньковых веревках, покачивались медные сосуды. Колеблемая ветром тонкая проволока ударяла в их округлые бока, и сосуды звенели непрерывно. Так, спустя тысячелетия, снова оживал «говор меди Додонской», которому некогда в священном трепете внимали древние.

Многие из тех, кто знал Гермогенова, или, точнее, думал, что знает, пришли к убеждению, что на почве музыки он тронулся умом. Утверждению такого мнения, не в последнюю очередь, способствовали речи самого Гермогенова, которые воспринимались, мягко говоря, неоднозначно. «Кем я только не был! — мог сообщить он в порыве откровенности. — Я даже был профессиональным ловцом светлячков и собирателем росы...» Диатонический

¹ Oboe d'amore (*итал.*) — альтовый гобой, или гобой д'амур;_viola da gamba (*итал.*) — виола да гамба, теноровая виола.

звукоряд, говорил он, подобен восьми символам ба гуа, начертания которых великий правитель Фу Си однажды узрел на спине выползшей из воды черепахи. И в восьми нотных знаках якобы отражены принципы рождения всех вещей и явлений, всего живого и неживого.

Как-то раз Гермогенов заявил, что, музицируя, он общается с духами Природы и привлекает их, и что он способен повести их за собой, как дудочник из Гамельна детей малых, но — не к смерти, а к истокам жизни вечной. И не дай ему Бог обидеть их! Духи могут превратить его в жука, как когда-то глупого и наивного пастуха Терамба... После такого сообщения друзей у Гермогенова заметно поубавилось.

Однако художнику Корбюзьевичу подобные высказывания его друга вовсе не казались признаком безумия. «Когда я учился искусству игры на музыкальных инструментах, мне от учителя часто доставалось на орехи. Нужно было касаться струн так, будто у меня нет рук. Поверь, друг Корбюзьевич, нелегко играть на флейте, не подняв при этом рябь на чудесном озере Ванму и не потревожив усладу феи, что длится тысячи и тысячи лет». И будто в подтверждение своих слов, Гермогенов брал в руки флейту из лазоревого нефрита, и дивная мелодия звучала, словно эта самая услада феи Ванму. «Что это было?» — спрашивал художник Корбюзьевич, сквозь радуги слез возвращаясь в мир трамвайного грохота, буфетного звяканья, стекольного дребезга. «Это были журавли, улетающие в далекий Пэнлай, — задумчиво пояснял Гермогенов. — Мелодии этой две тысячи лет, и она чиста как младенец, только что появившийся на свет. А что теперь?.. Услышь сегодня Конфуций нашу современную музыку, он решил бы, что попал в царство мертвых. Да, с каждым днем мы все ближе и ближе к Аду». Как бы в продолжение этой, видимо, болезненной для него темы, Гермогенов не раз всячески насмеялся над так называемой *Zukunftsmusik* — «музыкой будущего» — и ее апологетами, утверждая, что первое, как понятие, есть не более чем результат невежества вторых. Лишь только угаснут последние звуки, они сразу становятся «музыкой прошлого», ибо для будущего — все в прошлом, и в особенности, всякое представление об этом самом «будущем». Человек тут бессилен. «Музыка звучит в прошлое», — говорил Гермогенов, беря в руки великолепную скрипку работы Карло Бергонци и энергично проводя смычком по струнам. «А это что было?» — спрашивал Корбюзьевич. «Tutte

le corde¹, — смеясь, отвечал Гермогенов. — И не более того!» Иногда он мог, — и это также якобы изобличало его безумие, — битый час рассуждать об искусстве алхимии. «Что тут непонятого? Музыка, поэзия, алхимия — все это, в конце концов, одно и то же, ибо цель у них — одна». И если музыка алхимична, астрологична, если она сакральна — о! тогда и только тогда она обретает возможность существования вне времени. Но в этом случае возникает вопрос: в какой мере она — музыка, а не нечто большее? Не все здесь было понятно художнику Корбюзьевичу. Он имел дело с более материальными субстанциями. И, грубо говоря, субстанции эти можно было видеть глазами, шупать руками, вдыхать их запах и даже погибнуть от них, если, не приведи Господь, принять внутрь. «Для меня не столь важно, — рассуждал он, — из чего возникает цвет: из разложения белого луча, или он — результат столкновения света с тьмою. И я не знаю, каким цветом управляет та или иная звезда. Все зависит от моего настроения, от состояния моего духа...» — «Вот видишь! — перебивал его Гермогенов. — Ты — о духе. А между тем цвет и звук — промежуточные формы или состояния между духом и материей. Заметь, в музицировании, как и в искусстве астрологии, также присутствуют симпатии и антипатии, противостояния и соединения, триады и квадратуры. Оно также подвержено воздействию планет и само воздействует на них. Оно — музицирование — все наполнено, пронизано жизнью четырех стихий, увенчанной пятой — квинтэссенцией. Музыка — андрогинна, Ребисо-подобна, она — как свадьба Красного Короля и Белой Королевы. Она пресуществляет время в вечность. И сердце музыканта — та же алхимическая печь, в которой совершается это пресуществление. Музыка! Она подобна аб-ихайату — воде бессмертия суфиев, возвращающей юность и дарующей вечную жизнь, или киновари даосов, или Эликсиру философов, неиссякаемый источник которого отверзается в человеке в ту минуту, когда на него нисходит Божественная Благодать. Вот что такое музыка, дорогой друг!»

Однажды художник Корбюзьевич выразился не слишком лицеприятно о нынешнем состоянии изобразительного искусства, подметив столь часто встречающуюся в работах современных художников необязательность, невнятность и, главное, беззастенчивый эгоизм. Слушая его рассуждения, Гермогенов сопровождал

¹ По всем струнам (*итал.*). — Музыкальный термин.

их какими-то замысловатыми аккордами на рояле. «Что это было?» — любопытствовал художник Корбюзьевич, закончив свою речь. «Да так, бред сивой кобылы... Вообще-то, я думаю, эпоха ясности и завершенности в произведениях искусства, к которым так стремились старые мастера, закончилась вместе с потерей веры в эсхатологию. Отрекшись от вечности, творцы обрели время и, как следствие, заблудились в его вихрях и потоках. Едва успев что-то начать, они уже хватаются за следующее — таким образом, не столько творят, сколько мечутся. Конечно, это было бы против истины — утверждать, что таковы все. Я лишь хочу сказать об общей тенденции. Мне говорят: “Что ты там корпишь над своими ветхими молитвами? Кому нужна вся эта рухлядь?” — и Гермогенов широким жестом руки обводил свои теорбы и волынки. — “Их голоса состарились вместе с ними. Оставь их и послушай голос эпохи!” — говорят они мне. А мне надоело слушать этот так называемый голос эпохи, если рев и скрежет вообще можно назвать голосом. Я хочу услышать ее шепот. А еще лучше — тишину эпохи». Тут он взял в руки кувшинообразный барабан и, прижавшись к нему ухом, замер. «Божественное звучание... Знаешь, как рождается истинная музыка?» Художник Корбюзьевич не очень любил подобные вопросы, но от Гермогенова он их терпел, зная, что обычно тот сам же на них и отвечает. «Она рождается в сердце музыканта, подобно причудливым фигурам на замерзших окнах — прекрасным воздушным отпечаткам. И прародина у музыки и у этих отпечатков одна — область огненного света воды, населенная могучими стихийными духами». Художник Корбюзьевич кивал головой в знак согласия, внутренним взором уже рисуя картину, обещавшую стать шедевром. «Многие называют себя музыкантами, — продолжал Гермогенов, легонько ударяя в барабан. — Но музицировать по-настоящему возможно только в четырех мирах одновременно. Таков нелегкий путь к гармонизации пятого мира — человеческого. В противном случае мы будем иметь совокупное действие мышц, которое называется синергией, и очень много бесполезного шума».

Как уже было сказано, все эти и подобные им рассуждения нисколько не смущали рассудка художника Корбюзьевича, и уж тем более не отпугивали его. Скорее, давали пищу для ума и чувств. К тому же это были только слова. Но вот что действительно потрясло его, так это то необыкновенное мастерство, с каким Гермогенов извлекал музыку из своих разнообразных инструмен-

тов, а главное, и самое непостижимое, — те способы, которыми он ее сочинял. Это не укладывалось в голове! Он мог, например, с закрытыми глазами, вслепую, тыкать цветными карандашами в нотный стан, набрасывая таким странным образом сначала «красный голос», потом «синий», «зеленый», а затем, открыв глаза и долго сосредоточиваясь на этом соцветии точек, убирать лишние и добавлять недостающие. Так постепенно складывалась партитура некоей полифонии. Или же тонким пером он рисовал в басовом ключе горы, деревья, крестьян, сеющих пшеницу, а в скрипичном — птиц, стрекоз, цветы и солнце — и вообще все, что только могло подсказать воображение. Потом крайние точки их очертаний и точки их случайных сплетений превращались в ноты, длительность каждой из которых часто зависела от интуиции и каких-то одному Гермогенову ведомых смыслов и ассоциаций. Нередко он и Корбюзьевича привлекал для участия в этом необычном «нотостроительстве» — как художника.

Впрочем, к себе Гермогенов был нелицемерно строг. За всю его жизнь, считал он, ему действительно посчастливилось сочинить всего две-три короткие мелодии, достойные такого же количества симфоний, и еще несколько гениальных аккордов для различных инструментов или их сочетаний, каждый из которых в своей самодостаточности, в богатстве обертонов и внутренней динамике, от момента возникновения звука и до его полного затухания, уже являл собой законченное и совершенное произведение. И каждый такой аккорд сопровождался каким-нибудь пояснением, вроде: *sensibile*, *marcatissimo*, *molto agitato*, *subitamente* или *lungo arco*¹. А кроме того, Гермогенов давал им названия: «Полночное солнце», «Сапфир», «Адуляр», «Осмахил», «Фантэас Магор», «Лебеди Лоэнгрин»...

«А что такое Фантэас Магор?» — спрашивал художник Корбюзьевич. «Не что, а кто. Это имя». — «Хм, странное имя». — «Ничего странного. На эльфийском языке это означает: Волшебник Магор». — «Магор?» — «Магор, — и Гермогенов напряженно смотрел на дверь — не затаился ли за ней кто-нибудь с большими ушами и на кривеньких ножках, — а потом продолжал, но уже понизив голос: — С эльфийского это имя можно перевести примерно как Огненный Камень. Или Камень Огня. Дословно перевести

¹ Чувствительно, трогательно; в высшей степени четко; очень возбужденно; внезапно, вдруг; всем смычком (*итал.*). — *Музыкальные термины.*

трудно, потому что это не совсем Камень, да и Огонь не наш, не земной...» — «А что, разве существует эльфийский язык?» — «Существует. Но не в этом дело. Где взять восемнадцать флейтистов, чтобы это сыграть? Ума не приложу». — «А Осмахил? Что это?» — «Осмахил — это память». — «Память?» — «Или Вечность. Или Золотой век. Или наше прошлое и наше будущее, — снисходительно пояснял Гермогенов. — Это для двух хоров. Но у нас так не играют и не поют». — «А где так играют и поют?» — допытывался художник Корбюзьевич. «Да, пожалуй, уже нигде». — «Зачем же тогда ты все это сочиняешь, если исполнить некому?» — «Да так, — неохотно отвечал Гермогенов. — Сам не знаю. Наверное, память не дает покоя...» — «Осмахил?» — «Осмахил...» Но особенно художнику Корбюзьевичу не давало покоя «Полночное солнце». Долгое время он не решался спросить друга о смысле этого названия или, точнее, о его бессмысленности. «Полночное солнце есть духовный свет, — однажды, не дожидаясь вопроса, пояснил Гермогенов. — Он не угасает даже во Мраке, будь то Хаос или Материя».

Случалось и так, что Гермогенов, словно погружался в тот самый Хаос и сутками напролет блуждал в лабиринтах случайных созвучий и аккордов, шаг за шагом преодолевая их беспорядок и неосознанность, и так постепенно извлекал стройную и ясную мелодию. Он очищал ее от всего лишнего и придавал ей блеск своим исполнительским мастерством.

Но больше всего Корбюзьевича изумляла в друге его способность слышать, как звучат люди. Стоило Гермогенову увидеть кого-нибудь из приятелей или даже совершенно незнакомого человека, и в голове его сразу рождались мелодия или аккорд. Как-то раз, еще у истоков их дружбы, он снял со стены вольтынку и сыграл художнику Корбюзьевичу *его мелодию*. Так, по его мнению, Корбюзьевич «звучал» в тот год, месяц, день и час... «Не могу сказать, что я в восторге», — растерянно молвил художник Корбюзьевич, он чувствовал себя так, будто его раздели донага и выставили на площади; да и мелодия показалась ему какой-то смешной, что ли. «Ничего, — успокоил его Гермогенов. — Скоро все изменится. Очень скоро. Ты и не заметишь, как частушки превратятся в симфонию».

Итак, последняя их встреча в «доме дребезга», как про себя Корбюзьевич называл ветхую коммуналку, в которой обитал его друг, — после фееричной вечеринки у Лямура Двердомского —

произвела на него странное, тревожное впечатление и хорошо запомнилась, несмотря на то, что без Руны он жил, будто под наркозом. Уже на лестнице была слышна визгливая брань бабы Кварты: «Наркоман! Сволочь бандитская!..» Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням на второй этаж, художник Корбюзьевич с минуту в нерешительности стоял под дверью, из-за которой доносились вопли скандальной старухи, сделал глубокий вдох и выдох и несколько раз повернул ключик старинного дверного звонка... Дверь открыл участковый инспектор Пришивалов, что стало для него неприятным сюрпризом, ибо не сулило ничего хорошего гостям с «артистической внешностью». Известный всему району своей патологической бескомпромиссностью, с успехом заменявшей ему интеллект, блюститель порядка молча уставился на художника Корбюзьевича, который рефлекторно старался придать своему взгляду как можно больше идиотской невинности. За спиной Пришивалова, в полутемной прихожей, застыли в напряженных позах Гермогенов и баба Кварта и тоже смотрели на него: первый — как на неожиданное спасение, вторая — как на непредвиденную угрозу, которую нужно сейчас же уничтожить. В высоко поднятой руке старуха держала железный совок для мусора. Странно, но при виде Гермогенова в голове художника Корбюзьевича зазвучала элегическая музыка...

— Ага, еще один наркоман!

— Наркоман? — инспектор Пришивалов зачем-то расстегнул кобуру пистолета. — Покажи руки, — приказал он художнику Корбюзьевичу.

— Зачем?

— Рукава засучи, я сказал!

В наступившей тишине раздалось стариковское шарканье, и из кухни донесся дребезжащий голос деда Какофония: «Маузер дать?..»

— Иди спать, дуралей старый! — грубо оборвала его баба Кварта.

— Если надо, товарищ лейтенант, могу еще язык показать и содержимое карманов, — предложил художник Корбюзьевич. — Или поприседать...

— Поговори мне! — Не обнаружив ничего подозрительного, инспектор Пришивалов застегнул кобуру и, пригрозив в следующий раз отвести всех в участок, приказал разойтись.

— Следующего раза не будет, — с какой-то пророческой интонацией в голосе сказал Гермогенов.

— Паршивец! Я до тебя еще доберусь! — прошипела баба Кварта, угрожающе помахивая мусорным совком в его сторону.

— Это я тебя выведу на чистую воду, старая крыса.

Красноватые глазки старухи сначала подпрыгнули, потом заметались-забегали, лицо заострилось, костлявые, узловатые пальцы судорожно стиснули совок, так что и Гермогенов, и художник Корбюзьевич — оба отшатнулись.

— Кровью истечешь, гаденыш! — прошипела баба Кварта и шмыгнула в свою конуру, затолкав туда и деда Какофония, который как раз в эту минуту возвращался из кухни с маузером в деревянном футляре под мышкой.

Когда дверь за ними захлопнулась, в прихожей установилась тревожная тишина. Инспектор Пришивалов громко сглотнул слюну, сапоги его скрипнули сами собой. Казалось, весь дом покрылся холодной испариной и задрожал, как в ознобе... Внизу прогремел поздний трамвай.

— Прошу всех немедленно соблюдать порядок! — теряя голос, прохрипел инспектор Пришивалов. Он поправил на голове покосившуюся фуражку, погрозил пальцем и вышел за дверь.

Его сапоги гулко застучали по деревянным ступеням. Раздался душераздирающий вопль, и что-то тяжелое с грохотом покатило вниз...

— Что это?! — с замирающим сердцем спросил Корбюзьевич.

— Похоже, тело участкового инспектора! — шепотом прокричал Гермогенов, вытаскивая из кармана фонарик и складной нож. — Это они!..

— Кто?

— Крысы!

Он выскочил за дверь. Корбюзьевич — за ним. Но инспектора Пришивалова не было ни на лестнице, ни на улице. И от этого стало еще более не по себе...

Вернувшись в дом, запыхавшиеся и до крайности встревоженные, друзья заперлись в комнате Гермогенова и еще долго сидели молча в самом сумрачном настроении.

— По ночам они скребутся ко мне в дверь. Подгрызают ее, — заговорил Гермогенов тихо. Он сидел, опершись локтем на роуль и прикрывая лицо ладонью.

Художник Корбюзьевич не знал, что и сказать на все это.

— Тучи над моей головой сгущаются. Мне необходимо уехать.

— Надолго?

Гермогенов не ответил. Он встал и принялся расхаживать по комнате. В гнетущей тишине дощатый пол поскрипывал под его ногами, казалось, громче обычного.

— Надолго? — повторил свой вопрос художник Корбюзьевич.

Гермогенов пожал плечами:

— Думаю, вообще придется сменить место жительства. И имя тоже... если успею.

— Но это невозможно! — художник Корбюзьевич изумленно смотрел на Гермогенова: похоже, друг его терял чувство реальности. — Ты забыл: мы живем в большой тюрьме. Из нее не сбежишь. И от номера своего не избавишься.

— А какой мой номер? — Гермогенов горько усмехнулся. — Знаешь, что сказал Казанова однажды при встрече Вольтеру? Для того чтобы быть свободным, достаточно считать себя свободным. — Он поставил на рояль два бокала и разлил в них вино, жестом приглашая художника Корбюзьевича. — Вчера этот полумный дед Какофоний запустил мне в голову кухонным топоришком. Сам не знаю, как я успел увернуться... Кстати, он вовсе и не супруг бабы Кварты.

— А кто же?

— Он ее прадед.

— Как прадед? Сколько же ему лет?

— Один черт знает, сколько. Ясно одно: он так стар, что перед тем как присесть на унитаз, должен хорошенько подумать о последствиях...

Друзья молча выпили.

— А сегодня я чуть не угодил в капкан, — продолжал Гермогенов. — Старая крыса нарочно поставила его под моей дверью. Нет, так жить невозможно.

— А кто вызвал участкового? — спросил Корбюзьевич.

— Да никто не вызывал. Он случайно мимо проходил. Видать, с улицы нашу перебранку услышал, вот и зашел... Ты Октавию мою помнишь?

— Да, у нее глаза цвета ивовых листьев.

Гермогенов удивленно улыбнулся:

— А ведь и точно. Цвета ивовых листьев... Да, так вот: она ко мне больше не ходит. Бойтся. — Гермогенов залпом допил свое вино. — А что твоя Руна? Ты нашел ее?

Художник Корбюзьевич неопределенно мотнул головой.

— Да, небезопасно быть такой красивой, — с легкой грустью в голосе произнес Гермогенов.

Корбюзьевич вспомнил, как год назад он привел сюда Руну, и Гермогенов, взглянув на нее, тут же мягко положил руки на клавиши челесты, стоявшей тогда у окна, и стал играть. Сейчас, как и в тот лазурный с серебром вечер, художник Корбюзьевич вздрогнул — так явственно услышал он эхо небесных звуков годичной давности...

— Кстати, — прервал его воспоминания Гермогенов, — я тут недавно баловался и случайно сочинил один аккорд. Он состоит из двадцати четырех нот, так что сыграть тебе я его не смогу — пальцев не хватит. «Печаль Розамунды» — так я назвал его... Ты что-то сказал?

— А кто такая Розамунда?

— Роза Мира. Воплощение красоты. За это королева Элеонора ее и убила. Во всяком случае, так утверждают злые языки.

— Необычная причина для убийства...

— Как раз, наоборот, ничего необычного: смерть всегда ходит рядом с красотой. И любовь, это дитя красоты, наверное, только потому и бывает счастливой, что предчувствует свою смерть. Ведь в смерти всегда таится некий вопрос, на который нет ответа, а во всяком вопросе живет бесконечность. Иногда — пугающая.

— Ты боишься смерти? — спросил художник Корбюзьевич.

— А ты?

— Боюсь.

— И я боюсь... Но не так, как раньше, когда я не знал, что такое любовь и красота, — Гермогенов снова наполнил бокалы вином. — В конце концов, что такое смерть? Китайцы говорят: разрыв струн лютни. Но можно и по-другому: мы подобны росе, что выпадает на землю. Еще миг — и вот ее нет: растаяла, сверкнув в лучах восходящего солнца.

— Красиво, — сказал художник Корбюзьевич задумчиво.

— Красиво, — согласился Гермогенов и впервые за вечер улыбнулся. — А издохнуть от крысиных укусов — некрасиво. Вот поэтому я и хочу поскорее отсюда убраться. Пришло время.

Он поднял бокал, как бы призывая друга выпить за удачу в его предприятии:

— И поклянись, что никому не расскажешь.

— Клянусь.

— Да, лучше молчи, если не хочешь прослыть сумасшедшим.
— А как же Октавия? — спросил художник Корбюзьевич. —

Она знает?

Гермогенов вмиг помрачнел, глубокая морщина перерезала его высокий лоб:

— Она больше не Октавия. Во всяком случае, я теперь в этом не уверен. Может быть, Октавия стала Секундиной... Тревога, неразрешенность... Не хочу об этом.

— А знаешь, мне недавно снился Классик, — сказал художник Корбюзьевич, чтобы сменить тему. — Он говорил со мной. Эх, знать бы, где он теперь!

— Не волнуйся, с ним все хорошо.

— Ты так думаешь?

— Я знаю, — Гермогенов открыл шкатулку, стоявшую на крышке кабинетного рояля. Зазвучала кукольная мелодия. — Вот письмо от него, — сказал он, извлекая из шкатулки свернутый вчетверо лист бумаги и протягивая художнику Корбюзьевичу.

— Господи! Откуда оно у тебя?

— Не спрашивай. Большего я тебе все равно сказать не могу.

С сильно бьющимся сердцем художник Корбюзьевич развернул лист и прочитал следующее:

«Если душа твоя трудится в теле, отвращая его от разного рода излишеств, вредящих ему, то не значит ли это, что точно так же существует некая сила, воздействующая и на саму душу твою? Знающие утверждают, что силой такой является особый Ангел. Именно он приходит на помощь всем страдающим, а особенно, если причина страдания — любовь...»

Художник с недоумением смотрел то на письмо, то на Гермогенова.

— Ну, что ты на меня так смотришь? Я же сказал: с ним все хорошо. Он сейчас странствует в поисках цветка цветков, розы роз, наиболее лилии... Все! Больше ни слова!

Уже светало, когда Гермогенов отворил окно, впуская в комнату утреннюю прохладу и шорох дождя. Потом сел за челесту и заиграл так, что у Корбюзьевича перехватило дыхание, а из глаз покатались слезы. Он сразу узнал: этот прекрасный цветок с древа музыки был «Руной»...

— Найди ее. Ты должен ее найти. А это возьми на память, — сказал Гермогенов на прощанье, протягивая ему партитуру только что сыгранной музыки. — Не знаю, как скоро уеду. Хотелось бы, конечно, поскорее. Ты заходи, хорошо?

Вернувшись в свою мастерскую, художник Корбюзьевич долго не мог сомкнуть глаз. Музыка продолжала звучать в нем. Звучала она и весь следующий день. И вместе с нею совершенно поновому звучала его любовь, осознав наконец, что живет она вместе со своей смертью. И от этого осознания она стала только сильнее и желаннее. Она хотела жить, и ничего другого. Жить, невзирая на смысл или бессмысленность своего существования. Может, это и была та «смертельная любовь», о которой говорил Старик Придумкин?

На третий день художник Корбюзьевич принялся за портрет Гермогенова. Он трудился над ним целую неделю, делая лишь короткие перерывы, и вдохновение ни разу не покинуло его. Он изобразил лицо друга просветленным, почти прозрачным в своей бестелесности, — как бы принадлежащим человеку не столько сегодняшнего дня, сколько прошлого и будущего, человеку Осмахила, где вечно светит Полночное Солнце, — таким, как оно запомнилось ему в последнюю их встречу; пальцы, почти невесомые, едва касаются клавиш челесты, и утренний свет, струящийся в открытое настежь окно, ложится на них, смешивается с музыкой, делая ее едва ли не осязаемой... И пока рука художника, предоставленная сама себе, вольно водила кистью, в памяти снова и снова всплывали обрывки фраз и целые монологи Гермогенова:

«Во всех предметах дремлют души давно минувших событий. И вот, когда души эти пробуждаются, начинает звучать музыка. Разве не то же самое и в живописи?..»

«Дай мне твою генитуру, и я извлеку из нее мелодию твоей судьбы».

«Вчера я услышал звучание полета Сапфо с утеса Левкат. Оно было похоже на далекое эхо. Увы, ни один из моих инструментов так не звучит».

«Ты говоришь, что одни люди красивы при закате солнца, другие — в предрассветных сумерках. Что же тут удивительного! Они и звучат по-разному — закат и восход...»

«Будь сегодня таким, каким ты не был вчера, а завтра — не таким, как сегодня...»

На заднем, затемненном плане, за спиной музицирующего Гермогенова, как бы за световым полем звучащей музыки, художник Корбюзьевич изобразил бабу Кварту. Она будто подглядывала за музыкантом из мертвой зоны глухоты и немоты, и маленькие глазки ее тлели как раскаленные уголья.

Закончив работу, он оставил картину сохнуть на мольберте, и несколько дней старался даже не смотреть в ее сторону. Когда же время пришло, он долго стоял перед ней, оцепенев от ужаса. Он с трудом верил своим глазам! Как же это раньше он ничего не замечал? Эти хищные тлеющие глазки, эта остроносая головка, кривенькие ручки и ножки... Одним словом — вылитая крыса! Не хватало только длинного тонкого хвоста.

В чем был — в перепачканном красками халате на голое тело (не считая полосатой тельняшки и черных семейных трусов под этим халатом) и в старых «рабочих» башмаках без шнурков на босу ногу, — художник Корбюзьевич бросился вон из мастерской и бегом помчался на Нижний Вал. Ночь была мгlistая, ветреная. Полы распахнутого халата развевались за спиной, и звук шагов гулко дробился множеством отзвуков в пустых подворотнях. Ужасные предчувствия гнали художника Корбюзьевича все быстрее, но ему казалось, что он едва переставляет ноги.

Взлетев по лестнице, тускло освещенной одинокой лампочкой, он остановился у двери. Ему казалось, что дом качается, будто на волнах. Несколько мгновений он стоял неподвижно, хрипло дыша и судорожно хватая ртом затхлые испарения старого дома. Сердце отчаянно колотилось. Снизу, из подполья, доносился шум возни и многоголосый писк. Корбюзьевич уже хотел позвонить в дверь, как вдруг слева, на полу возле лесенки, ведущей на чердак, увидел большую лужу крови. Рядом валялась расколотая пополам скрипка с обвисшими струнами — та самая скрипка Бергонци! «Боже мой! Что это?» — Корбюзьевич стал медленно пятиться назад. Его трясло. Бежать отсюда прочь, бежать немедленно!.. Но вместо этого он снова шагнул к двери и с силой повернул ключик звонка. Потом еще раз... И еще... Своим дребезжанием звонок напомнил голос деда Какофония. Корбюзьевич звонил и звонил, чувствуя, как внутри у него все леденеет... Никто не открывал. Он принялся стучать в дверь кулаками, ногами... Снова звонил...

Вконец обессиленный, он опустился на ступеньку и уткнулся лицом в раскрытые ладони. Морок сгустился вокруг и в нем самом, и он погрязал в него все глубже и глубже, пока не достиг

самого дна. Всюду, сколько хватало глаз, копошились крысы. Встав на задние лапки и задрав морды кверху, они пронзительным писком приветствовали свою владычицу. Баба Кварта в грязно-серой, как осенняя слякоть, мантии, с короной на лысой голове, возвышаясь над полчищами крыс, ехала верхом на костлявых плечах деда Какофония. Она нещадно прищипывала своего костлявого Буцефала, то и дело вонзая пудовые каблуки в его тощие бока. Подслеповатые глаза деда Какофония налились кровью, в вытянутой руке он держал свой знаменитый маузер, готовый пальнуть в лоб художника Корбюзьеви́ча, что в копейку. И в ту минуту, когда ворошиловский стрелок уже собирался нажать на спусковой крючок, зазвучала чудная мелодия. Кто-то невидимый играл на простой пастушеской сопилке. И как хорошо! Как хорошо! «Ну, я-то знаю, кто этот *кто-то!*» — радостно просияло в голове художника Корбюзьеви́ча. Крысиная рать замерла, повернув головки на призывные звуки, а потом, зачарованная, нескончаемым потоком двинулась куда-то вслед за невидимой сопилкой. «Стоять! Стоять!» — верещала баба Кварта, как кукла подскакивая на плечах гарцующего деда Какофония и бешено колотя его по голове мусорным совком. Но крысиный поток увлекал их обоих за собой все дальше и дальше от художника Корбюзьеви́ча. «Стреляй же! Стреляй, старый идиот!» — вопила баба Кварта. Дед Какофоний несколько раз кряду нажал на спусковой крючок, но маузер упрямо молчал. «Стреляй, гадина!» И маузер выстрелил... Баба Кварта взвыла от боли, совок выпал из окровавленной руки и затонул где-то в крысином потоке. «Идиот! Чтоб ты сдох!..»

Очнулся художник Корбюзьеви́ч на рассвете. Некоторое время он не мог сообразить, где находится и что с ним, а сообразив, мигом вскочил на ноги. Огляделся вокруг. Странно: ни лужи крови, ни разбитой скрипки. Никаких следов ночного кошмара!.. Пока он лихорадочно раздумывал, как поступить — уйти и потом всю жизнь терзаться ужасными домыслами о дальнейшей судьбе Гермогенова или все же попытаться каким-нибудь образом проникнуть в его квартиру и на месте во всем разобраться, — дверь распахнулась. На пороге стояла баба Кварта. Вид у нее был растрепанный, рука перебинтована, в ушах — вата.

— Ты чего здесь ошиваешься? — прошипела она.

— Гермогенов дома? — как можно более безразличным тоном спросил художник Корбюзьеви́ч.

- Нет его.
- А когда будет?
- Уехал он.
- Уехал... Надолго?
- А я почему знаю? Может, совсем уехал!..

— Видите ли... — художник Корбюзьевич привстал на цыпочки и весь вытянулся, пытаясь заглянуть через плечо старухи в прихожую, халат на нем предательски распахнулся. — Он должен был мне оставить кое-что. Может, выпустите меня?

- Срамота! — отрезала баба Кварта и захлопнула дверь.

VI

Закрывшись в мастерской, художник Корбюзьевич весь день провел в тяжелых думах. Что делать? Пойти к участковому инспектору Пришивалову, если, конечно, и он не стал жертвой крыс-людоедов? И что Корбюзьевич ему расскажет, этому дураку с пистолетом? Кровь на лестнице, разбитая скрипка, крысиное царство... Все это вместе тянет на диагноз, а после клеветнических обвинений бабы Кварты — на приговор. Тут уже одним участковым не обойдется! Явятся демоны из Серого Терема. Как пить дать, явятся! Начнут гнобить — это они умеют. Сначала разгромят мастерскую в поисках зелья какого-нибудь запретного, а потом, ничего не найдя, сами же его и подбросят... Господи, что же делать?! Может, друзьям рассказать?.. Корбюзьевич уже шагнул было к двери, но тут же остановился. Нет-нет! Только не друзьям! В худшем случае поднимут на смех, в лучшем — упадут в запой недели на две, а то и на три. Да к тому же он Гермогенову дал слово молчать, что бы с тем ни случилось... А случилось ли на самом деле? Может, все обошлось? Ведь играла же сопилка! Это обстоятельство вселяло пусть и маленькую, но надежду.

Под вечер снова явился художник Худобед — с бутылкой массандровского хереса и новой картиной.

— Давай меняться! — прямо с порога выпалил он. — Ты вернешь мне ту картину, а взамен я подарю тебе новую.

— Не надо новую, — поспешно возразил Корбюзьевич. — Можешь и так забрать.

— Нет, так не годится. Это же подарок... — В голосе Худобеда, однако, излишней настойчивости не чувствовалось. — Ну, может, хоть хереса выпьешь?

Корбюзьевич отрицательно замотал головой.

— Эх, что-то с тобой не то! — весело проговорил Худобед, наливая себе в первый попавшийся стакан вино цвета мертвых листьев. — Прямо лица на тебе нет. Ты чего? Болееешь? Исхудал совсем. На вот, выпей, от хереса поправляются, говорят... О! А это кто? — он указал на картину, на которой Руна обнимала за шею доверчивого единорога.

— Это?.. Это мечта.

Худобед слюняво прыснул со смеху и одним махом опорожнил свой стакан.

— Ну ты даешь, дружище! Под Ренессанс косишь? Что, есть заказчик? Сколько платит?

— Да нет, — отмахнулся Корбюзьевич. — Это я так... для себя.

— А-а-а... О! А это кто? — Худобед с вновь наполненным стаканом стоял уже возле портрета Гермогенова. — Знакомая рожа!

Художник Корбюзьевич набросил на холст покрывало.

— Ты, собственно, зачем пришел?

— Ах, да! Совсем забыл. Мне тут подвалил один заказец жирный. — Худобед напустил на себя важный вид. — Завод «Красный резинщик» знаешь?

Корбюзьевича передернуло.

— Им нужна монументалка. Роспись на весь вестибюль. Это где-то двадцать на двадцать метров будет, а то и больше. В общем, один я не потяну. Вот я и подумал...

— Нет, я завязал.

— Ты что, совсем рехнулся? Это же «Красный резинщик»!

— Да хоть «Сиреневый».

— Дружище! Очнись! Я тебе предлагаю не какую-то там мечту заоблачную. Марк Шагал вон трамваи бесплатно расписывал, а тут деньги сами в руки сыплются. — Худобед еще раз взглянул на Руну с единорогом, но на сей раз презрительно. — И никаких лошадей с рогами! Кому сегодня нужно это твое отлессированное сфумато? Полный отстой! Проснись, двадцатый век на дворе... Кстати, у тебя спички есть?

Прикончив остатки хереса, Худобед ушел с двумя своими картинками под мышкой и новым коробком спичек в кармане, пошатываясь и горлая: «Соглашайся, дружище! Два дня тебе на размышления!»

Дождавшись глубокой ночи, художник Корбюзьевич с беспокойным сердцем снова отправился на Нижний Вал. Шел проливной дождь, стрелы молний разрывали тьму. По странному совпадению, именно этой ночью в город возвращались саламандры. Оглушительные раскаты грома оповещали об этом его животный и растительный миры. Правда, возвращались далеко не все саламандры, и цели их были неведомы. А если бы вернулись все и сразу — городу, несмотря на дождь, грозили бы массовые пожары.

Дом Гермогенова выглядел угрюмым, без малейших признаков жизни, будто мавзолей, — только «додонские» кувшины, незримые, звенели на ветру. С крыши и карнизов низвергались настоящие водопады, и вся улица неслась мимо него черной рочущей рекой. Художник Корбюзьевич закатал мокрые штаны и стал переправляться через бурный поток, словно журавль, высоко поднимая ноги. Подойдя к дому вплотную, он быстро разулся, носки отжал и засунул в карман плаща, затем связал размокшие ботинки между собой шнурками и повесил на шею. Водосточная труба оказалась на удивление крепкой. Кое-как он вскарабкался по ней на второй этаж. Стараясь не задеть головой «додонские» кувшины, он поставил колено на узкий карниз и свободной рукой толкнул оконную створку. Окно легко открылось. Пока все шло лучше, чем можно было ожидать. Даже слишком хорошо... Друзья-поэты наверняка были бы в глубочайшем шоке, узнай они, что художник Корбюзьевич способен на такое сумасбродство. «Впрочем, действительно, что мы знаем друг о друге? — подумал он, ставя ногу на подоконник. — И что мы знаем о себе самих?»

В жилище Гермогенова царил полный разгром. Молнии полыхали за окном, выхватывая из темноты обломки музыкальных инструментов, груды изорванных партитур. Художник Корбюзьевич бросился собирать листы с нотами. «Адуляр», «Полночное солнце», «Осмахил», «Фантэас Магор», «Глаза Розамунды» и многое другое — все они, вероятно, были здесь и вызвали к спасению. Ползая на четвереньках среди развалин некогда столь прекрасной жизни, он подбирал все подряд без разбора и складывал на широкий подоконник. И в эти горькие минуты он представлялся себе почти эпическим героем, таким странствующим собирателем утерянных нот и забытых звуков. Или даже спасителем мира. Может быть, лучшего из миров... Кто-то настойчиво скребся в дверь, но он не слышал — музыка Гермогенова звучала

в его голове, заглушая все другие шумы. Мощный удар сотряс дверь. Художник Корбюзьевич вздрогнул и тут же вскочил на ноги. Один за другим раздались еще два удара. Дверь затрещала. Ударяли чем-то тяжелым, будто бревном в ворота осажденного бастиона. Стены и дощатый пол комнаты вздрагивали, и каждый новый удар отзывался надтреснутым многоголосьем в разбитых деках и дребезжанием обвислых струн... Несколько мгновений художник Корбюзьевич стоял неподвижно, обливаясь холодным потом и не зная, что предпринять. Было ясно: еще немного — и дверь не выдержит. Схватив в охапку уже собранные листы, он вынул из кармана спичечный коробок, дрожащей рукой зажег спичку. Он и сам не знал, зачем это делает, но почему-то был уверен, что поступает правильно. Огонь живо, будто только того и ждал, взметнулся над охапкой партитур. Казалось, сама музыка Гермогенова превращалась в огонь, озаряя комнату, отражаясь в стеклах окон, в разбросанных на полу осколках разбитого зеркала. Пожар быстро перекинулся на стену. Художник Корбюзьевич залез на подоконник и, дико закричав, спрыгнул вниз, прямо в стремительную реку. Не оглядываясь, он побежал прочь, по течению; холодные, сверкающие в отсветах пожара брызги разлетались во все стороны...

VII

...Осень была исполнена шорохов и таинственного шепота, в которых художник Корбюзьевич снова улавливал отзвуки любимого имени, и пусть они были еще слабо различимы, сердце его уже наполнялось чарующим предчувствием необыкновенных событий. И будто в их преддверии, в их неминуемости звучала прекрасная мелодия — последний дар Гермогенова. Руна была где-то совсем близко. Художник Корбюзьевич знал об этом с самого утра, которое сверкало золотом согласия. И в городе больше не было острых углов — они округлились. И страшные, пахнущие смертью дряхлецы куда-то все подевались, так что коты, собаки и бездомные бродяги вздохнули с облегчением. И света стало непривычно много, даже несмотря на осеннюю пору и ранний заход солнца. Тонкий очерк улыбки едва заметно светился на лице художника Корбюзьевича. Впереди бесшумно ступал лилейного цвета единорог; и верный фантастикум, звездно мерцающая шагал рядом, положив прозрачную ладонь на

круп великолепно животного. Так шли они вслед за мелодией, искренне доверившись ее красоте и правде, и небесная высь сияла над ними огнистым оперением.

Художник Корбюзьевич не заметил, как вошел в узенькое устье Флоровской улицы, сгоревшей несколько лет назад. Воды воспоминаний, искрясь, катились навстречу — с самой вершины Флоровской горы. Он закрыл глаза и в этой искрящейся мгле увидел двух влюбленных — и в них узнал себя и Руну. Вот они, держась за руки, медленно бредут вверх по желто-кирпичному серпантину самой маленькой и самой незаметной улицы в мире. «Видишь это дерево?» — спрашивает она; солнце сквозь листву светит ей в лицо, она щурит глаза, улыбается. «Дерево?» — бездумно повторяет он, любуясь ее красотой. «Смотри, как оно ветвится. Это ты». Он смеется, притягивает ее к себе: «Что ж, обвейся вокруг меня, мой тонкий и нежный вьюнок, и тебе никогда не будет страшно». На самом деле это ему страшно. Почему-то он подумал, что прямо сейчас, или в любую другую минуту, они могут умереть — такие красивые, счастливые. А эта гора будет стоять еще тысячу лет, и другие влюбленные будут всходить на нее, и это солнце будет светить вечно, но уже не для них... «Что с тобой?» — спрашивает Руна. Он виновато улыбается, стараясь отогнать внезапно навалившуюся на него печаль. «Не бойся, смерти нет. Разве ты не знаешь? — доносится голос Руны, и от неожиданности он вздрагивает. — Ничто не умирает. И мы не умрем. Иначе — Бог не в своем уме, и нет в нем любви. Разве такое может быть?..» Она произносит эти слова обыденно и, в то же время, с непоколебимой убежденностью, так что сразу становится ясно, что именно это он и хотел слышать. И не только слышать, но, главное, знать наверняка. О, если бы это сам Бог сейчас говорил ее устами, и если бы можно было быть в этом уверенным! Корбюзьевич растерянно молчит. Руна идет рядом, и он держит ее за руку, или, скорее, сам держится за ее руку, и то, что она рядом, живая, любящая его, Корбюзьевича, — уже само по себе есть чудо, даже если бы, прости Господи, не было никакого Бога, и неминуемая смерть превращала бы все в абсурд. На мгновение в памяти всплывает иссеченный шрамами трагичный образ «искателя смерти» ректора Впетлина: на самом деле разве кто-нибудь сильнее его любит жизнь? — Никто! Равно, как никто больше поэта Флюидова не любит женщин. «Милый мой, — будто снова угадывая его мысли, говорит Руна, — мы любим потому, что Бог нами любит. И

мы не умрем, потому что Он вечен. Это же так просто!..» Печальные образы друзей с их неосознанной «любовью от обратного» тут же меркнут и исчезают без следа, не оставив после себя ни *линии*, ни даже слабого *пунктира*. Может быть, впервые у Корбюзьевича по этому поводу нет и тени сожаления. Нет, он, конечно, мог бы, раз уж ничто не умирает, выудить их из той бездны, в которой, очевидно, оседают все экскременты нашего сознания, и притянуть в свою память, но делать этого больше не хочется. В шелесте листвы птицы поют, и в их песнях — древнейших на земле — приоткрывается неведомое прошлое, таящееся за множеством ушедших в былое времен и пространств; в них спрятана тайна припоминания. Слева — крутые склоны Флоровской горы, покрытые чащей деревьев, а справа, по обочине улочки, под сенью фруктовых садов уютятся приземистые хатки; за ними, в тишине и покое, будто подвешен на незримых нитях, мир искусственных террас с огородами, оградами, погребками, ступенями, тропинками и тарзанками, дивным образом повисший над горным миром древнего Флоровского монастыря с его зелеными луковицами куполов. Стучат каблучки Руны по желтизне кирпичного серпантина. Горячая рука ее согревает руку художника Корбюзьевича, и от ласкового шепота щекочет в ухе. И вкус ее поцелуя еще долго не тает на его губах. И тоска как-то незаметно отпускает его. Нет, ничто не умерло, ничто. Смерти нет!..

— Эй, эй, смотрите-ка! Что это за придурок стоит там с оттопыренной рукой?

Художник Корбюзьевич обернулся на голос. На стволе поваленного грозой дерева — того самого, которым он когда-то был, свесив ноги, сидели мальчишки и с любопытством разглядывали его. Корни дерева все же оставались в земле, и из покоренного пня вверх устремились молодые ростки. Он поспешно спрятал руку в карман, словно желая сохранить тепло руки своей возлюбленной, и побрел вверх по несуществующей и всемирно забытой улице.

Как изменилось все вокруг! Обрушенные, исковерканные крыши, скособоченные балки и дымоходы, остатки обугленных стен и поросшие травой фундаменты, то тут, то там зевающие глубокими провалами. Повсюду, среди битого кирпича, — бурьян в рост человека; повсюду — тлен и запустение, и до сих пор не выветрившийся сладковато-горький запах гари. Воображение рисовало тот жестокий пожар, который пожрал маленькую вселен-

ную, оставив лишь ее обглоданный костяк. Невольно вспомнилось пламя, бегущее по стене в озаряемом молниями доме Гермогенова. Сердце защемило. Он словно выдохнул из легких весь воздух, а вдохнуть не мог. Корбюзьевич свернул на узкую дорожку, мощенную желтым кирпичом, с каменными ступенями через каждые два-три метра. Когда-то по этому серпантину на самую вершину Флоровской горы провожали умерших после отпевания в монастыре и там, на маленьком кладбище, в тени старых лип, предавали земле.

Над горой, выцветшей за лето и пряно пахнувшей, реял ветер. «Старый крылатый друг, — подумалось художнику Корбюзьевичу. — Наверное, пришла пора дать ему имя, написать его портрет...» Узкой тропой он миновал рощицу с заброшенным монастырским кладбищем, — листья с деревьев падали на разоренные могилы. Возле единственного уцелевшего склепа из черного лабрадорита за ним увязался какой-то «осенний» пес желтоватосерой с проседью масти — так, вдвоем, они вышли на голую вершину. Внизу простерся город. Солнце клонилось к закату.

Художник Корбюзьевич уселся прямо на пожухлую траву, извлек из широкой холщовой сумы бутылку вина, сыр и хлеб. Пес сидел в нескольких шагах и внимательно наблюдал за каждым его движением, слегка повиливая хвостом. Художник Корбюзьевич отломил кусок сыра и бросил ему. Пес не спешил набрасываться на угощение. Деликатно обнюхав его, он очень аккуратно подхватил кусок зубами и долго и тщательно прожевывал, вскидывая голову.

— Умница. — Пес понравился художнику Корбюзьевичу. — А что ты скажешь по поводу хлеба, дружок?

Дружок поднял голову, и — видит Бог! — было такое ощущение, что сейчас он действительно что-то скажет по поводу хлеба, ломоть которого уже лежал у его лап. Но так и не сказав ничего, пес проглотил и это подношение.

— Молодец, кудлатый, — похвалил художник Корбюзьевич, откупоривая бутылку. — Извини, вина не предлагаю.

Он окропил прямо из бутылки землю, чтобы задобрить духов горы, отпил сам и посмотрел на закат. Пес тоже посмотрел на закат, затем на художника Корбюзьевича — несколько снисходительно, как на дитя малое. Улегшись на землю и положив морду на лапы, он несколько раз глубоко вздохнул и вскоре погрузился в остроухий сон. Отхлебнув еще вина и закусив кусочком сыра,

солончатого на вкус, художник Корбюзьевич, пока солнце окончательно не скрылось за горизонтом, вытащил из сумы папку с бумагой, уголь и принялся рисовать спящего «осеннего» пса. «Почему бы и нет?» — говорил он сам себе. Все равно спешить было некуда: утро он встретит здесь, на Флоровской горе, как когда-то очень давно, еще в студенческие годы.

Вскоре на гору опустилась ночь. Полная луна плыла в перине легких облачков... Он отложил работу, разжег костер из сухого хвороста и веток, расстелил на траве под деревом целлофан, сверху — шерстяное одеяло, и лег на него, вытянувшись во весь рост, лицом к звездному небу. Внезапно ему почудились чьи-то жалобные вздохи и шепот. Они доносились с той стороны, где спал приبلудный пес; его мохнатое тело, освещенное костром, подрагивало во сне. Ветерок ерошил шерсть на спине, и несколько серебристых завитков таинственно посверкивали в лунном свете. «Заяц, возлюбленный мой заяц!..» — явственно слышалось художнику Корбюзьевичу. «Должно быть, ветер колыхнет травы, обманывая мой слух, — подумал он. — Или духи горы подшучивают надо мной».

— Ни то, ни другое, сударь, — ответил пес, поднимая голову и зевая во всю пасть. — Просто иногда я разговариваю во сне.

— Ой! — вскрикнул от неожиданности художник Корбюзьевич. — Кто это?

— Так что прошу меня простить, если помешал вашему отдыху. Надеюсь, я не храпел? — осведомился пес, потягиваясь и снова зевая.

— Да, но... — Художник Корбюзьевич хотел что-то сказать в ответ, но в таких обстоятельствах сказать было просто нечего.

Не лишне будет заметить, что в кругу друзей он прослыл натурой в высшей степени романтической со свойственными такой натуре экзальтированностью и отсутствием инстинкта самосохранения, то есть теми причинными качествами, которые на почве бурно переживаемых страстей с легкостью претворялись в фантазмагорические грёзы и полную или частичную потерю границ между явью и навью; но даже для романтизма столь выдающегося и бескомпромиссного говорящая собака (и не просто говорящая, а — на хорошем литературном языке) являла собой серьезное испытание.

Густо покраснев, художник Корбюзьевич предпринял попытку сказать на этот раз что-нибудь внятное:

— Я, собственно, здесь...

— Ах, будет вам! — махнул лапой пес. — Подбросьте-ка лучше дровишек в огонь, пока он совсем не зачих.

— Дровишек?!

— Да, что-то зябко становится.

Художник Корбюзьевич послушно подчинился, и вот уже костер разгорелся с новой силой. Глаза человека и глаза пса за-сверкали в его веселом свете.

— Бьюсь об заклад, у вас любовная драма, — сказал пес, про-являя завидную проницательность.

Художник Корбюзьевич, который уже начал приходить в се-бя после первого потрясения, только развел руками.

— Я такие вещи за версту чую, — продолжал говорящий пес. — Но должен заметить, держитесь вы великолепно. Здесь мы с вами — родственные души, хвост даю на отсечение. Конечно, другой непременно порекомендовал бы вам проявить больше решительности по отношению к вашей даме. Так поступает боль-шинство обывателей. Но, ясное дело, это совершенно противоре-чит куртуазному канону, коему мы с вами обязаны подчиняться. Помните несчастного в своих безумствах Тассо? «*Vrama assai, rосо spега e nulla chide*»!¹ Это он сказал о таких, как мы.

— О таких, как мы? — переспросил художник Корбюзьевич в изумлении.

— Эх, нам бы месячишко-другой подышать парами чемери-цы вонючей, — я имею в виду *helleborus fetidus*. Или попринимать геродотов гиппофальмос от безумия и меланхолии — одно из двенадцати растений розенкрейцеров... Ой, да что я говорю! Ка-кие, к чертям, чемерицы с гиппофальмосами?! Я и сам не очень-то в них верю.

— Во что же вы верите? — надтреснутым голосом спросил ху-дожник Корбюзьевич.

— В силу духа. Да, сударь, в силу духа я верю. Мы все когда-нибудь проходим через огонь страдания. Вот и я горю в нем с тех самых пор, как потерял свою возлюбленную.

— Как, и вы тоже?

— О, сколь совершенна та красота, что разбила мое сердце! Ушки — торчком, лапки — нежные как бархат. Даже нежнее бар-хата... Ах, лучезарный Заяц, одним словом!

¹ «Сильно жаждет, мало надеется и ничего не просит» (*итал.*). — Из *Тор-квато Тассо*.

Художник Корбюзьевич судорожно глотнул вина.

— А как мы любили друг друга, как обожествляли нашу любовь! Мы жили, словно лютня цинь с лютней сэ, выражаясь яшмовым языком танских поэтов. И весь этот жестокий мир, в который мы заброшены, будто провинившиеся щенки, больше не казался юдолью раздоров и скорбей. Напротив, он открылся нам во всей своей красоте и цельности. Как у Бодлера, помните? «Les parfums, les couleurs et les sons se répondent»¹.

Отменный французский язык пса, со звонким, в манере Эдит Пиаф, грассированием и правильно произнесенными носовыми звуками (не говоря уж о знании Бодлера!) окончательно сразили художника Корбюзьевича.

— Но, увь! — продолжал пес после мучительно длинной паузы. — Недолго играли лютни. Злая судьба развела нас по обе стороны вечности.

— Она умерла?

— Господь с вами! Вовсе нет. Вечностью, сударь, я называю Любовь. Все эти годы я жил одной лишь надеждой, что Заяц, храня целомудрие и верность, ждет меня, как ждала Пенелопа своего Улисса. Голый и босой прошел я огонь, воду и медные трубы, и, кроме этой надежды, у меня ничего не было. Да что там надежда! Я верил. А у кого есть вера, тому надежда не нужна. И вот однажды...

Пес запнулся, голос его задрожал. Две крупные слезы, сверкая, покатались по морде. Сердце художника Корбюзьевича сжалось.

— И вот однажды, после бесконечных скитаний и, казалось бы, тщетных поисков я нашел моего Зайца Белого Пушистого. Только вообразите, сударь все великолепие этой картины: ясный полдень, я с незабудкой в зубах... О, как красиво это могло бы быть! Да, к сожалению, могло бы, но не было. Ибо — что же предстало взору рыцаря, поэта и художника? — Пес покачал головой, глаза его наполнились сарказмом. — Обыкновенная замужня зайчиха с потускневшим взглядом, располневшая от праздности и скуки.

— Она вышла замуж? — воскликнул потрясенный художник Корбюзьевич, невольно подумав о Руне.

¹ «Запахи, цветы и звуки соответствуют друг другу» (франц.).

— Увы, сударь. Супруг ее — толстый и весьма состоятельный кроль. Я, конечно, понимаю: у него — просторная нора, огород. Моркови и капусты — хоть завались. А что я? Бродяга! И кроме великого искусства и героического прошлого — ничего за душой... Когда я увидел, как они щечка к щечке шествуют по морковной грядке, свет в очах моих померк...

Пес умолк.

— И тогда вы...

— И тогда я... Нет, нет! Ненависти я не поддаюсь, если вы об этом. Какой горький удел, думал я, познавать всю глубину неизмеримую, всю мощь неисчерпаемую своей любви как раз именно тогда, и, пожалуй, только лишь тогда, когда возлюбленная твоя уходит навсегда! И, по правде говоря, даже не столь важно, к кому она уходит: к пузатому и тупому кролю или к кому-нибудь более достойному, чем ты. С этим еще можно смириться, уверяю вас.

— А с чем же нельзя?

— С абсурдом жизни.

— Пожалуй, вы правы. — Художник Корбюзьевич вздохнул. — А знаете, когда Руна исчезла...

— Руна? Красивое имя, — не замедлил оценить пес. — Но лучше говорите прямо: ушла, а не исчезла. Не обманывайте себя, сударь.

— Да, так вот, когда она ушла... от меня... Я... ну, как бы это точнее выразить... Я все ходил, ходил по городу, как... как... э-э-э...

— Как чумной, — подсказал пес.

— Нет. Скорее, как...

— Как лунатик? Как безумный?

— Как мертвый! — выпалил художник Корбюзьевич. — Улицы, закоулки, уютные кафе, зеленые холмы и скверы — все эти еще недавно для нас двоих источники живой воды были навсегда отравлены. «Навсегда» — какое страшное слово!

— Вот-вот! — подхватил пес. — И со мною та же история. Только еще хуже. Весь город стал сплошной отравой. То, что раньше светилось в нем чистыми озерами под ярким и теплым солнышком, превратилось в гниющие болота, что было уютным прибежищем и тайными уголками моей любви, ее хранителем, ее добрым свидетелем и романтическим сообщником, теперь обратилось в руины. Я тоже, как и вы, бродил туда-сюда по так хорошо знакомым мне улицам, и иссушенные мумии прошлого

поворачивали ко мне свои пустые глазницы. Они чертили в мерзлом воздухе какие-то мертвые слова, касались своими ледяными пальцами моего носа, моих глаз, моего сердца, норавли обнять, в надежде сделать меня своим любовником. И некуда было бежать от них, потому что их гробами был загроможден весь город. Ах, сударь, как глубоко я страдал! Неужто, думал я, неужто мне так всегда и суждено — любить и терять, — и все лишь для того только, чтобы потом творить из этого искусство?.. Простите, у вас закурить не найдется?

Художник Корбюзьевич машинально протянул псу пачку «Примы». Подкурился от тлеющих углей, пес глубоко затянулся несколько раз подряд, выпуская дым через ноздри.

— В конце концов, я ничего не имею против кролей, — сказал он, бросая окурки в догорающий костерок. — Наверное, они тоже нужны. Хотя, видит Бог, я не знаю, на кой черт нужны именно кроли! Но раз уж они существуют в природе, значит, так тому и быть. Живут же на земле, помимо собак, и крокодилы, и скунсы, и хорьки. Или взять, к примеру, тех же крыс... — и пес так пристально посмотрел на художника Корбюзьевича, что того даже в пот бросило. — Царства рухнут, цивилизации уйдут в небытие, а мерзость эта будет жить и плодиться, уверяю вас! В чем тут смысл — не знаю. Но так уж устроен мир... Кстати, вы читали «Науку любви» Овидия?

Художник Корбюзьевич растерянно замотал головой.

— Напрасно, сударь мой! Старик знал в этом деле толк, уверяю вас. «*Ut ameris, amabilis esto*», — писал он. «Чтобы тебя любили, будь достоин любви».

— Может, это просто была не ваша женщина... То есть, я хотел сказать, не ваш заяц, — задумчиво предположил художник Корбюзьевич, он все еще никак не мог выбросить из головы жуткую бабу Кварту с ее крысиным царством. — Но я почему-то уверен, вы еще найдете именно своего зайца — единственного, предназначенного вам судьбой.

— Вот еще! — неожиданно вспыхнул пес. — Вы что же, полагаете, я помешан на зайцах? Я — пес Петров! И, клянусь небом, нет на свете больше никаких зайцев, кроме трамвайных и плюшевых! Все! Баста! Как сказал все тот же старик Овидий: «*Quod petis est nusquam*» — «Того, к чему стремимся, нет нигде».

— А я вот всю жизнь искал любви идеальной, но почему-то находил ее только в самом себе.

— Истинная правда, — примирительно согласился пес Петров, прикладываясь к бутылке художника Корбюзьевича. — Только в самом себе. Так и должно быть.

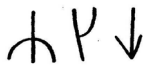
Долго еще сидели они у догорающего костра, храня молчание и думая каждый свои думы.

«Она еще вернется! — услышал художник Корбюзьевич; костер вспыхнул ярким пламенем, и столб огненных искр взметнулся к ночному небу. — Обязательно вернется!» Он поднял глаза. Перед ним стоял пес Петров, но совершенно преображенный: в стальных рыцарских доспехах, с букетиком незабудок на груди, и хвост его в свете костра блестел и переливался чистым серебром, и в глазах его отражались далекие звезды. И звали его уже не Петровым, а Сириусом. «Она вернется. Это я тебе как художник художнику говорю», — сказал пес Сириус. Он тихо присвистнул, и из темноты на свет разбушевавшегося костра выступили еще двое — Гермогенов и Классик! И облачены они были в херувимски-радостные цвета. Художник Корбюзьевич узнал их сразу. Даже несмотря на то, что звали их теперь Адорнасом Сквелекейлой и Адуляром. «Ты возложил свою любовь на жертвенный костер, — молвил Адуляр. — Пройдя сквозь пламя боли, она узнала, что значит быть живой». — «Героям слава!» — воскликнул пес Сириус, ударяя мечом по щиту. Адуляр кивнул и продолжал: «Ты одержал победу. Ты победил смятение и страх. Ты жил, будучи мертвым. И вот призраки ушли, рассеялась тьма. Огонь изначальный вновь торжествует». — «Осталось малое, — сказал Адорнас Сквелекейла. — Переверни знаки. Пусть в них запечатлеется то, что уже свершилось...» — «Как хорошо, что ты жив! — радостно воскликнул художник Корбюзьевич. — А я... Кажется, я сжег твой дом... И музыку тоже... Прости меня! Прости!» — «Пустое, — последовал ответ. — Ты не виноват. Просто саламандры возвращаются в город». В ту же минуту костер погас, и все вокруг поглотила ночь...

... Художник Корбюзьевич проснулся с первыми лучами солнца. Одежда на нем отсырела, и сам он продрог. Пса Петрова-Сириуса нигде не было видно. И если бы не букетик незабудок, голубевший в мокрой от росы траве, то можно было бы подумать, что все от начала и до конца ему пригрелось.

Всю дорогу домой художник Корбюзьевич размышлял над случившимся. В особенности над словами Гермогенова, или

Адорна Сквелекейлы, как теперь его звали: «Переверни знаки». Какие знаки? О чем это он?.. Войдя в мастерскую, он первым делом отыскал партитуру, подарок Гермогенова, и долго сидел, склонившись над ней в задумчивости. «Музыка Руны»... Она тут же ожила в его памяти. Корбюзьевич встряхнул головой и сделал жест рукой, будто хотел отринуть, отвести от себя звучащую музыку. Нет, едва ли Гермогенов говорил о нотных знаках: тут нечего «переворачивать». Корбюзьевич встал, прошелся по мастерской вперед, назад. «Да и зачем ему было говорить мне о нотах, зная, что я ничего в них не смыслю!» — логически рассуждал он. Взгляд его упал на картину, накрытую покрывалом. Он сбросил покрывало на пол и уставился на музицирующего Гермогенова. «Ну же, скажи мне, скажи, что это за знаки такие?!» Как это ни странно, ответ пришел сам собой. Художник Корбюзьевич круто развернулся: под старым раскидистым дубом его возлюбленная все так же обнимала за шею прекрасного белоснежного единорога, и оба они улыбались ему. В нижнем левом углу картины темнели три рунических знака цвета запекшейся крови:



Он схватил бутылку с растворителем, губку, мастихин. «Музыка Руны» зазвучала громче. Запах растворителя, быстро разлившийся по мастерской, стал подобен благоуханию цветущего сада, и на своем лице художник Корбюзьевич ощутил мимолетное прикосновение ветерка, или крылышек мотылька, или поцелуя. И столь же легки и полны любви были движения его кисти.

Он закончил так же порывисто внезапно, как и начал. Три новых знака цвета лунного серебра мерцали в нижнем левом углу картины:



Художник Корбюзьевич стоял неподвижно, не отрывая глаз от рунических знаков. В наступившей тишине он услышал скрип двери. Он не обернулся. Закрыв глаза, с замирающим сердцем, он слушал, как приближаются шаги...

...И небеса необъятные полнятся ясным светом, и золотом солнце горит, и блещет серебром благородным луна, и звезды переливаются как сапфиры чистой воды, и в озерах и реках вода оживает и оживляет мертвых, и высохшие черные леса покрываются юным цветом, и из имен опустевших, порожних вновь прорастают белые розы, и раскрываются их бутоны навстречу розе ветров, и нет больше капканов и волчьих ям, нет обманных троп и дорог в никуда, и люди и звери говорят на одном языке, родном и изначальном, и радость их безгранична...

Дверь распахнулась. На пороге стоял художник Худобед с бутылкой портвейна в одной руке и «Киевским тортом» в другой.

— Есть шикарный заказ! — выпалил он радостно. — Для Хлебсолпрома. Специально для тебя берег. Ну, чего стоишь столбом? Показывай, где тут у тебя стаканы?..

КНИГА КОРОЛЕВЫ

ПОЛКОВНИК ФЕРАПОНТОВ

I

Выбравшись из астенической залы, путники проскользнули в какую-то старенькую триумфальную арку с корявой надписью на портике: «Ферапонтов и Кутузов были тут!» и очутились в каком-то бесконечно длинном коридоре с множеством комнат по обе стороны. Недолго думая, Вялый Горбун вместе с Фургоном пустился вскачь по этому коридору, нигде не останавливаясь и никуда не сворачивая. Время от времени навстречу попадались дородные коридорные в декорированных мундирах. В руках они держали неизменные свои атрибуты: фонарики «летучая мышь» и увитые яркими лентами метелки из страусовых перьев. С важным видом они салютовали проезжавшим мимо путникам, затем под жужжание фонариков засекали время на своих карманных часах и тут же, зажав метелки под мышкой, что-то отмечали в своих больших коридорных книгах. Бывало, на каком-нибудь особо важном квадравиуме¹ они поднимали полосатый шлагбаум, пропуская путников дальше, а пропустив, тут же опускали его, испытывая от этого процесса огромное наслаждение.

Внезапно Фургон сделал остановку возле старого дуплистого дуба, который рос прямо из дубового паркета на перекрестке двух коридоров. На его ветвях едва пробивалась несмелая, похожая на грезу, поросль. Дуб был так стар, а поросль так легка и молода, что, казалось, оба они жили каждый своей жизнью, один другого не замечая, не понимая и не помня.

Янка погладила ладонью его шершавую кору и, посмотрев ввышину, на его не обжитые птицами ветви, прижалась к стволу щекой... но тут же отпрянула: у самых ее глаз торчали вбитые в ствол медвежьей челюсти с пожелтевшими от времени клыками.

— Ой! — Янка попятилась назад.

¹ Перекрестке (*лат.*).

— Вам нечего бояться, княгинюшка, — сказал г-н Архивариус; он почтительно снял с головы свой ученый колпак и поклонился дубу. — Князь почивает.

— Он такой одинокий, — сказала Янка.

— О, это Дуб Перуна, властелина грома и молнии и покровителя военных дружин. Говорят, лучше его не будить.

И далее г-н Архивариус сообщил, что дуб был посажен в Замке к очередному юбилею Полковника Ферапонтова.

— Вы же знаете, княгинюшка, сколь могучую слабость питает наш Генералиссимус ко всему, что связано с воинской доблестью. Или, так сказать, с *testimonium virtutis*¹. А этот дуб не просто свидетельство, он — самое прямое ее воплощение. Ах, видели бы вы, в какой великолепной обстановке происходило Торжественное Посаженье! От избытка чувств Полковник Ферапонтов впервые прослезился и даже забыл наградить себя юбилейной медалью... Да, очень жаль, что вы не успели, — ведь это было совсем недавно.

— Недавно? — изумилась Янка. — Когда же он успел так вырасти?

— О, я совсем забыл вам сказать! Дуб уже таким и вкопали.

— Ах, вот оно что!

— Ну да! Все началось полгода назад, когда в городе по приказу Администрации проводилась профилактическая расчистка фарватера Днепра, простите за протокольный стиль изложения.

— Ничего, продолжайте, господин Архивариус, я так устала от поэтических речей несметных стихоплетов, что теперь даже получаю удовольствие.

— Так вот, княгинюшка, во время расчистки фарватера некий капитан Петькун совершенно неожиданно обнаружил десятиметровый ствол, который много веков пролежал на дне реки и весил что-то около шести тонн. В Замок этот великан попал по чистой случайности: его перетащил сюда Магнус Брюзга, который по поручению герцогини Эсклермонды в то время руководил секретным сбором и заготовкой дров для замковых каминов на зиму. Ночью-то, — а дрова собирались исключительно после захода солнца, — Магнус не разглядел, что за трофей подвернулся ему под руку. Он его — хват! — вскинул на плечо и понес. И только уже в Замке, при свете Луны, все и обнаружилось. Увидев Дуб Перуна, Полковник Ферапонтов от счастья чуть не сошел с ума, он прыгал и скакал вокруг него, как дитя малое, и на радостях даже

¹ Свидетельство о доблести (*лат.*).

произвел капитана Петькуна сразу в адмиралы. Оно и понятно! Ведь когда-то, в седую старину, вокруг города такие вот деревья-богатыри охраняли каждый перекресток. И наше — наверняка бы погибло, если бы не Петькун и чудесное стечение обстоятельств. А теперь, — посмотрите, княгинюшка, — теперь оно даже зазеленело! Видите, какие нежные листочки?..

— Но скажите, любезный господин Архивариус, все же как могло случиться, что дерево, так много лет пролежавшее на дне реки, зазеленело?

— Из чувства благодарности, княгинюшка, из чувства благодарности. Я в этом уверен. Да-с.

Путники тронулись дальше, а г-н Архивариус еще долго и взволнованно рассуждал о чувстве благодарности, изредка с укоризной поглядывая на г-на Филина, о любви и о тех чудесах, которые творятся их и только их силою. И сила эта присуща не одному лишь человеку, который осознал себя вершиною Творения, но при этом почему-то пренебрег чувством ответственности за свое высокое положение, — сила эта присуща и всему, что наполняет Мироздание.

— Воистину, друзья мои, нет в нашем мироздании бóльших варваров, чем мы, люди! — возглашал г-н Архивариус, не замечая, с каким чувством удовлетворения г-н Филин кивает головой. — Своей жестокостью и неумолимостью они поработили не только друг друга, но и животных, и растения, и камни... Вот свежий пример. Почти год назад многострадальный народ гиацинтов попытался обосноваться на озере Тельбин, что на Березняках. Но, как и следовало ожидать, местное население, погрязшее в биологическом эгоизме, не пожелало терпеть превосходящего его по красоте соседства и объявило гиацинтам беспощадную войну. Был даже построен целый флот из плоскодонных лодок, на которых наемники из безработных люмпенов, вооруженные баграми, бороздили озеро Тельбин вдоль и поперек. Они вылавливали грубыми железными крючьями хрупкие цветы и листья, а затем отправляли их в специально построенные лагеря, где Божественную красоту перерабатывали в обыкновенный компост.

— Но как же так?! Неужели за гиацинтов некому было заступиться?

— Ну почему же, заступник нашелся. Разумеется, это был Полковник Ферапонтов. Он даже войско собрал и уже высадился с ним на Левый берег Днепра, за тридцать земель, на далеких Березняках... Но увы! Опоздал.

— Какой ужас!

— Да, княгинюшка, это ужасно. Но винить Генералиссимуса в этом нельзя, поскольку всем хорошо известно, кто был истинной причиной опоздания.

— Кто же?

— Черный Альгакобилла — вот кто! Тот самый, кто обманым путем захватил наш Волшебный Изумруд и с его помощью чуть не разрушил Замок и нашу великолепную жизнь. В тот момент ему даже удалось на какое-то время изменить гравитационное поле Глобуса Киева, так что Полковник Ферапонтов со своими воинами просто не в силах был с ним справиться. А когда ему это все же удалось и он добрался до места, то увидел страшную картину. Большая часть народа гиацинтов была либо истреблена прямо в озере, либо уничтожена в лагерях. Удалось лишь отбить еще державшегося из последних сил короля гиацинтов Виолета VI с небольшим отрядом. К сожалению, король Виолет вскорости увял на руках у доблестного полководца. Зато юный наследник престола, будущий Виолет VII, по прозвищу Спасенный, и все оставшиеся в живых были переправлены к нам в Замок, для них даже специально построили просторный водоем с фонтанами и зелеными островками. Там они и живут теперь под временным регентством Цакиролы.

— А почему не Старого Садовника? Ведь он как-то ближе к цветам.

— Он не может надолго оставлять свой Сад. А регентство — дело серьезное, если не сказать нудное. Иногда — пожизненное. Кстати, должность эту предлагали и Полковнику Ферапонтову, тем паче что все гиацинты очень того желали. Но наш герой вежливо отказался от столь блестящей должности: он был так раздосадован, так рассержен на скромные, как он считал, результаты своей военной кампании, что сразу по возвращении домой в первый же день лишил себя трех десятков орденов и сотни медалей, а на другой день, сорвав с себя все погоны, разжаловался в рядовые солдаты сроком на один год, и все это время нес изнурительную караульную службу, сутками напролет маршировал по плацу, чистил картошку на Замковой Кухне, драил полы и стоически выполнял самые бессмысленные приказы и поручения, какие только мог для себя измыслить.

— Какая грустная история, — прошептала Янка, чтобы не услышал Вялый Горбун, а сама достала батистовый платочек и промокнула мокрые от слез глаза. — Как я им всем сочувствую! И королю Виолету, и гиацинтам, и Полковнику Ферапонтову!

— О, относительно Генералиссимуса будьте покойны! — воскликнул г-н Архивариус. — Он теперь озабочен новыми планами и в преддверии их осуществления все время ходит строем: ать-два, ать-два!..

— Угу! Чем он озабочен? — всполошился г-н Филин, который не заметил, как уснул над своими манжетами, и теперь в некоторой растерянности хлопал глазами.

— Генералиссимус собирается в новый военный поход. На сей раз — в Пуцу-Водицу.

— Угу, ну это понятно, — компетентно заявил г-н Филин. — Что-то слишком давно там не было войны. Угу? А наши геополитические интересы требуют...

— Какой же вы кровожадный, господин Филин! А я и не знала.

— Послушайте, дражайший, — рассердился г-н Архивариус. — Запомните раз и навсегда: границы ваших геополитических интересов ограничены площадью обыкновенной манжеты. Так что извольте!

— Угу, — насутился ученый секретарь, но перечить не стал.

II

Добравшись до очередного перекрестка, Вялый Горбун остановился в нерешительности.

— Почему стоим? — спросил г-н Архивариус, высунувшись из окна Фургона.

Дорогу пересекали рельсы. Шлагбаум был опущен, и будка коридорного пустовала.

— Что случилось, Горбуша?

Вялый Горбун развел руками и отошел в сторонку спокойно поплакать.

— Безобразие, — пробурчал г-н Архивариус. — Где коридорный? Господин Филин, вы что-нибудь видите?

— Угу, вижу! — сообщил ученый секретарь, который уже был на крыше Фургона. — Вижу рельсы!

— Рельсы я и без вас вижу! — сквозь зубы процедил г-н Архивариус.

— Здесь что, ходят трамваи? — спросила Янка.

Продолжая что-то ворчать, г-н Архивариус вылез из Фургона. Он подошел к рельсам и окинул их широким взглядом справа налево. Это была старая, побитая ржавчиной узкоколейка, по которой если и могло осуществляться хоть какое-нибудь движение, то только в прошлом веке и только в одну сторону.

— Угу, что-нибудь видно? — спросил г-н Филин с крыши Фургона.

— Ни гу-гу! А вам?

— Вы же уже спрашивали! И я вам ясно ответил, что вижу рельсы...

— Ах да, действительно! — согласился г-н Архивариус, и, встав на колени, приложился ухом к рельсу. — Ага! Что-то едет...

— Едет? — забеспокоился г-н Филин. — А где же коридорный?

— Я и сам хотел бы это знать, — задумчиво сказал г-н Архивариус, направляясь к будке; над ее входом безжизненно висел давно не чищенный колокол.

Уже слышался монотонный перестук колес. Г-н Архивариус три раза ударил в колокол. В колоколе оказалась трещина, и звук получился довольно странный.

Перестук колес становился все громче, и через несколько минут в дальнем конце коридора показалась дрезина с каким-то человеком на борту. Дрезина быстро приближалась.

— Может, это коридорный возвращается? — предположила Янка.

— Бросил пост, и променады на дрезине себе устраивает! — возмутился г-н Архивариус. — А если бы здесь шел враг, что тогда?

— Угу! Надо устроить ему хорошую взбучку!

— Вот вы и устройте, господин Филин.

Поравнявшись с будкой, дрезина со страшным скрежетом затормозила, так что из-под колес брызнули искры, и остановилась. Громко бранясь и чертыхаясь, из нее вылез человек и, опираясь на костыли, сделал несколько шагов навстречу застывшим в растерянности путникам. Человек имел ярко выраженную военную выправку и, несмотря на костыли под мышками, перебинтован-

ные руки и ноги, и даже голову, держался весьма браво. Из-под бинтов хорошо видны были два горящих мужеством глаза и длинные, свисающие до пола, усы. На боку болтался внушительных размеров палаш, за спиной — сарбакан¹, в левой руке он сжимал протазан², а в правой — знамя на коротком древке. Поскольку этот вояка с головы до пят был в гипсе и бинтах, из одежды на нем оставались только железная калотта³, римские сандалии и нечто вроде кольчуги из орденов и медалей. Короче говоря, великолепное зрелище — старый солдат!

— Это что еще за новости-хреновости? — простуженным голосом прохрипел он.

Путники уже догадывались, кто перед ними. Догадка не замедлила подтвердиться:

— Стоять! Руки вверх! Пароль?! Кто такие?! Куда следуете?!

Друзья не знали, на который из вопросов следует отвечать в первую очередь. Находчивей всех оказался г-н Архивариус. Он лихо взял под козырек, которого на его ученом колпаке отродясь не бывало, и по-военному четко доложил:

— Проверено, мин нет, ваше высочородь!

Но Полковник Ферাপонтов (а это, само собой разумелось, был он) его даже не заметил. Подковыляв к отряду, он мимоходом шлепнул на грудь г-на Архивариуса какой-то мудреный орден в виде белого финифтяного креста на красной ленте с желтыми полосками и белыми кантами.

— Доложите обстановку, — обратился он почему-то к г-ну Филину, который нервно потирал манжеты цвета хаки.

— Я... да я... — пролепетал ученый секретарь.

— Что вы там мямлите?! — взревел Полковник Ферাপонтов.

— Я это... как его... доложить хотел, угу...

— Ну так докладывайте!

— Так точно!

— Не понял...

— По пути нашего следования никакой подозрительности не замечено!

¹ Сарбакан — духовой самострел XVI века.

² Протазан — копьё с топориком (род алебарды или бердыша).

³ Калотта — небольшая железная шапка, которую носили немецкие и швейцарские пехотинцы в XVI—XVII веках, под беретами и шляпами из сукна или войлока, с украшениями из больших перьев.

— Вольно. Только не мешало бы побриться, солдат. Зарос как сова.

— Угу, это для маскировки, — нашелся г-н Филин. — Я лазутчик, угу.

— Вижу, что не гренадер.

И, опершись на костыли, Генералиссимус принялся разглядывать «лазутчика» в большой полевой бинокль. Насмотревшись, он рывком сорвал со своих бинтов какую-то первую попавшуюся медаль и уже хотел было приколоть ее на дрожащую грудку г-на Филина, но внезапно передумал: он всегда недолюбливал лазутчиков, ибо перед военной хитростью отдавал предпочтение военной доблести. Взгляд его упал на Янку.

— Пианистка?

— Вообще я немного играю на фортепьяно, — скромно ответила Янка.

— Кого? — не понял Генералиссимус.

— Ну... Шопена... Могу Шумана и Моцарта.

— Что-то я таких радиопередатчиков не знаю. А вообще-то, дамочка, вам бы сидеть дома и шерсть прясть, и не соваться в мужские дела.

Тут подскочил г-н Архивариус:

— Разрешите представить, ваше высокородие. Это наша княгинюшка.... То есть я хотел сказать — Ее Высочество Принцесса Янка!

Полковник Ферапонтов мгновенно изменился в лице. Сначала оно побледнело, потом покраснело, усы взвились в воздух и завили в крылатом положении. Он отбросил костыли, рыцарственно склонил голову, с которой, будто котелок, с грохотом свалилась его железная калотга, щелкнул каблуками, будто на балу, и тут же, громко звякнув орденами и медалями, плашмя рухнул на пол. Увы, никто не успел подхватить старого воина.

Пока рыдающий Вялый Горбун и насмерть перепуганный г-н Филин поднимали и ставили Генералиссимуса на костыли, Янка спросила г-на Архивариуса:

— Вам не кажется, что следовало бы сделать наоборот?

При этих словах полководца тут же бросили на пол.

— Ох!..

— Да нет же! Я хотела сказать, что по этикету сначала надо было представить не меня Генералиссимусу, а Генералиссимуса мне.

Полководца снова вернули в стоячее положение.

— Ах, простите, простите старого дурачину! — запричитал г-н Архивариус. — Я совсем не подумал!

— Трое суток ареста! — постановил Полковник Ферапонтов, срывая с груди г-на Архивариуса ранее врученный орден. — Не подумал! Не подумал! Что тут думать, разрази меня гром! Я вот вообще никогда не думаю, сразу беру и действую. Потому что, если я думаю, то получается полная хрень, ать-два!

— Ну что вы, Генералиссимус, — возмутилась Янка. — Это слишком строгое наказание. Немедленно отмените арест и верните орден.

— О, ничего страшного, — смущенно улыбаясь, заискивающим тоном сказал г-н Архивариус. — Не надо ордена, мне и так хорошо.

— Угу! — не преминул вернуть г-н Филин. — Он согласен на медаль!

— Как прикажете, сударыня! Для человека военного желание дамы — закон.

И Полковник Ферапонтов приколол к груди проштрафившегося г-на Архивариуса помимо прежнего ордена еще и медаль, предназначавшуюся г-ну Филину.

Г-н Архивариус покраснел, Вялый Горбун вскрикнул, Янка рассмеялась, а ученый секретарь вздохнул с облегчением, так как его узкая, покрытая нежными перышками грудь была спасена от острой застезжки.

Исчерпав таким образом конфликт, друзья стали устраиваться на ночлег. Видя такое дело, Полковник Ферапонтов быстро оправился от ран, забросил костыли в дрезину, разбинтовался и предложил свои услуги в разбивке лагеря, что было с радостью принято. Облачившись в парадный мундир и надев новенькие шпоры, он для начала, по всем правилам кастраметации, внимательно, шаг за шагом, обследовал местность и ее окрестности в виде пустых комнат, холлов и предбанников, затем составил подробный план лагеря, нашел людей и временно завербовал их на дозорную службу.

Пока в одной из самых больших комнат рылись рвы, возводились ряды колючей проволоки и ставились противотанковые ежи, Генералиссимус сообщил друзьям, что при возведении лагеря он обычно вдохновляется видом картин господина Кверфурта, таких как «Лагерь», «Сцена из военной жизни» и «Купание лошадей».

— «Купание лошадей» — моя любимая картина! — заявил Полковник Ферапонтов приказным тоном и как-то странно посмотрел на Вялого Горбуна; потом он долго ходил, позвякивая шпорами, и в задумчивости крутил правый ус, пока левый волочился за ним следом.

— Угу, сумрачен, словно грозовая туча, — вполголоса бросил г-н Филин г-ну Архивариусу.

— М-да, что-то мается наш Генералиссимус, места себе не находит.

В конце концов бравый воин не выдержал и обратился к Янке с такими словами:

— Сударыня! Могу ли я просить вас об одном пустяковом одолжении?

— Конечно, прошу вас, Генералиссимус.

— Благодарю вас! — Полковник Ферапонтов снова щелкнул каблуками, а г-н Филин закатил глаза, всем своим видом показывая, как ему надоели эти гусарские щелканья.

— Как вы помните, сударыня, я уже имел честь доложить вам, что при построении лагеря я обязательно вспоминаю мою любимую картину «Купание лошадей», которую специально в мою честь написал мой старый приятель Август Кверфурт.

— Если я вас правильно поняла, Генералиссимус, вы хотели бы повесить вашу любимую картину в этой комнате? Но, право, я не представляю, как вы это сделаете, ведь здесь повсюду гобелены с видами альпийских лугов и лесов. Получится некрасиво...

— Не извольте беспокоиться, сударыня, гобеленов и других чудовищ я прогоню в два счета! Пустяк, о котором я прошу, совсем иного рода. Речь идет о лошадях.

— Вот как?

— Точно так-с. Но вот именно их, ать-два, мне чертовски и не хватает. Я просто места себе не нахожу, картечь мне в брюхо! — Полковник Ферапонтов снова щелкнул каблуками.

— Но чем же я могу вам помочь? У меня тоже нет лошадей. Мы сами пользуемся услугами господина Вялого Горбуна...

— Вот именно! И я о нем же, сударыня!

— Вялый Горбун? Вы шутите, Генералиссимус? Он же не лошадь!

— Виноват-с... Но я думал... то есть я не думал, что... Гм... Сударыня, я человек без обиняков и терпеть не могу всякие там

экивоки. А посему готов руку отдать на отсечение, что ваш Вялый Горбун как две капли воды похож на моего бывшего мерина, который, к сожалению, вышел в отставку по состоянию здоровья. А то, что у него нет такого хвоста, так это не умаляет остальных выдающихся достоинств. Взгляните сами! Какие копыта, какие крутые бока! А голова, а зубы! Отменный скакун! Нет, вы взгляните...

— Так в чем же, собственно, состоит ваша просьба?

— О, сущий пустяк, сударыня! Я хочу, чтобы мои люди его искупали. Это меня вдохновит. — И Полковник Ферапонтов звонко пошлепал Вялого Горбуна по крупу. — Ать-два! Да он же весь в мыле!.. Эй, кто намылил коня без спросу?!

Тут, волоча за собой длиннющую пику, притащился какой-то плюгавый волонтер и браво прокричал:

— Я намылил, господин фельдмаршал! — и он протянул Генералиссимусу кусок хозяйственного мыла.

— Молодец, сынок! По глазам вижу — земляк. Откуда родом будешь?

— Не могу знать, господин фельдмаршал!

На минуту Полковник Ферапонтов задумался, словно вспоминая, где это «не могу знать» находится.

— Ну все равно, — мирно сказал он. — С сегодняшнего дня будешь земляком. Вот тебе медаль, земляк, и никогда больше не называй меня фельдмаршалом — я этого не люблю. Понял?

— Так точно!

— Ступай, земляк.

Волонтер потащился назад, в лагерь.

— Ну хорошо, — согласилась Янка. — Если господин Вялый Горбун не будет против, можете его искупать. Да и в самом деле, не ходить же ему теперь намыленным.

Вялый Горбун открыл было рот, но оттуда беззвучно выскользнул большой мыльный пузырь необычайной красоты. Светясь и переливаясь в лунном сиянии, он плавно полетел под потолок.

Пока огромную эмалированную ванну наполняли водой, волонтеры уже разводили костры и подвешивали над огнем котелки с солдатской кашей, из чего следовало, что лагерь начал функционировать по-настоящему.

III

Путники расположились вокруг костра. Из Фургона извлекли все подушки и перины, какие только имелись в багаже. Полковник Ферапонтов разлежся на постеленной прямо на полу шинели, закурил самокрутку и, наслаждаясь купанием Вялого Горбуна, неспешно повествовал спутникам о своем героическом прошлом. О том, как когда-то вместе с Тразибулом освобождал от тиранов измученные Афины и отговаривал крестоносцев в 1244 году принимать бой при Газе, а те, не послушав его, были разгромлены султаном Эйюбом, ать-два! А еще о том, как помог Люцию Македонскому разбить войска царя Персея при Пидне и как впервые применил каменные ядра при обороне англичанами Гибралтара...

— А правду говорят, Генералиссимус, что вы любите разные игры? — полюбопытствовала Янка.

— Это уж точно, сударыня.

— А какие?

— О, это зависит от партнера: со штатскими — одно, разрази их гром, а с военными — совсем другое, ать-два!

— Вот как! Интересно, в какие же игры вы играете со штатскими, разрази их гром?

— Да во всякие... Вот, например, с одним аргентинским писателем, сеньором Саркатаром, в Париже мы играли в классики. Прыткий он малый, доложу я вам. Но у меня координация движений гораздо лучше. Так что, когда я обставил его раз десять подряд — сначала на Монмартре, потом в Латинском квартале, а под конец на острове Ситэ, — он так возненавидел Париж, что, даже не попрощавшись, укатил обратно в Буэнос-Айрес. И мешки свои с цветными мелками бросил. Представляете?! А еще с господином Гессе, тоже писателем, мы поигрывали в бисера́. Ну это что-то вроде составления кроссвордов. Уж такая заумная игра, такая нудная! И Гессе этот такой дотошный — типичный австрияк! Откровенно говоря, я его чуть не зарубил шашкой — так он меня достал... А Хейзингу знаете? Нет? Тоже чего-то там написал... Ну не важно. Чудной такой: сам вроде как мужчина, а фамилия женская, разрази меня гром. И зануда редкий! Вместо того чтобы играть, все лясы точит и точит. Я ему говорю: «Ну давай, давай хоть в дурака перекинемся!», а он мне все про античные традиции или про детей. Я с ним чуть умом не тронулся... А еще как-то с това-

рищем Терешковой в резинки играли. Надо сказать, дама она прыткая, ать-два! Я хоть тоже не лыком шит, но резинки эти мне скоро осточертели, и мы с Серегой, в смысле с Пальчем, чуток посоветовавшись, решили запустить ее в космос. А теперь она вон какая стала — и не подступись!

— Разрешите обратиться? — спросил г-н Архивариус.

— Обращайтесь.

— А в чем, так сказать, специфика ваших игр с военными?

— Ну, тут совсем другой коленкор, ать-два! Вот, к примеру, помнится, как-то раз взял я в плен графа Стенгопа. Было это, кажется, под Бринхуэгой... Да, так точно-с, под Бринхуэгой. В общем, я любезно предложил ему свою двуколку. Дорога в Париж, куда я конвоировал графа, была не близкой, ну так чтоб не очучиться со скуки, играли мы в оловянных солдатиков. Я, конечно, был солдатиком, а сэр Стенгоп — оловянным. Ох, и презабавно же получалось, доложу я вам! Особливо когда граф становился серым, тяжелым и мягким... А то, бывало, мы с ним еще подшучивали над конвоем, учиняя всякие тайные побегі пленника, — причем сэр Стенгоп был пленником, а я — тайным побегом. Ну а когда я переставал быть побегом и возвращался в двуколку, то описывал ему во всех красках, как там, на вольной волюшке. Граф все слушал и слушал очень так внимательно, а потом начинал плакать. «Не вешайте носа, приятель, — успокаивал я его. — Завтра еще один тайный побег организуем». Правда, и эта потеха мне вскорости приелась, потому как я, — о чем, кстати, писал даже историк Манфред, — терпеть не могу всех этих тайн и околичностей. Если уж побег — так открыто, как оно и положено человеку прямолинейному, в лучшем смысле этого слова! А тут, вдобавок, на шум, пальбу и нормальную воинскую брань, которыми мы отменно сопровождали игру, вместе с конвоирами сбегалось и все местное крестьянство в надежде поглазеть и, если повезет, принять посильное участие. К несчастью, моих тайных побегов эта деревенщина так и не увидела, а вот виноградные побегі затоптала, разрази меня гром!.. В общем, Стенгоп мой оказался совсем даже неплохим парнем, и мы с ним так разыгрались, что ехали лет десять да, к тому же, в противоположном направлении, в лучшем смысле этого слова. Короче, увлеченные играми, мы и не заметили, как миновали Мадрид, Антверпен, где я, между прочим, когда-то с герцогом Пармским играл в огненные антверпен-

ские кораблики, и проскочили, собственно, Париж. Затем пересекли Ла-Манш, — я и по сей день, хоть ты тресни, не помню, на чем мы его пересекли! — а к осени тысяча семьсот восемнадцатого года добрались до Лондона. Вот и получается, что неизвестно, кто кого конвоировал: я Стенгопа или Стенгоп меня, разрази меня гром! Кстати, именно в Лондоне сэр Стенгоп под мою диктовку руководил составлением трактата о так называемом «четверном союзе».

Полковник Ферапонтов помешал штыком кашу в котелке, потом стал водить носом туда-сюда, принюхиваясь к ее запаху, и вдруг как заорет во все горло, словно под артобстрелом:

— Эх, чуть было не забыл! Где-то в тысяча семьсот тринадцатом мы с моим пленником проезжали мимо Теннингена. А там — Северная война в полном разгаре! Честно говоря, я и так на дух не выношу все эти северные войны с их промозглыми ветрами и морозами — ни тебе искупнуться в море, ни на солнышке позагорать, — а тут еще этот шведский фельдмаршал Стенбок вел бой против русских, саксонцев и датчан. Что вам сказать, господа! Большой скуки и тяготины мне еще не доводилось видеть: атаки вялые, невыразительные, без огонька, солдаты только и думают, как бы согреться, потому и палят из мушкетов и аркебуз черт знает куда, лишь бы погромче, и все по бокам себя хлопают, ногами топают — кровь, значит, в членах разгоняют... А сам этот фельдмаршал Стенбок, будто медведь, в спячку впал: сидит в своем ледяном штабе, сосет лапу и движения у него все такие квелые... В общем, совершенно отмороженный полководец.

Как раз в это время мы с моим пленным Стенгопом в жмурки играли. В смысле, я играл, а граф был жмуркой. И пока я играл, бедняга от холода чуть не окочурился. Ну, сами понимаете, настроение у меня мерзопакостное, в худшем смысле этого слова, к тому же разозлил меня этот Стенбок со своей замерзшей Северной войной. Так я попутно и фельдмаршала в плен прихватил, чтоб как-то положить край этому безобразию. Маленько, правда, подзамёрз, потому как прихватывать пришлось голыми руками. Потом вручил его союзникам, — пускай порадуются! Хотя, по правде говоря, сделал я это не из большой любви к союзникам, просто присутствие в моей двуколке сразу двух пленных доставляло мне массу неудобств: во-первых тесно, а во-вторых, я посто-

янно путал Стенгопа со Стенбоком, чем они оба частенько пользовались в своих личных интересах. И то одному чаю с кардамоном подай, то другому — шампанского со льдом. Совсем обнагле-ли! Я бы и сам так в плену не дурак отдохнуть, да только, вы же знаете, полковник Ферапонтов в плен не сдается: чуть что — пулю себе в лоб и был таков...

— Угу, пулю золотую? — поинтересовался г-н Филин.

— Зачем золотую? Резиновую, конечно! Золото у меня на ордене идет. А однажды, зная мою слабость к забавам, эти бестии предложили мне одну новомодную англицкую игру под названием крикет. Я тогда о ней и не слыхивал. Так вот, воспользовавшись моим невежеством, в лучшем смысле этого слова, они распределили роли следующим образом: шведский Стенбок был то ли бойлером, то ли боулером, и бросал мяч, а англичанишка Стенгоп — то ли скаутом, то ли скутером, который, значит, этот мяч останавливал, после чего противник сбивал этим мячом перекладину ворот. Вот ведь черти, какую подлость замыслили!

Тут Полковник Ферапонтов умолк, приуныл, мысли его застряли где-то в далеком прошлом.

— Прошу прощения, — вкрадчиво потревожил его г-н Архивариус. — Насколько я понимаю, вы были в роли противника?

Полковник Ферапонтов отрицательно покачал головой.

— Неужели вы были воротами? — изумилась Янка.

— Не угадали, сударыня. — Генералиссимус покраснел от смущения, но честно признался: — Я был мячом... Разрази меня гром, ать-два! В жизни столько не летал! А поскольку так называемый противник был малый не промах, то перекладину на воротах я сбивал столько раз, что и со счету сбился. Вся голова была в шишках, потому как я каску не успел надеть. Ну да чего уж там! Дело прошлое, в худшем смысле этого слова... Только вы не подумайте, против англичан и шведов, как таковых, я ничего не имею. Скажу больше, в тысяча шестьсот тридцатом году я даже участвовал в великом походе Густава-Адольфа в Германию. Мы тогда крепко дружили с его полководцем графом Орталой, хоть у него и была женская фамилия. Ох и отменный был вояка, доложу я вам! Лет этак через десять он пошел на повышение, — ать-два! — чему в немалой степени способствовал лично я, и, помнится, именно тогда-то мы и задали добрую трепку немчуре: сначала под Лейпцигом, прямо во время ярмарки, а потом уже при Янкау.

После этих незабываемых побед мы с дружищем Леннартом придумали знаменитую «шведскую стенку» для дезертиров, а для отличившихся в боях — «шведский стол»...

Откровенно говоря, все эти «Ферапонтовы повести» друзьям изрядно поднадоели. Слушать долго их можно было только при двух условиях: либо из уважения к военному гению Генералиссимуса, либо от страха перед тем же гением. К счастью, вскоре подоспела каша, и в лагере был объявлен долгожданный обед. Извинившись, Полковник Ферапонтов отбыл проверять посты и заодно произвести смену караулов. Путники благоразумно решили его дожидаться, хотя и сильно проголодались. Запах каши был таким аппетитным, что ни о чем, кроме еды, невозможно было и думать. Друзья томно жмурились и вздыхали. Терпение их было поистине героическим и заслуживало орденов и медалей.

Наконец, под сухой треск барабанов и громогласное «ура!» всего лагеря, появился полководец. На всякий случай, он пару раз выстрелил в воздух из револьвера, — видимо, для острастки незримых врагов, — и снова уселся на свою расстеленную на полу шинель.

Насытившись, отряд впал в умиротворенное состояние. Весь лагерь лежал вповалку, дружным сопением отвечая на командный храп Полковника Ферапонтова, а от потухших костров к ночному потолку тянулись голубоватые струйки дыма. Всем снились затяжные позиционные бои, что было неизбежно, поскольку на командирских часах Генералиссимуса наступили *hora Martis*¹.

IV

На следующее утро, что в Замке было понятием условным, учитывая вечное полнолуние, Полковник Ферапонтов первым делом приказал палить из пушки в честь одержанной им во сне очередной победы. При этом он торжественно заверил весь личный состав, что неприятель разбит наголову и уже никогда не

¹ Часы суток, находящиеся под знаком Марса, а потому, в представлении древних римлян, наиболее благоприятные для дел, связанных с войной (*лат.*).

проснется. После этого в лагере начался всенародный праздник и ликование. Коренастые и кривоногие кавалеристы играли в чехарду, длинноногие пехотинцы — в салки, а ушастые связисты — в испорченный телефон. Что же до Полковника Ферাপонтова, то он схватил скакалку и на протяжении целого часа «лично» скакал от радости.

Увидев, что пугники собираются покидать лагерь, он мигом подскочил к ним и поинтересовался, куда они теперь направляются. Узнав, что в *Хронилице*¹ Главного Часовщика, полководец вызвался подбросить их вместе с Фургоном на своей дрезине. Но поскольку, как выяснилось, все в ней не поместились, был избран компромиссный вариант: к Фургону временно приладили поездные колеса и взяли его на прицеп. Состав повел Вялый Горбун, которого усадили в дрезину к механическим рычагам, а остальные, включая и самого Генералиссимуса, разместились в уютном Фургоне, который теперь внутри напоминал купе первого класса.

— Ах, какие у вас длинные усы! — воскликнула Янка; усы великого полководца, не поместившись в салоне, волочились позади Фургона прямо по шпалам. — Вы не боитесь?

— Я?! Ха!!! Еще не было такого случая, чтобы Полковник Ферапонтов чего-нибудь боялся! — и он вскинул наперевес здоровенный самострел, на стволе которого сверкала резная надпись: «Lazari Cominaz»².

— Ах простите, Генералиссимус, я не совсем точно выразилась! Я всего лишь хотела спросить, не опасаетесь ли вы, что ваши усы могут попасть под колеса или что вы как-нибудь случайно можете наступить на свой левый или правый ус, или даже сразу на оба, и упасть и разбить себе нос?

— О нет, сударыня! В этом смысле я совершенно спокоен. Если я атакую в пешем строю, то обворачиваю усы вокруг тела несколько раз и завязываю крепким узлом. А если я на коне, то усы развеваются за моей спиной, как победные стяги. Уверяю вас, великолепное зрелище!

¹ Слово, как видно из контекста, образовано от греческого «хронос» (chrónos), что подтверждается в дальнейшем (см. ч. II, Книга Королевы, «В Хронилице Главного Часовщика»). — *Примечание Издателя.*

² Клеймо Лазари Коминаццо (Cominazzo) — Лазари Старшего, из знаменитого семейства итальянских мастеров ружейных стволов конца XVI и XVII в., работавших в Брешии и Гордони; работал около 1620 года.

— Но, Генералиссимус, сейчас мы никого не атакуем.
— Вот именно, сударыня. А посему мои усы отдыхают.
— Угу! — как бы согласился г-н Филин. — Ничего подобного я еще не видывал.

— В каком полку состоите, юноша? — повернувшись к г-ну Филину, строго спросил Полковник Ферапонтов.

— Имею честь доложить, я штабной писарь! — отрапортовал ученый секретарь.

— Пороху еще не нюхал, молокосос, штабной грызун!

— Ха-ха-ха! — как-то очень неестественно рассмеялся г-н Архивариус.

Г-н Филин хотел гордо возразить, что никакой он не молокосос, ибо молочных продуктов в пищу вообще не употребляет, и уж тем более — не грызун, поскольку грызунов с клювами не бывает, — а самый натуральный Филин-клюван, но быстро понял, что с Генералиссимусом спорить бессмысленно и даже опасно, ибо, во-первых, у них абсолютно различные мировоззрения, а во-вторых, перо и чернила вряд ли могут противостоять смертоносному самострелу.

А доблестный полководец уже рассказывал историю о том, как благодаря этим великолепным усам его однажды пригласили в некое южно-итальянское селение, называвшееся, кажется, Монтомесоль, на Празднество Усов и Бород. Участников состязания разделили на три группы, в которых оценивались усы «природные», усы «мушкетерские» и усы «генеральские». Но каково же было негодование Полковника Ферапонтова, когда по прибытии на Празднество, он увидел всю эту любительщину! Если с «природными» усами все было ясно изначально, то среди тех, кто демонстрировал «мушкетерские» усы, не нашлось ни одного мушкетера, а среди носителей усов «генеральских» — не то чтобы генерала, но даже презренного ефрейтора или захудалого фельдфебеля! Перед глазами героя мельтешили все больше какие-то булочники, цирюльники, почтальоны и скотоводы, которые имели наглость ни с того ни с сего возомнить себя полководцами. Само собою разумеется, Полковник Ферапонтов наотрез отказался участвовать в этом балагане, позорящем честь мундира, которого он не снимает ни днем, ни ночью. В результате, как и следовало ожидать, отказ такого выдающегося человека нанес сокрушительный удар по пре-

стижу Празднества, и «усатый турнир» прошел без огонька и задоринки. А победителем в категории «генеральские усы» стал — смешно сказать! — какой-то престарелый продавец велосипедов и мопедов.

— Нет, все-таки надо было его прогнать сквозь строй! — сокрушенно вздыхая, закончил свою историю Генералиссимус.

— А, так вы были там с целым войском? — спросил г-н Архивариус.

— Я сам себе войско! — отрезал Полковник Ферапонтов.

— О, понимаю.

— Тут и понимать нечего! Мои могилы разбросаны по всему миру, ать-два!

— Да что вы говорите?! — воскликнула Янка. — Мне кажется, с вашей стороны это не очень скромно, господин Генералиссимус.

— Ну, это так — ерунда, мелочи, — неожиданно стушевался полководец и, отвернувшись, смахнул скупую солдатскую слезу. — Могилы как могилы. Большинство из них — безымянные...

Через полчаса задумчивой езды он приказал Вялому Горбуну остановиться:

— Приехали, господа! Отсюда до Хронилища рукой подать. А мне пора возвращаться.

— Очень жаль, Генералиссимус, — сказала Янка, подавая ему руку. — Под вашей защитой нам было так спокойно!

— Еще бы, сударыня! Гм... Я хотел сказать: всегда к вашим услугам, ать-два!..

Фургон быстро отцепили от дрезины, сменили колеса, и все было уже готово к продолжению путешествия. Правда, казалось, еще чего-то не хватает, чтобы окончательно распрощаться. И тогда Полковник Ферапонтов вынес из дрезины старый трофейный патефон, поставил его на пол, тут же привычным движением покрутил ручку, словно это был полевой телефон, и опустил массивную иглу на угольного цвета диск. Сквозь ужасающий скрип и шорох прорвались бравурные звуки, в которых с трудом угадывался марш французской национальной гвардии Шарля-Симона Кателя. В ту же минуту бакенбарды Полковника Ферапонтова встали торчком, по спине забегали патриотические мурашки; с глазами, блестящими от слез, он принялся хлестко маршировать, подсакивая и вытягивая носок; он делал четкие повороты направо и налево и даже кругом; выкрикивал гортанные приветст-

вия Янке, брал равнение на Фургон, который, очевидно, представлялся ему сейчас трибуной, становился на одно колено и преклонял голову перед воображаемыми боевыми знаменами. Он принимал парад и одновременно сам являлся этим парадом. Гремели барабаны, ревели трубы, — и все зрелище в ярких лучах огромной Луны было более чем впечатляющим. Видимо, поддавшись этому воинственному настроению, г-н Филин даже прокричал троекратное «угу!». На том и распрощались...

КНИГА ГОРОДА

СКОРБНАЯ ОБИТЕЛЬ

*Глава, написанная шариковой ручкой
на внутренней стороне казенного пододеяльника*

I

...После всего этого безобразия с участковым инспектором Пришиваловым приключились еще две пренеприятнейшие истории. Первая — в самый канун Троицы, что было еще обиднее, поскольку инспектор был человеком настолько же далеким от религии, насколько какой-нибудь батюшка из Крестовоздвиженской церкви от ежеутреннего инструктажа в районном отделении милиции, где Пришивалов с недавних пор служил.

Итак, как было уже сказано, в самый канун Троицы, поздним вечером, на темной и безлюдной улице Воздвиженской, под заливистый лай собак, доносившийся из-за покосившихся заборов, его настигли трое. Один из них, богатырского телосложения, кряжистый огромец, казалось, был вырублен из цельной скалы — земля вздрагивала при каждом его шаге. В лунном свете лицо его являло собой расплывчатую массу бугров, сплошь поросших серебристой растительностью, и два глаза гневно посверкивали меж этих бугров. Двух других, кутающихся в длинные плащи, и в темноте больше похожих на тени людей, нежели на самих людей, Пришивалов не разглядел вовсе. Да и не собирался он никого разглядывать, потому что и так было ясно: перед ним отъявленные преступники — медвежатник-мокрушник и два форточника. Уж он-то насмотрелся на таких за последние три года — Подол ими так и кишел! Участковый инспектор уже намеревался грозно прохрипеть что-нибудь вроде: «Я сказал, стоять!» или «Руки вверх!», — хотя, кроме медного свистка в кармане кителя, никакого другого оружия при себе не имел, — но в ту же минуту кряжистый огромец с неожиданным для его габаритов проворством схватил Пришивалова своими железными ручищами, поднял вы-

соко в ночное небо и, перевернув, опустил вниз головой, крепко держа его на весу за костлявые щиколотки, будто вальдшнепа, подстреленного на охоте. Собаки почему-то сразу перестали лаять. Тут же двое других самым молниеносным образом раздели его до трусов, элегантностью которых вряд ли можно было гордиться, оставив, правда, на ногах черные уставные ботинки. За всеми вышеописанными «оскорблениями действием» незамедлительно последовали «оскорбления словом»:

— Смотри-ка, Магнус, а без формы он обычный фраер!

От пощечин лицо «фраера» Пришивалова горело огнем, а обнаженное тело обдувал прохладный ночной ветерок. Рядом, в саду, за полусгнившим забором изощрялся соловей.

— А теперь скажи-ка нам, братец, как ты относишься к Воздаянию? — почти миролюбиво спросил кряжистый.

Инспектор Пришивалов не знал, как он относится к Воздаянию, ибо вопрос этот начальством никогда не ставился на повестку дня. А посему он сдавленным голосом на всякий случай сообщил:

— Строго по уставу, граждане-товарищи!

— Да что ж это мы с ним канителимся, Магнус! — От нетерпения и нескрываемой ненависти двое в плащах переминались с ноги на ногу. — Ну давай же, преврати его в крысу — и пускай скачет себе с миром!

«Не хочу в крысу!» — промелькнуло в набухшей голове Пришивалова.

— В крысу не хочет, — угрюмо констатировал кряжистый Магнус, словно прочитав незатейливую мысль участкового инспектора.

— Какие мы капризные!

— Ну тогда — в фонарь уличный. А то как-то здесь совсем темно. Эй ты, придурок! Это ведь твой участок?

— Ага...га, м-мой!

— Вот видишь, Магнус, участок его. А тьма такая — хоть глаз выколи! Непорядок получается.

— Не надо глаз выкалывать! — чуть не заплакал инспектор Пришивалов.

— А почему бы и не выколоть глазик? Подумаешь, одним больше, одним меньше! Ну Магнус! Ну сделай его фонарем!

— Точно, фонарем! Пускай светит днем и ночью. Светочем будет.

Магнус раздумывал, видимо, решая, как поступить.

— Ну хоть раз можно увидеть, как ты это делаешь? — не унимались двое в плащах. — Почему соглядателям можно, а нам, следопытам, нельзя?

— Хватит! Сейчас не до глупых забав, — строго пророкотал Магнус и встряхнул инспектора, словно бурдюк с шипучкой: — А не ты ли, случайно, рукопись нашел на Андреевском спуске?

— Это третьего дня? — зачем-то уточнил Пришивалов, как будто находить рукописи для него было делом привычным.

— Вот именно, братец, третьего дня, в семь часов тринадцать минут по местному времени, — помог ему Магнус.

— Так точно, граждане-товарищи, рукопись нашел... Это... в смысле, обнаружил...

— Ну и?..

— Две сотни.

— Что — две сотни, кретин? — взъярились двое в плащах.

— Листов!..

— Магнус, это он! Точно он! Все сходится!

— «Книга Книг?» — продолжал допрашивать кряжистый.

— Не могу знать!

— А если хорошо подумать?

Инспектор Пришивалов развел руками, что в подвешенном положении выглядело весьма убедительно. Он почувствовал, как от нечеловеческого напряжения на его уставных ботинках развязываются шнурки.

— И ты прочитал ее?

— Да нет...

— Не понял. «Да» или «нет»?

— Нет!

— Тогда зачем же ты, червь презренный, отнес ее в Серый Терем?!

— В ка-какой терем?..

— Сам знаешь, в какой.

— А!.. Так ведь положено! — завопил инспектор, извиваясь и в самом деле, как червь. — Действовал по инструкции... Все подозрительное следует... это... отнести...

— Вот-вот, Магнус! — внезапно обрадовались двое в плащах и начали наперебой предлагать:

— А давай отнесем его на Берковцы!

— Или, может, на Лесное?..

— Тогда уж лучше на Флоровское, там и могилы есть разрытые. Да и рядом совсем — рукой подать.

— Ну давай, Магнус! Сейчас прямо и отнесем, а? А то ведь, смотри-ка, висит тут, понимаешь, в одних трусах и ботинках на голое тело, да еще и выпендривается!

— Так ведь и висит как-то подозрительно!

— Ага, гляди, как извивается!

Пришивалов судорожно хватал ртом воздух, благоухающий цветущими акациями, но ему сейчас было не до ароматов: он задышался. Голова его так налилась кровью, что хоть в стаканы из нее наливай! Казалось, еще немного — и она лопнет. Он перестал извиваться и повис, словно тряпичная кукла.

Магнус воздел несчастного инспектора еще выше:

— А не ты ли, паршивец, добился в ЖЭКе №30/3, чтобы из Замка, что на Андреевском спуске, выписали и выселили, а по сути, выгнали на улицу, двух почтенных дам с их юной воспитанницей? — в голосе Магнуса зазвучала нешуточная угроза.

— Какой еще Замок? — сквозь ужас удивился Пришивалов.

— Село! Лимитá! Неуч! — хором восклицали люди в плащах. — Даже участка своего не знает!

— Дом номер пятнадцать, — утрюмо подсказал Магнус инспектору.

— А! — вспомнил Пришивалов, и тут из него хлынуло: — Так ведь это не я! Это сам товарищ Дупак, Большой Администратор!.. Все из-за бабы Мани...

— Бабы Мани?

— Ну, дворничихи: не хотела всякие слова на стенах замазывать... И соскабливать тоже не хотела!.. А эти... жилички с нею две... ну, что у ней в квартире приживались, были того... это... — и он из последних сил покрутил набрякшим пальцем у пульсирующего виска. — Психическими были они!.. В лечении нуждались...

— Ах, в лечении? А кто же тогда, по-твоему, в лечении не нуждается?

— Ну, Кошляк, что из однокомнатной, справа по коридору... И эти... как же их хвамилия?.. Полий... Полийводы, дверь напротив.

— Есть свежая идея, Магнус! Оформим его в психушку, и дело с концом.

— Всею свое время, — кряжистый еще крепче стиснул обескровленные щиколотки Пришивалова и грозно зарокотал: — А не ты ли, сатрап, теперь занимаешь светлые хоромы изгнанных тобою невинных страдалец?! Так знай же, аспид, с Дупаком твоим мы уже разобрались, и тебе совсем недолго осталось жировать в чертогах дивных!

Участковый инспектор почти ничего не понял, поскольку таких красивых слов отродясь не слышал, кроме разве что «аспида», которого частенько поминала его покойная бабушка, и «жировать» — слова, доставшегося ему по наследству от спившегося папашки. Он жалобно всхлипнул и почувствовал, что прямо сейчас помрет. Еще чуток повисит вот так, вверх тормашками, и помрет! В глазах уже смеркалось, когда забрезжило прозрение: «Ага! Так они обо мне и справки навели...»

— Справки?! — взревел Магнус. — Справки — это хорошо.

— Ах, ну да! — сквозь обморок вспомнил Пришивалов и даже чуток оживился, как перед смертью. — Жиличкам тем, бывшим, еще справку выписали... в этом, как его... В ЖЭКе... Ну, чтоб по закону!

— Вот мы и тебе тоже справку выпишем! — жестко постановил Магнус. — Чтоб по закону. Привет от бабы Мани!

Скудным остатком седьмого чувства участковый инспектор Пришивалов ощутил, как в левый ботинок ему всовывают листок бумаги, после чего сознание покинуло его...

Все дальнейшее он припоминал лишь бессвязными урывками, и это было так, словно он наблюдал самого себя и то, что происходило вокруг, как бы со стороны. Сначала, все той же роковой ночью, каким-то непостижимым образом, в одних трусах и ботинках, он очутился в своем родном участковом отделении, где радостно размахивал белой, будто накрахмаленной, справкой перед тупым дежурным сержантом и перепуганными дружинниками с красными повязками на предплечьях.

Затем он увидел себя, сидящим верхом на несгораемом шкафу и зачитывающим вслух «Инструкцию о Воздаянии» столпившемуся внизу вышестоящему начальству, а в окнах уже брезжил рассвет...

В память врезалась еще одна картина, точнее, вид сверху: тотальная лысина майора Канюки, отражавшая люминесцентные потоки от лампы дневного света. Майор Канюка склонился над

распятой на казенном столе белоснежной справкой и во всеуслышание зачитывал ее содержание: «Справка с Евбаза выдана дешевому фраеру Пришивалову на основании того, что он конченный идиот, и в подтверждение того, что вышеозначенный фраер по фене не ботал, зону не хавал, Книгу Книг не читал и в Замке Ричарда никогда не проживал и проживать не будет».

Но самым непостижимым во всей этой жуткой истории было то, что на суровом документе том стояла настоящая гербовая печать, а под ней — размашистая подпись должностного лица, занимавшего столь выдающееся положение, что громоподобное имя его, неосторожно произнесенное вслух, способно было причинить простому участковому инспектору сотрясение мозга. И подпись сия, уже одной только своей графической величавостью, своей чернильной насыщенностью, не оставляла изумленному «фраеру» Пришивалову никаких шансов и пресекала малейшие прекословия уже в зародыше.

Завершив чтение справки, майор Канюка поднял голову, нервно промокнул искрящиеся россыпи испарины на лысине и вперился злобными глазками прямо в сидящего на шкафу инспектора Пришивалова. «Где ваша фуражка, инспектор?! — взревел он, багровея. — Где, я вас спрашиваю?! Что это вы себе позволяете, а?! Это уже пятая!..»

Очнулся участковый инспектор Пришивалов у себя дома с очень гадким ощущением: будто уволился он со службы и восстановлению на оной больше не подлежит, то есть вышел в отставку. Как и когда он в нее вышел — в отставку эту распроклятую, — он совершенно не помнил. Он просто это знал. И сие знание было тем абсолютным знанием, что сродни Знанию Посвященных, которые, как те птицы, что летают себе да летают и, никогда о том не задумываясь, делают это всегда правильно.

Вот тогда-то и началась вторая, вышеупомянутая, пренеприятнейшая история. Пожалуй, даже еще более пренеприятнейшая, чем первая. О нешуточности этого утверждения можно судить, прочитав один примечательный документ, случайно сохранившийся в запасниках Музея медицины, который многие старожилы города все еще по привычке называют Анатомическим театром. Написанное в школьной тетрадке для чистописания — в коую линейку, — заявление сие от «гражданина-жильца» Пришивалова (имя и отчество не указаны) поступило однажды, так сказать, напрямик из зоны невменяемости, на имя начальника ЖЭ-

Ка №30/3, некоего Сидора Пантелеймоныча (фамилия не указана), и в нем излагались следующие особые обстоятельства. Вот они, с незначительными сокращениями:

«[...] Жыву я у киеве по андреевскому спуску 15. Жыву себе один в квартире. И в той квартире исцо две комноты. В одной прожывает песатиль кошыак в. п. А в другой гражданка полийвода гарпогена бонифатиивна медичка очень ловкая смужем этой полийводы хирургом полийводой. Самаже полийвода гарпогена бонифатиивна 1930 года рождения сродственица присидатиля домкома гражданки матрены синяк-свинюховской исодержыт на жылплосчади ручного котомыша лаврентия печорского сповидением ниприсказуемым и даже биспридельным. Полийводы эти и ихняя матрена свиняк-синюховская восоздали для миня крайние устловия жыстни. Так на пример полийвода невзапно отрезала от моей квартиры илектросвет закаторый я полийводе сплачивал больше чем по Закону. Ну отрезала шоб я в своей квартире не смог споймать котомыша. А хозяйка синяк-свинюховская мне сарая для дров нидавала апотом и газ для атапления нидавала тоже состславишиь на ликвидацью газопровода ужгородуренгой. Приходица зимой мерзднуть. А исцо глубокой ночью проникают комне взапиртую квартиру. Усыпляют миня срывають с постели и в одной лежаме выносят на крышу. И издиваюца! Рююца всундуках моей бабушки потомушо она давно умирла и ответить ниможет всилу чиво праподають весци и принадлежности. Отак спирва абварують апотом вкладывають миня абратна в пастель и каквсигда бисследно уходят. А исцо портють мои глаза. Портють зубы. Шпрыцом у тело напускають яд. Травлят. Уничтожають на мне хворменую хвуражку. Сосени и понастоящее время нидають спать. Сильно изнуряють жжгут илектричесвом причом жжгут и наулице с большова ростояния. Это хворменое убийство.

Так миня выжымають с квартиры. Даваят. Враги подруководством котомыша лаврентия печорского праникли даже в полеклинику платную шо в глуботчичком пишулки 17¹ вризультате чеве доктор центер клара марковна умышлыно спортила мой пиредний зуб.

¹ Очевидно, имеется в виду Глубочицкий переулок, 17. — Примечание Издателя.

Я много раз говорил гражданке полийводе шоб ннжжгли и нитравили миня. Ведь я простой и честный уличционер. Но на полийводу мараль нидействуют потомукак она человек противапаложный и взгляд тижолый! И хозяйку свиняк-свиноховскую прасил абследавать мою квартиру вкаторай я прожываю и шоб ручново котомыша лаврентия изловили и удолмили патамушо никакой он ниручной а дикий. Но хозяйка всигда атвичаит убирайся покацел! А песатиль кошыак в. п. смийоца патамушо баща их усех. А по Каституцьи в статте стодвацьатвюсем сказано о ннпрекостновености жылисча. И в статте стодвацьатвюсем сказано о ннпрекостновености личности какавой я иявляюсь на ностоятчий мамент. И выдодвить миня из квартиры можно токо попостонавлению суда или ссанкцьи пракурора.

Но уних Каституцья вкармани. Уних она загаленицем. Такшо апирируют они сваей сопстввиной Каституцьей а Гасударствиная Каституцья иправа чилавека ими папираюца! Люди счистой несовистю им всеможна палуцаца? А я скажувам шо какаойта главный зломышлиник излоучастстник их наминя направлят а сам астойотца в тени.

Настаятчим Заявлением пращувас устранить усе вредные припятствия и гнутные поползднавения шоб можнабылаб спакойна жыть илечитца».

Далее к «Заявлению», видимо, для пущей убедительности, прилагалось нечто наподобие дневника или краткой хроники событий:

«[...] На 12 апреля — вдень Кастманавтики травили и жжгли и вынасли накрышу безничиво в одной лежаке.

На 13 апреля — жжгли иликтричискими лучями.

На 14 апреля — жжгли всиво цылеком иособино правый глас. Вижу типерь токо левым.

На 15 апреля — жжгли итравили газом.

На 16 апреля — жжгли всерце итравили газом [...]

[...] На 19 апреля — жжгли.

На 20 апреля — мучили правый глас.

На 21 апреля — в день рождения гитлера жжгли травивали газами. Хващысты!

На 22 апреля — день основателя нашего государства. Вешали его портреты воздействовали словами сильно голова болела

На 23 апреля — травили газами.

На 24 апреля — жжгли.

На 25 апреля — жжгли в правую лопатку.

На 26 апреля — вынесли в коридор илили воду [...]

[...] На 30 апреля — жжгли.

На 31 апреля — жжгли.

На 32 апреля — лили воду.

На 33 апреля — жжгли и мучили нижний левый зуб.

На 34 апреля — тупер и левую лопатку!

На 35 апреля — жжгли всю утро.

На 36 апреля — всю ночь жгли и специально измывались!

На 1 мая — день трудящихся всего мира проводили демонстрацию с воздушными шариками и пели хором Шырака Страна моя Радная ищю стреляли пропками.

На 2 мая — стреляли пропками.

На 3 мая — стреляли пропками.

На 4 мая — воздействовали славестно.

На 5 мая — жжгли.

На 6 мая — жжгли им всю мало!

На 7 мая — жжгли левые бидро.

На 8 мая — опять жжгли травивали газами. Полную квартиру напустили газу. Пачиму им можно?

На 9 мая — День Победы! Шыли дело итили кров.

На 10 мая — жжгли сильно спину [...] »

На этом месте по неизвестным причинам «хроника» обрывалась, и продолжение почему-то следовало уже с 5 июня:

« [...] На 5 июня — жжгли под правой мышью руки калечут и всякаяе другое тоже.

На 6 июня — жжгли и травили газами.

На 7 июня — травили и жжгли.

На 8 июня — жжгли подзвоночник болел.

*На 9 ийуня — пили кров.
На 10 ийуня — шыли дело.
На 11 ийуня — жжгли сильно груть болела.
На 12 ийуня — жжгли утром.
На 13 ийуня — жжгли утром.
На 14 ийуня — утром травили газами.
На 15 ийуня — издивалис марально и идеино голова болить.
На 16 ийуня — лили воду.
На 17 ийуня — нитрогали спал спакойно.
На 18 ийуня — вынасили накрышу.
На 19 ийуня — вынасили накрышу и окуривали дымом.
На 20 ийуня — жжгли.
На 21 ийуня — жжгли.
На 22 ийуня — киев бамбили нам абьявили шо началась
вайна. Душыли и абыськивали».*

Это все, что сохранилось в нетленном виде и что хоть как-то поддавалось прочтению. Но и того немногого, что было изложено в «Зайавлени» и «Хронике событий», с лихвою хватало, чтобы представить себе дальнейшую судьбу ходатая.

Так вот, в одну из самых коротких и теплых ночей, с 21-го на 22 июня, отставной участковый инспектор Пришивалов был одним махом скоропостижно огражден сразу от всех «вредных припятствий» и «гнутных поползднавений» вышеуказанных «зломышлиников и злоучастников». Ко всему этому следует добавить, что в результате закрытого служебного расследования не было выявлено никаких следов граждан, указанных в пресловутом Заявлении — ни якобы председателя домкома Полийводы Гарпогены Бонифатьевны, ни злокозненной Матрены Синяк-Свинюховской (она же Свиняк-Синюховская), ни, тем более, «Котомыша Лаврентия Печорского», кем бы ни являлся он — гражданином или существом неизвестной науке породы. Правда, в доме № 15 по Андреевскому спуску действительно проживал некто гражданин Кошляк В. П., начинающий писатель-прозаик, но ни о чем таком он и слыхом не слыхивал, и даже слышать не хотел. Тщетными оказались и поиски ЖЭКа под номером 30/3. ЖЭК просто № 30 в городе был, но находился он совсем в другом районе, на улице Маловладимирской имени Чкалова, и к Андреевскому спуску отношения не имел...

II

...Новое место проживания настолько поразило отставного инспектора Пришивалова своей новизной и необычностью (как в распорядке дня, так и в жизненном укладе в целом), что он, как говорится, сразу опомнился. Здесь Судьба собрала титанов. И деяния их, и мысли были титаническими, почему, очевидно, в узких и тесных границах города и не нашлось им ни места, ни применения. Воистину, Скорбную Обитель населяли люди с размахом, но при этом они никого не жгли, не травили газом, не выносили вместе с кроватью в коридор или на крышу, и уж тем более не «издевались идейно и морально», хотя в силу своего статуса могли позволить себе и не такое. Напротив, изрядную часть времени они спали, как древние горы, или пребывали в дремотном состоянии, как священные деревья богов. А когда титаны пробуждались, то заводили увлекательные беседы, играли в шахматы или преферанс на сигареты и кусочки сахара-рафинада, писали живописные полотна для Лувра или Прадо и поэмы для Национальной библиотеки в Вашингтоне. В дни великих всенародных празднеств даже водили хороводы. А долгие зимние вечера коротали у телевизора в Ленинской комнате или пили водку в туалете, если человеку-невидимке из седьмой палаты удавалось ускользнуть в город за бутылкой. В первое время исхудавший на службе инспектор Пришивалов даже заметно округлился и порозовел, ибо пищу принимал теперь три раза в день! И даже в одни и те же часы!

Идиллическую картину несколько омрачало полное отсутствие зеркал — даже в туалете и в умывальной комнате. Стекла в больших зарешеченных окнах — и те почему-то никого и ничего не отражали. Это так сильно подействовало на инспектора Пришивалова, что, не находя простого и разумного объяснения столь подозрительному феномену, он чуть не впал в депрессию. «Тут все правильно. Поскольку мы не существуем, то и отражаться нечему», — коротко растолковал человек-невидимка. «Нечему?!» — Это было выше понимания Пришивалова, а потому он решил пока просто поверить человеку-невидимке — до лучших времен, когда следствие покажет, кто украл все зеркала и в силу чьего преступного умысла или халатного отношения во всех окнах бракованные стекла. Бытовала еще одна версия, ярким приверженцем

которой был некто Ван Хельсинг из первой палаты, настаивавший на том, что его окружают мертвяки-вампиры, кои, как известно, не могут иметь отражений ни в зеркалах, ни на других зеркально отражающих поверхностях. Да, было бы неплохо допросить этого Ван Хельсинга по всем правилам, под протокол и с многочисленными побоями, но, к сожалению, отставной инспектор Пришивалов его уже не застал — беднягу переместили в какие-то глухие застенки после неудачной попытки ночью вбить осиновый кол в грудь соседа по палате, а об его «вампирской версии» старались больше не вспоминать.

И еще общее благоприятное впечатление сильно подпорчили так называемые «белые халаты», или просто — «белохалатники», особенно в первое время докучавшие новоприбывшему своими пилюлями, вонючими снадобьями и болезненными укулами во все мягкие места. Зато в остальном — чем не курорт!..

Впрочем, первые дни в Скорбной Обители лично для отставного инспектора прошли совсем не по-курортному. Уже ранним утром 22 июня Главный Белый Халат, которого величали несколько архаично Федором Федоровичем, милостиво принял его в своем кабинете, белым кафелем и собачьим холодом, несмотря на разгар лета, изрядно напоминавшем холодильную камеру для хранения освежаванных мясных туш. Правый глаз Федора Федоровича был упрятан под черной пиратской повязкой, а левый, которым он пользовался как живым, все время смотрел куда-то вверх или просто мимо инспектора Пришивалова, будто стеклянный. С таким же успехом место этого глаза могла бы занимать и пластмассовая пуговица, и медная копейка или вообще кусочек свиного холодца. Однако все эти анатомические особенности не помешали Федору Федоровичу весьма внимательно и благосклонно выслушать Пришивалова, история злоключений которого, — что греха таить! — больше напоминала историю болезни. После чего он ласково погладил инспектора по голове своим железным протезом. Голова болезного сразу очоленела, а вслед за этим — резко понизилась температура всего тела, и, сделав приглашающий жест, радостно провозгласил: «*Sta viator! Herois sepulcrum*»¹. Вообще-то отставной инспектор знал несколько ла-

¹ «Остановись, путник! Вот могила героя» (*лат.*). — Распространенный мотив надгробных надписей в Древнем Риме.

тинских слов — таких, как «квитанция», которая у него почему-то всегда ассоциировалась с «цветением», или «эволюция» — словечко, в смысле которого, честно говоря, он не очень-то был уверен. Гораздо лучше он знал слово «майор» и даже умел правильно его писать. К этому слову он и так всегда очень хорошо относился, а особенно в сочетании с фамилией «Канюка»... Вся остальная «латынь хренова» была ему так же чужда и непонятна, как арманьяк закоренелому одеколоницисту. Тем не менее, тонко учувяв интонацию Главного Белого Халата, отставной инспектор Пришивалов болезненно улыбнулся якобы в ответ на его латынь, делая вид, будто что-то в ней понял («Сепулькрум, сепулькрум, ясное дело!») и мелко застучал зубами, заполняясь внутри холодом.

Когда же разговор неожиданно зашел о грязных листках, которые инспектор так неосторожно подобрал на Андреевском спуске и так легкомысленно своими же руками отнес на Владимирскую, 33, о тех самых проклятых листках, которые страшный Магнус называл «Книгой Книг» и из-за которых, судя по всему, так круто изменилась судьба Пришивалова, в кабинете ударили настоящие крещенские морозы. Лицо Федора Федоровича сильно посерело, будто после мумификации, и он довольно жестко заметил инспектору, зябко кутавшемуся в собственные руки: «Что же это вы, душа моя? Разве родители не научили вас не поднимать с земли всякую дрянь? Так не долго и заразу подхватить!» Тут Пришивалов понял, что падает, и если бы не заботливые руки двух белохалатников, он наверняка рухнул бы на пол и со звоном хрустальным разбился вдребезги. «Новоприбывшего — к офтальмологу! — распорядился Федор Федорович, посверкивая своим стеклянным глазом, когда скованного морозом новоприбывшего выводили из насквозь промерзшего кабинета. — Что-то мне не нравятся его глаза...» После аудиенции Пришивалов еще долго не мог согреться, и пару дней его изрядно трусило, а после глазных капель офтальмолога столько же дней он почти ничего не видел.

Такое начало не предвещало ничего хорошего. И действительно, уже на третий день, когда зрение более или менее восстановилось, инспектор подвергся неожиданному испытанию. Дело в том, что здешними обитателями владела одна особая страсть. После «рабочего дня» народ любил собираться в кружок и по

очереди потчевать друг друга разными страшными историями, — которые дети называют «страшилками», — отдаваясь этому занятию всей душой. Ну, а поскольку все мало-мальски известные «страшилки» были сказаны-пересказаны бесчисленное множество раз и больше никого не приводили в трепет и ужас, то каждый новичок становился особенно желанным: теперь уже его «свежими» ушами, его еще «не затертым» воображением, его истошными криками и воплями можно было снова и снова наслаждаться, как в первый раз и, таким образом, еще какое-то время жить полноценной эмоциональной жизнью.

Итак, свет в палате был выключен, двое авторитетных старожил, непревзойденных мастеров рассказывать всякие небывальицы так, чтобы кровь в жилах стыла и душа в пятки уходила, бодро взялись за дело. Они с обеих сторон обступили инспектора Пришивалова, почти прижимаясь к нему, а все остальные, поудобней расположившись на кроватях и посверкивая глазами, замерли, словно в предвкушении чудесного преобразования. По очереди, быстро сменяя друг друга, чтобы не дать новичку опомниться, рассказчики повели свой страшный рассказ. Они не скупились на мрачные, почти готические по духу эпитеты и подробности и время от времени хватали свою жертву то за одну руку, то за другую, то слегка подталкивали в плечо, а то и в спину, таким образом нагнетая напряжение. Отставной инспектор Пришивалов слушал их очень внимательно, стараясь не пропустить ни одной мелочи. К такой усидчивости его, со всей очевидностью, невзирая на отставку, обязывал профессиональный долг, поскольку в рассказе, как подсказывала ему милицейская интуиция, дело явно шло к преступлению или, по меньшей мере, к нарушению общественного порядка.

— Однажды, темной-претемной ночью... — начал первый рассказчик.

— Черной ночью, — уточнил второй.

— Точно! Однажды, черной-пречерной ночью, я бы даже сказал, чернущей-пречернущей, когда ни черта лысого, ни ангела ясного не видно, когда даже голодный волк, и тот из лесу носа не высунет...

— И ни один вор на дело не пойдет, — с какой-то грустной распальцовкой добавил второй.

Инспектор Пришивалов насторожился.

— И доктор к умирающему не пойдет, — вздохнул первый, — и даже поп три раза подумает, прежде чем пойти... Так вот, в такую, значит, ночь у самого края черной дороги стояла одинокая дама...

«Окружная дорога, ясное дело!» — сразу предположил инспектор Пришивалов.

— ...Одета она была во все черное, — продолжал первый рассказчик. — Черное платье, черный платок, черные сапоги отечественного производства...

— Сапоги-чулки называются, — опять уточнил второй. — На высокой платформе.

— И очки у нее на носу были черные, а под очками — горящие черным огнем черные глаза. И вот, стоит она, одна-одинешенька, и то ли не знает, куда идти, то ли ждет кого... Вдруг видит: два ярких огня приближаются, и так быстро-быстро. Смотрит, а это такси — все черное. Подъезжает. Останавливается. Черная дверь открывается, а в черной машине — черный водитель...

«Нет, не Окружная. У нас в городе таксистов-африканцев нет, только студенты», — здраво рассудил инспектор Пришивалов и почесал в затылке.

— ...«Куда едем, гражданочка?» — спрашивает черный таксист, а у самого при виде черной дамы сердце ушло в пятки, даром что и сам черный, как смоль. «На кладбище едем», — отвечает черная дама и — прыг на переднее сиденье! «На кладбище?» — испуганно переспрашивает черный таксист, а рука машинально черный счетчик включает. «На кладбище!» — повторяет черная дама, а сама вперед смотрит, в стекло лобовое и улыбается улыбкой такой чернящей-чернящей.

— На кладбищ-щ-ще! На кладбищ-щ-ще-е-е! — зачарованно шептали слушатели, кивая головами, и кровати под ними жутковато поскрипывали.

А первый рассказчик продолжал вдохновенно импровизировать:

— «Тариф ночной», — пробует отговорить черную даму черный таксист. «Знаю! Плачу втрое больше», — отвечает та...

— Вчетверо, — снова уточняет второй.

— «Вчетверо — так вчетверо. Поехали!» — соглашается черный от жадности таксист, а у самого поджилки так и трясутся.

«Учетверенный тариф. Вот оно!» — промелькнуло в голове инспектора Пришивалова.

— ...«А вам, гражданочка, собственно, на какое кладбище? Кладбищ в нашем городе хоть отбавляй». А та и отвечает: «На Байковое». Ну, делать нечего: на Байковое — так на Байковое, хотя какое может быть Байковое в такую черную ночь! Так размышлял таксист. Едут они, едут, молчат, а впереди так темно — ничегошеньки не видно! А они все равно едут и едут, едут и едут... «Вам точно на Байковое, гражданочка?» — на всякий случай переспрашивает черный таксист черную даму. А она ему в ответ: «Вези, куда сказано!» И опять едут они и едут, молчат и молчат... И вот приезжают они на Байковое кладбище, останавливаются у больших черных ворот с надвратной часовней, а гражданочка и говорит таксисту: «Жди меня здесь!» — и мигом выскочила из машины. Проходит десять минут, двадцать, а ее все нет. Ночь стала еще чернее. Час прошел, а от черной дамы — ни слуху, ни духу!..

«Воровка на доверии, — логически заключил инспектор Пришивалов. — Таксисту следовало бы проверить свои карманы и бардачок в машине».

— ...«Ох, не нравится мне все это, — думает черный таксист, да все никак не решится из черной машины выйти. — И зачем я только согласился? А если случилось чего?..» Подождал еще так с полчаса. А счетчик-то тикает — денежки, которых нет, считает. Что же делать? Подумал-подумал, перекрестился три раза, да и вышел из черной машины.

— А вокруг черным-черно! — подхватил второй рассказчик. — И тут молния черная как сверканёт!

— Да-а-а! — повышая голос, почти запел первый. — Молния одна! Вторая!.. Поднялся черный ветер и пошел мелкий морозящий дождь...

— Переходящий в черный ливень... — подсказал второй.

— Как из черного ведра! — уточнил первый и быстро продолжал: — А наш таксист стоит на месте как вкопанный, от страха весь черный, руками черными вокруг себя шарит, и не знает, куда же ему идти. Ну и стал он тогда звать — тихо-тихо так: «Гражданка! Гражданка!» А потом все громче и громче: «Гражданка! Гражданка!» Но нет! Никто не отвечает. Только черный дождь шумит, черный ветер гудит да черный гром грохочет. Страшно!..

— Страш-ш-шно! Страш-ш-ш-шно! — шипели слушатели в темноте, и, похоже, от этого шипения им и самим уже было страшно.

— Но наш таксист был не робкого десятка. Почесал он свой черный затылок и пошел прямо в черные ворота, такие черные, черней и не бывает. Идет, крестится, а сам думает, как бы с гражданочкой чего-нибудь страшного не стряслось, а то по счетчику придется самому платить. Вот тебе и четверной тариф! В общем, идет он медленно-медленно, как по болоту: боится, как бы в какой-нибудь черный склеп нечаянно не провалиться. А вокруг все сплошь могилы, могилы, могилы...

— И кресты, кресты, кресты... — добавил второй.

Первый перешел на зловецкий шепот, а инспектор Пришивалов почувствовал на своей левой щеке мелкие брызги, что не доставило ему удовольствия. Он попробовал чуть отодвинуться, но опытные рассказчики крепко держали свою жертву.

— И тут в сполохах молний черный таксист увидел свою черную даму! — продолжал нашептывать первый, громко шипя и брызгая слюной. — Она стояла на коленях у самого края разрытой могилы, вся мокрая, измазанная грязью... «Молится, — подумал таксист. — Нашла время, маразматичка!» Подходит он ближе, чтобы сказать ей, что, мол, ехать пора, что в такую непогоду легко простудиться...

— И заболеть черной оспой!.. — откликнулся второй.

— И умереть, — усугубил первый. — Да, так он собирался сказать, подходя ближе. Ну, значит, подошел, смотрит: а гражданочка-то склонилась над трупом, и на куски рвет его. А труп весь такой синий-синий...

— Аж черный!

— Да, такой черный-пречерный, что аж синий! И она его рвет, кромсает, ломает и большими ломтями — себе в черный рот запихивает. И жует быстро-быстро, что твоя белка, только косточки хрустят на зубах. Таксист наш так и ахнул. «Так ты людоедка?!» — спросил он.

И тут, крепко прижавшись к инспектору Пришивалову, оба рассказчика в две глотки что было мочи истошно заорали ему прямо в уши: «Да-а-а-а!»

— Да-а-а-а-а-аааа!!! — подхватила вся компания, в едином порыве вскакивая с кроватей. От их душераздирающего вопля дрогнули стены, зазвенели стекла в окнах, и на какое-то мгновение в палате стало светлей.

Единственный, кто сохранил полную невозмутимость, был, конечно, инспектор Пришивалов. Разумеется, в память о служебном долге, он все так же продолжал стоять на своем месте, даже не шелохнувшись. Вместо ожидаемого предынфарктного состояния или, что тоже было бы неплохим результатом, глубокого и продолжительного обморока, не говоря уже о простом испуге, на его честном лице проступила печать тихой сосредоточенности.

— Одну минуту, товарищи, — как бы размышляя вслух, произнес он. — Стало быть, находясь при исполнении, таксист брал по четверному тарифу. Стало быть, пользуясь государственным транспортным средством, «грачевал» и левый заработок клал себе в карман противозаконно. Так что ли, получается?

Взмыленные, словно после изнурительного забега, и совершенно деморализованные таким вопиющим отсутствием душевной чуткости, оба рассказчика смотрели на инспектора Пришивалова, как на идиота, который в своем идиотизме достиг абсолютного совершенства, и не знали, набить ли ему морду или носить на руках.

— Что ж, мент — он и в дурдоме мент, — резюмировал кто-то тихо, после чего с тяжелым сердцем все разбрелись по койкам.

С этого дня, к глубокому прискорбию обитателей Скорбной Обители, со «страшилками» и вообще любыми «готическими настроениями» было покончено надолго, в надежде на лучшие времена, а за новичком закрепилось общее мнение, что в целом малый он славный, но не в себе. Ему тут же придумали прозвище: Ментекаптус¹ — что, в общем, значит то же самое, что и сумасшедший.

III

На седьмой день, когда отставной инспектор Пришивалов только-только начал привыкать к новой обстановке, в Скорбной Обители, произошли события, которые надолго взбудоражили ее население. Все началось с того, что кто-то (кто именно — в дальнейшем так и осталось невыясненным) принес в третью палату бутылку не то из-под пива, не то из-под лимонада, обнаруженную возле хоздвора во время утренней прогулки. Бутылка как бутыл-

¹ *Mente captus* (лат.) — сумасшедший. — *Медицинский термин.*

ка — ничего особенного, если не считать того, что она была закрыта пробкой, а внутри, сквозь мутное стекло, виднелись какие-то листки бумаги. Весть о находке (все же хоть какое-то событие!) распространилась мгновенно, и в палату набилось полно народу. Сосуд откупорили и извлекли на свет несколько пожелтевших от времени хрупких листков, исписанных аккуратным почерком, из чего некоторые здешние ученые мужи уверенно заключили, что на месте Обители и ее окрестностей когда-то плескалось море разливанное, и в нем не раз терпели крушение корабли. Иные же глубокомысленно заявили, что, дескать, всё они здесь на корабле, который изо дня в день терпит крушение, да все никак не пойдет ко дну окончательно.

Однако обнаруженные в бутылке эпистолы оказались столь необычного содержания, что о море с кораблями все сразу забыли, а сам документ стал настоящим бестселлером — предметом всеобщего интереса и бурных дискуссий, которые после каждого очередного прочтения разгорались с новой силой в так называемой Ленинской комнате, где под расписку выдавались недоукомплектованные шахматы и в «красном уголке» стоял старый телевизор «КВН». Над телевизором висел кумачовый лозунг: «Народ и Партия — едины!» Вообще-то никто на него не обращал внимания, как это обычно бывает с каким-нибудь очень сложным символическим орнаментом. Вроде бы и состоит он из элементов известных, но в совокупности своей орнамент абсолютно недоступен пониманию профанов. Глаз неискушенного в символизме простака лишь скользит по нему бездумно, отчего смысл таинственного орнамента так и остается в вековом ожидании своего истинного дешифровальщика. Так вот, как уже было сказано, никто из обитателей на сей эзотерический лозунг не обращал ни малейшего внимания, но ровно до тех пор, пока некто Штройс, местный мыслитель — человек дотошный, въедливый и, как нетрудно догадаться, с вредным характером, — однажды-таки не докопался до истины. И как это обычно бывает в подобных случаях, все сразу стало так ясно и понятно, что прочие титаны мысли только диву давались: почему же никому из них раньше не пришли в голову столь простые и очевидные соображения? Оказывается, «Партия», по глубокому убеждению вышеупомянутого Штройса-мыслителя, несомненно, представляющая собой женское начало, вошла в соитие, — или коитус, если выразаться языком науч-

ным, — с «Народом», символизирующим, соответственно, начало мужское, и уже в этом «Единении», в этом надприродном союзе, общими усилиями они породили на свет Божий «нового андрогина», который является истинной ментальной сутью данного исторического времени. Однако, утверждал Штройс, не так-то легко удерживать постоянную величину напряжения данного «коитуса», ибо «Партия» и «Народ» — как те две платоновские полусферы, — то сходятся, то расходятся в вечном поиске друг друга, но никогда друг друга не находят ... Вопиющая несуразность этих измышлений, а точнее, клиническое состояние ума, породившего их, кое-кому в Скорбной Обители показались столь очевидными, что «политическому тантристу» срочно были прописаны самые новые и действенные лекарства и строжайший режим, ибо даже по эту сторону стены общество должно предпринять все, чтобы не потерять ни одного из своих членов. Как и ожидалось, дела его вскоре пошли на поправку, и он уже больше никогда не вспоминал не только своего мерзкого «андрогина», но и своего имени.

Итак, общество, как уже говорилось, собиралось в «красном уголке» Ленинской комнаты, и кто-нибудь один, обладавший зычным голосом и хорошей дикцией, читал вслух найденные в бутылке записки. Остальные слушали, и то громко смеялись, то плакали навзрыд. И, правду говоря, смеяться и плакать было от чего.

ЗАПИСКИ ИЗ БУТЫЛКИ (фрагменты)

Листок первый
Что с неба упало

[...] О, зачем, зачем Господь наделил меня столь выдающимся умом, столь разнообразными знаниями и талантами и столь утонченной чувственностью?! Меня, слабого и грешного... Разве я мало страдал? Ах, если бы не убоился я показать клыки свои острые и возроптать супротив Бога, — одному лишь которому ведомы и подвластны скрытые от нас истинные мотивы всего свершающегося на земле, — я восскулил бы в отчаянии, что непосильна для меня ноша сия тяжкая. Но я терплю. Я терплю...

И вот в то время, как большинство моих бедных собратьев днем и ночью рыщут по мусорным ямам и свалкам, по дворам и задворкам города, что раскинулся на берегах древнего Борисфена, и алчут хлеба насущного, в то время как безродные дворянги, униженно поджав хвосты, сидят с протянутой лапой на изобильных базарах и у порталов продовольственных магазинов, а всякие никчемные пинчеры, болонки и ризеншнауцеры совершенно незаслуженно, только лишь по сомнительному праву своего псевдоарийского происхождения, сытые и самодовольные, прожигают жизнь на мягких подушках и перинах, катаются на задних сиденьях шикарных автомобилей, обвешиваются регалиями и благоухают дорогими шампунями, — иными словами, в то время, как несчастный мир наш по уши погряз в искушениях материальных и бранных, и никто теперь, кроме как о своем желудке, ни о чем и слышать не хочет, — я, единственный слуга любви, оставшийся на этом свете, день и ночь предаюсь ее грезам и высочайшей поэтической печали.

О, гав-ав-ав-ав! Уж целая вечность прошла с того дня, когда страшная, несобачья сила вырвала меня из объятий моего Лучезарного Зайца и унесла, как песчинку, в другие пространства. И вот я совсем, совсем одичал...

*Листок второй
Издержки роста*

Сегодня долго смотрелся в зеркало. Ай-ай-ай! Шерсть седеет, уши обвисли, словно листва после внезапно ударивших морозов. Глаза слезятся от неизбывной скорби... А хвост! Хвост еще виляет, но как-то неубедительно. Пытаюсь уверить сам себя, что все это — так называемые издержки роста. Духовного, разумеется. А внутренний голос едко подвизгивает: «Ну и ну! Да ты себя видел? Неужто этот запущенный сад, населенный блохами и духами скорби, может понравиться Чудо-Зайцу?» Увы и ах! Это правда. Ведь Заяц так бел и пушист, так элегантен, подвижен и энергичен, в нем столько оптимизма и задора! И очи его сияют, и уши у него торчком, и лапки легки и прыгучи, и подушечки на лапках мягкие, будто из плюша. И вообще он божественно прекрасен... О, где-то сейчас, в каких таких басурманских землях скачет он и скачет, любясь окружающей природой? В Голосеевских лесах ли? В Подольских урочищах? А может, на Трухановом острове?

А что же — я? Мой удел — томиться в неволе под неусыпным надзором проклятого Седовласова, который возомнил себя не только писателем, но и моим хозяином. Что проку этому бездарному графоману от его начитанности, если он не в силах понять, что он всего лишь хозяин моей потрепанной и погрызенной блохами шкуры, но не духа моего? А дух мой свободен! Он бродит как самосское вино, и если уж кому-нибудь и принадлежит, то одному лишь Зайцу. Да мыслимо ли такое, чтобы первородство духа продать за чечевичную похлебку?! Ну хорошо, хорошо! Молчу! Я, в изобилии отведавший пищи ангелов, отнюдь не судья ни Седовласову, ни кому бы то ни было другому. В конце концов, каждый сам в ответе за свою шишковидную железу [...]

[...] Возможно, и Заяц тоже, хоть иногда, вспоминает своего бедного верного Пса... Может быть, какая-нибудь случайная булочка сдобная или кусочек ванильной ватрушки с творогом (каковые я когда-то таскал для него с Сенного рынка или с Бессарабки, подвергая свою шкуру смертельной опасности) вдруг возьмут да и напомнят обо мне?.. Ах, кто теперь, в стужу и зной, крадет для вечно голодного Зайца сладкую морковь с огородов на Печерске или с дачных участков в далеких Осокорках? Я же, в свой черед, без слез обильных и горячих не могу взглянуть даже на самую маленькую морковку, не говоря уж о цветной капусте! Зато мой цербер Седовласов поглощает морковь в количествах непомерных и от ее переизбытка скоро весь пожелтеет, ибо какая же печень выдержит такое! А я стою на пороге кухни, будто замороженный бесперебойной работой железных челюстей этого дикого человека, которые, словно мельничные жернова, перемалывают в бесполезный жмых оранжевое золото, божественную снедь. «Ну и мужлан!» — думаю я, а сам то и дело озираюсь в надежде, не явится ли чудесным образом на этот хруст морковный мой Заяц-Кандидус?.. Но, увы! Как сказал поэт: «И некому лапу подать...» И тогда ничего иного не остается мне, как вернуться в комнату и снова и снова смотреться в постылое зеркало. И я смотрюсь в него и смотрюсь, бесконечно выискивая все новые и новые мельчайшие изменения. Но, как сказал другой великий поэт: «Судьба не меняет породы...» [...]

Листок десятый
Маленькие хитрости

[...] Нет-нет, с живописью покончено! Покончено навсегда: грешно тиражировать шедевры.

Но что поделаешь, если я привык трудиться? И вот, дабы не разложиться в праздности, я с энтузиазмом приступил к литературоведческим процедурам. И сегодняшняя ночь не стала исключением, ибо, как говаривал Аристотель, во всяком труде, стремящемся к успеху, нет ничего важнее постоянства. На сей раз мои штудии я посвятил жанру весьма скользкому: «стихотворения в прозе». Порывшись в библиотеке Седовласова, я, к своему удовольствию, обнаружил томик Артюра Рембо на французском языке. Я открыл его наудачу и так же наудачу положил свой коготь на страницу. И вот первое, что я прочитал:

«Aussitôt après que l'idée du Déluge se fut rassise,
Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes,
mouvantes et dit sa prières à l'arc-en-ciel à travers la toile de
l'araignée...»¹

Не скрою, в тот же миг шерсть на мне вздыбилась, дыхание перехватило. Я готов был поклясться всеми символистами, когда-либо жившими на свете, что речь шла не о каком-то простом зайце, заурядном грызуне, а о *моем Зайце*. Я так взвыл, что за окном пошел снег и сыпал потом, не переставая, до самого утра, пока с очередной гулянки по случаю мартовских календ не вернулся пьяный писатель-фантаст Седовласов. Ну да черт с ним! Еще несколько раз перечитав эти дивные строки, я понял, что в своих гениальных «Illuminations»² Рембо, волею Всевышнего, уподобился прославленному Нострадамусу, ибо и стихи «Озарений», и катрены «Центурий» полны эзотерической многоплановости и великих прозрений. А посему текст о Зайце с колокольчиками, радугой и паутиной я сразу объявил священным, поскольку текст этот со всей очевидностью подразумевал такое положение вещей, которое я чувствовал, но еще не умел выразить в словах. Вот он, *истинный миропорядок*, центр *которого* — нигде, и заяц *которого* — везде!

Весьма вдохновленный своим открытием, я перелопатил всю библиотеку сверху донизу и снизу доверху, пока не натолкнулся

¹ «Как только утомилась идея Потопа, заяц остановился среди травы и кивающих колокольчиков и помолился радуге сквозь паутину...». — *Перевод с франц. Ф. Сологуба.*

² «Озарения» (*франц.*).

на новые, очень любопытные источники. Так, например, Льюис Кэрролл, описывая аллегорическое чаепитие в некоей Стране Чудес, между прочим, затронул герметическую суть природы Времени, что меня всегда интересовало в свете ожидания или неожидания Зайца Утраченного. Я имею в виду упоминание о некоем Мартовском Зайце в связи с часами, которые показывают *все время одно и то же время* (впрочем, столь же целесообразно было бы сказать, что это именно часы упоминаются в связи с неким Мартовским Зайцем):

«The March Hare took the watch and looked at it gloomily: then he dipped it into his cup of tea, and looked at it again»¹.

Как бы там ни было, мне окончательно стало ясно, что Заяц безмерно тоскует по мне, и время для него как бы остановилось. Чашку с чаем можно было трактовать как память о нашей безоблачной и уютной жизни, которая, увы! — осталась в прошлом. А в прошлом, как известно, Время никуда не движется. Исходя из всего этого, фразу: «...could hear the rattle of the teacups as the March Hare and his friends shared their never-ending meal...»², — я перевел следующим образом: «Заяц скакал по местам, где когда-то был счастлив, и в благоговении подпитывал свои чувства бесконечными воспоминаниями».

Разгадав этот ребус, я горько заплакал. Словно воочию увидел я заснеженные пустоши с чернеющими там и сям кустами боярышника и мою скачущую любовь — белую и пушистую. И все это свершалось в те самые минуты, когда я водил дрожащим от волнения когтем по черно-белой, как мартовский снег, странице...

Уже на рассвете я познакомился еще с одним источником информации. Это была старинная китайская повесть семнадцатого века «Заключения даоса». Особенно меня заинтриговала приводившаяся в повести песня. В ней поется о грохочущих ночью напролет барабанах и о некоем Яшмовом Зайце, который «вдруг потускнел и тут же Восток озарился светом».

¹ «Мартовский Заяц взял часы и уныло посмотрел на них, потом окунул в чашку с чаем и снова посмотрел». — *Перевод с англ. Н. М. Демуровой.*

² «...Послышался звон посуды — это Мартовский Заяц поил своих друзей бесконечным чаем». — *Перевод с англ. Н. М. Демуровой.*

Поначалу я сильно возмутился: как это может Заяц «потускнеть»? Нет-нет, здесь какая-то ошибка, недоразумение или, скорее всего, недобросовестность переводчика! Впервые в жизни мне довелось крепко пожалеть, что я не знаю китайского языка. Однако вскоре, порывшись в пыльных энциклопедиях, я все-таки докопался до истины. С одной стороны, я чувствовал себя счастливым, а с другой — весьма пристыженным за то, что возводил напраслину на сам текст и на переводчика. Оказалось, что Яшмовый Заяц — это образ Луны, на которой живет священный Заяц. Главное занятие этого Зайца — готовить в ступе снадобье бессмертия. А кроме того, он еще плетет так называемую «заячью нить», или «нить повилики» (N.B.: *повилика* и *Заяц* по-китайски звучат одинаково — *ту*). Эта нить означает *брачную связь*.

Так, значит, вот оно как! Я не в шутку забеспокоился: интересно, о каком это браке идет здесь речь? Неужели из-за моего вынужденного отсутствия я получил отставку? Неужели мой горемычный Заяц потерял всякую надежду увидеть меня когда-либо вновь и, изверившись, роковым образом дал свое согласие на какой-нибудь оскорбительный брак?! О боги! Эту мысль невозможно вынести!

Несколько оправившись от первого потрясения и взяв себя в лапы, я еще раз внимательно перечитал текст китайской песни и пришел к следующей энтимеме¹: если под тем самым «востоком», который «озарился вдруг», подразумевать *меня*, то, следовательно, непосредственно из самого текста я недвусмысленно получаю указание, в каком именно направлении нужно искать моего Зайца — строго на западе. *Мой* «восток, озарившийся вдруг», можно трактовать двояко: это и настоящая разгадка смысла данной криптограммы, и, одновременно, — мое внезапное появление с востока. В таком случае совершенно понятно, что и «грохот барабанов», и «колотушек стук» знаменуют мое триумфальное появление однажды ночью. И не важно, когда это произойдет: брачная нить повилики не прервется, ибо на одном ее конце — мой Заяц, а на другом — я. «Ах!» — зажмурился я и на какой-то миг почувствовал в своей лапе эту обжигающую тонкую нить...

И вот я думаю: а не основать ли мне какое-нибудь тайное общество, которое называлось бы, например, «Ложа Озаренного

¹ Умозаключение от обратного (*логик.*).

Востока» (ЛОВ), или «Горячая Нить Зайца и Восток» (ГОРНИ-ЗАЙВ)? Надо будет непременно над этим серьезно поразмыслить после обеда [...]

Листок двенадцатый
Утренние метаморфозы

[...] Вот и сегодня утром, лежа на своей холостяцкой подстилке и в тысячный раз блуждая взором по потолку, я невольно вспомнил о неподвижных кэрролловских часах. Эх, время ты, времечко! Экие штуковины ты подбрасываешь нам, дабы заманить в очередной тупик. Но не так-то я прост, как ты, наверное, думаешь.

Итак, поднявшись, а скорее даже возвысившись над Временем, я принялся рассматривать его как сутобо философскую категорию, и занят этим был целый день. Пространные размышления мои, подтвержденные множеством исторических примеров, можно свести к простой эпихереме¹: «Время, проживаемое собачьим субъектом вне белого и пушистого заячьего объекта, становится аморфным, рыхлым и, одновременно, темным и щетинистым» [...]

В конце концов «Записки из бутылки» получили в Скорбной Обители столь широкий и громкий общественный резонанс, что это вызвало самую серьезную обеспокоенность у Белых Халатов, которые, разумеется, как с медицинской точки зрения, так и с чисто человеческой не были заинтересованы в том, чтобы какие-то болезненные бредни развились в священные апокрифы, а о канонизации — так вообще не могло быть и речи. Поэтому сначала «Записки» подверглись полному изъятию, хоть как их только ни прятали — в наволочки, в носки или даже в неработающий сливной бачок в туалете, — а затем всех способных читать и писать согнали в Ленинскую комнату, затолкали в «красный угол» и долго и придиричиво допытывались: кто тут «Заяц», а кто пресловутая «Собака» и, следовательно, автор смутьянского пасквиля. Дело осложнялось еще одним обстоятельством: из текста трудно было понять однозначно, кто из этих двоих мужского по-

¹ Сжатое умозаключение (*логик.*).

ла, а кто — женского. Не исключались, в принципе, и более пикантные сочетания, и, конечно, уже сама возможность такого тлетворного развития событий в здоровом коллективе особенно сильно беспокоила все Бело-Халатное Руководство. Вот почему поиски одновременно велись и в Женской Цитадели, о чем со всей очевидностью свидетельствовали доносившиеся оттуда пронзительные визги. Что касается Мужской Цитадели, то желающих сознаться так и не нашлось. Вполне возможно, что в сохранении тайны не последнюю роль сыграло официальное заявление одного известного в прошлом адвоката, сделанное им публично. Как и все местные обитатели, он имел звучный псевдоним: Адвокат Струве, а лечили его здесь за то, что там, на Большой Земле, он пытался восстановить Римское право в полном объеме с учетом «*Corpus juris civilis*»¹ Юстиниана, ибо современное право, по его мнению, безнадежно деградировало. Заявление по поводу «Записок из бутылки» было сделано им во время коллективного просмотра теленовостей в Ленинской комнате.

— Граждане! — торжественно начал свою речь Адвокат Струве, предварительно сделав звук телевизора громче, чтобы ее случайно не услышали белохалатники. — Граждане! Как говорится, в присутствии народа, сената и патрициев осмелюсь всем вам напомнить, — он старался перекричать дикторов программы «Время» в телевизоре, что было непросто, лицо его побагровело от напряжения и стало почти одного цвета с эзотерическим лозунгом в «красном уголке», — напомнить вам о существовании так называемого Черного Акта, который был принят впервые в Англии еще в 1723 году. Да будет вам известно, граждане, что одна из статей упомянутого Акта гласит буквально следующее: «Всякий, кто вооружен мечом или другим вредоносным оружием (а здесь с полным на то основанием можно разуместь медицинский шприц, смирительную рубашу и всевозможные препараты, кои подавляют наш разум и волю), кто зачернил себе лицо либо иным образом изменил свою наружность (читай, «забелил» посредством белого халата и шапочки) и появился в каком-либо заповедном месте (под коим я понимаю наше специфическое заведение), где содержались или будут содержаться зайцы либо кролики, и надлежащим образом в этом уличенный, — карается смертью, как при уголовном преступлении!»

¹ «Свод гражданского права» (лат.).

Адвокат Струве многозначительным взглядом обвел обомлевшую аудиторию и продолжал:

— Оппоненты, если таковые осмелятся предстать перед судом, могут мне возразить, что, дескать, в данной статье вышеупомянутого Акта речь идет только о «зайце», и притом о «зайце» как о лице, обладающем статусом неприкосновенности, а следовательно, общественность может быть спокойна. Я же, в опровержение этой юридической казуистики, сошлюсь на то место в данной статье Черного Акта, где говорится о «другом вредоносном оружии», под коим я разумею не столько даже вышепоименованные шприцы, смирительные рубахи и препараты, сколько так называемые «методы психического воздействия», к каковым в данном разбираемом нами случае можно с полным правом отнести уже сам процесс поиска и захвата автора резонансного документа. Автора, известного нам под литературным, очевидно, псевдонимом Собака, и, в свою очередь, являющегося неотъемлемым атрибутом вышепоименованного Зайца. А посему действия, направленные — прямо ли, косвенно ли, — против атрибута объекта, по сути своей правомерно трактовать как действия, направленные против самого объекта, и должны квалифицироваться как уголовно наказуемые, что и требовалось доказать.

Вид у оратора был торжествующий. Он достал из кармана пижамы грязный носок и промокнул испарину на лысине. Общественность с восхищением следила за каждым его движением и ковыряла в носу.

— Граждане! — в заключение возгласил Адвокат Струве. — Соглашаясь с буквой закона, а также с обыкновенным здравым смыслом, я настаиваю на сохранении нерушимого *status quo*¹ — как сейчас, так и впредь, на всей территории данного «заповедного места». Это значит: во-первых, немедленно прекратить незаконные поиски любых «зайцев» и «собак», вне зависимости от их половой принадлежности, а во-вторых, отказаться от преследования всех тех, кто таковыми себя мыслит и ощущает, ибо еще никто не отменял свободу совести и вероисповедания, каковые являются глубоко личными и интимными сторонами жизни всякого гражданина. И только таким способом мы можем рассчитывать на так называемое *consensus omnium*².

¹ Статус-кво, существующее положение (*лат.*).

² Общее согласие (*лат.*).

Выступление Адвоката Струве произвело на почтенную публику неизгладимое впечатление. Видимо, чтобы уберечь ее от нервного стресса, уже через несколько минут оратора взяли под конвой и увели в неизвестном направлении, и обратно он так и не вернулся. Многие резонно полагали, что он составил пожизненную компанию охотнику на вампиров Ван Хельсингу.

Однако события имели продолжение. На следующий день отставного инспектора Пришивалова вызвали в кабинет-холодильник Главного Белого Халата, где ему предстояло второе после «страшилок» серьезное испытание. В кабинете было полным-полно белохалатников, которые с появлением на обеденном пороге инспектора Пришивалова сразу прекратили галдеж и уставились на него, как удавы на пресловутого зайца. Инспектор насторожился: уж не его ли здесь подозревают? Искусственная рука Фед-Феда неподвижно покоилась на столе, и лишь пальцы, словно покрытый инеем железный паук, с отвратительным скрежетом перемещались по стеклянной поверхности. Пришивалов и сам будто остекленел, и ему казалось, что это по его стынущей спине ползает этот самый паук, оставляя на нежных лопатках глубокие царапины.

Федор Федорович встал из-за стола и, поскрипывая суставами рук и ног, ковляющей походкой подобрался к нему почти вплотную. Дыша в лицо инспектора стужей, он доверительно спросил:

— У вас какое звание, инспектор?

— Так я... это... — Пришивалов зябко поежился. — Лейтенант.

— Лейтенант? Очень хорошо, душа моя! — Федор Федорович радостно подмигнул коллегам, а затем, перейдя на торжественно-деловой тон, почерпнутый, очевидно, из отечественных детективных телесериалов, обратился к совсем потерявшемуся инспектору Пришивалову. — Так вот, лейтенант. Я как старший по званию приказываю вам безотлагательно взять это дело в свои руки. Есть мнение, что вы справитесь, несмотря на полное отсутствие в вашей голове шишковидного тела... Так что, лейтенант, справитесь?

— С чем, товарищ?..

— Генерал, — подсказал Фед-Фед.

— С чем, товарищ генерал?

— Что «с чем»? — не понял Главный Белый Халат.

— Справлюсь! — заверил Пришивалов.

— Вот и хорошо, душа моя.

Далее последовали инструкции по проведению расследования и всех необходимых оперативных мероприятий по выявлению и задержанию особо опасных рецидивистов Собаки и Зайца. Федор Федорович выдал лейтенанту Пришивалову ордер на арест и обыск, а на прощание напутствовал словами о большом доверии, которое Руководство Обители возложило на неустрашимого инспектора.

— Вы ведь неустрашимы, инспектор?

Пришивалов недоуменно пожал плечами.

Сказать, что инспектор все понял в этом странном и запутанном деле, было бы явным преувеличением. Но как человек дисциплины и долга, он со всей ответственностью взялся за исполнение служебных обязанностей.

Итак, главное подозрение сразу пало на бывшего мидовского работника по прозвищу Молотов-Риббентроп. Следует вкратце рассказать его историю.

Родился Молотов-Риббентроп в семье состоятельной и уважаемой, в которой по мужской линии из поколения в поколение все были или послами, или ожидали, когда их куда-нибудь пошлют. Юный Молотов-Риббентроп рос мальчиком болезненным, мечтательным, тихим, спокойным и послушным. В школе был круглым отличником, а по окончании университета, тоже с отличием, пошел, как и ожидалось, по семейной стезе. Но то ли амбиции не хватило, то ли характера — дальше родного Министерства он никуда из дому не выезжал.

Еще в студенческие годы завелось у него одно прелюбопытнейшее хобби: ездить в общественном транспорте без проездного билета, или «зайцем», как это называлось на городском сленге. И не потому, чтобы он жалел копейки на такую мелочь (в деньгах молодой Молотов-Риббентроп никогда не имел недостатка), — а потому, что испытывал при этом какое-то особое, неповторимое, острое ощущение. Уже в отроческом возрасте ему с непостижимой легкостью удавалось неприметно ускользать от бдительного ока строгих контролеров на самом длинном в городе троллейбусном маршруте № 12, так что от Софийской площади до ВДНХ, и обратно, он заходил в полупустой троллейбус и выходил из него

совершенно безнаказанно по несколько раз в день. А в зрелые годы он и вовсе способен был растворяться в воздухе: стоя почти лицом к лицу с контролером, он становился будто прозрачным, что прямо свидетельствовало об изрядном мастерстве. Поступив на службу в МИД, этот, мягко говоря, чудной человек получил в пользование служебную «Волгу» с водителем, не говоря уж об остальных стандартных благах, соответственно рангу. Но бывшая страсть не исчезла вовсе. Более того, угнетенная служебным положением и изгнанная куда-то на невидимые околицы его нового, сверкающего огнями, образа жизни, она копилась и накапливалась, и вот, в один прекрасный день, почтенный мидовский работник не выдержал и вернулся к своему прежнему ремеслу, а точнее, к искусству. О, какое облегчение испытал он в тот же миг! Какая тяжесть упала с его сердца!..

Часто после работы он отпускал своего водителя, а сам, как бы демократично, отправлялся домой на троллейбусе № 12. Разумеется, без проездного билета. И ни одна живая душа — ни коллеги, ни жена, ни дети, ни ближайшие друзья, — никто и понятия не имел о его тайном хобби транспортного «зайца»!.. Однажды, освободившись со службы пораньше, Молотов-Риббентроп зашел в большой магазин игрушек «Сказка» на Красноармейской улице и купил совершенно замечательные плюшевые заячьи ушки и хвостик на резинках. Отныне эти милые сердцу вещицы всегда лежали в его портфеле, и, тихонько запираясь на ключ в своем служебном кабинете, он с удовольствием надевал их на себя и подолгу вертелся у зеркала. Дома то же самое ему приходилось проделывать в ванной комнате под шум льющейся воды.

За год Молотов-Риббентроп настолько вжился в роль и осмелел, что появлялся в троллейбусе при полном параде: в сером костюме-тройке, с ушками на голове и хвостиком сзади, как и положено настоящему зайцу. Кожаный портфель с документами довершал картину. Но переменам подвергся не только внешний облик, изменились и вкусы. Рацион Молотова-Риббентропа теперь состоял преимущественно из моркови и капусты...

Впрочем, в кулуарах Скорбной Обители бытовала и другая версия истории многострадального «зайца» Молотова-Риббентропа — менее возвышенная, но не менее любопытная. Согласно этой версии, в семье он прослыл полным вырождением, да еще и с

придурью. Учился из-под палки и стал рано заглядывать в стакан, и в университет поступил только благодаря своей фамилии и контрольному телефонному звонку прямо в голову ректора, а как закончил, помнил смутно. В МИДе он не проработал и года и сразу ушел на пенсию по состоянию здоровья — с циррозом печени. Прихода преждевременной старости Молотов-Риббентроп решил дожидаться на семейной даче, которую он на старорежимный манер называл «имением», а жена его, Молотовна-Риббентропша, та еще стерва, — «местом имения».

Начитавшись однажды на рыбной ловле Шекспира и Кальдерона, и подкрепив прочтенное бутылкой водки в не менее гениальном сочетании с наваристой ухой, бывший дипломат вдруг понял: истинное его призвание — театр, тем более что и жена не раз с улыбкой намекала, что в нем погибает талант настоящего лицедея, имея, очевидно, в виду мольеровского «Мнимого больного». Повинуясь зову Мельпомены и не совсем верно истолкованной улыбке жены, Молотов-Риббентроп вернулся в город, где в течение нескольких лет активно подрабатывал на любительской сцене и столь же активно попивал горькую за сценой. Пару лет назад, в самый разгар новогодних праздников, случилось так, что он вынужден был буквально разрываться на два фронта: по утрам исполнять роль Зайца в детских спектаклях, а по вечерам, во взрослых, перевоплощаться в дядю Ваню. И после «Зайца», и после «дяди Вани», дабы снять накопившееся напряжение и усталость, он изрядно напивался — особенно после ненавистного «Зайца». И вот как-то раз, по окончании очередного детского спектакля, вдребезги пьяный актер уснул прямо в гримерной комнате, а проснулся уже вечером, на отчаянный призыв из динамика: «На сцену! Срочно на сцену!..» Бедняга подхватился с места и, судорожно прилаживая на ходу ушки, хвостик и лапки, весь в белом плюше, со страшным запахом изо рта, выскочил на ярко освещенную сцену. Увидев дядю Ваню в костюме зайца, публика взмокла. «Нет, вы только посмотрите на этого плэйбоя!» — довольно громко возмутилась сидевшая в партере какая-то пожилая театральная дама и демонстративно покинула зал. Спектакль был остановлен. Но вовсе не потому, что публика поспешно расходилась, и не потому, что актер был не в состоянии играть. Как раз он был в состоянии играть и первую же реплику произнес блестяще, зевая во весь рот и угрюмо глядя не то на Астрова, не то

на белого, как мел, режиссера, видневшегося за кулисой: «С тех пор как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи... Да... Сплю не вовремя, за завтраком и обедом ем разные кабулы, пью вина... нездорово все это!..» Тут Астров стал судорожно давиться хохотом, а вслед за ним начали хохотать остальные актеры, а следом — и весь зал. Не смеялся один лишь главный режиссер. Он махнул рукой и схватился за голову. Занавес упал вместе с ним, и ассистент режиссера скорбным голосом объявил, что «дядя Ваня болен и спектакль переносится».

Какая из двух версий была правильной, для инспектора Пришивалова не имело столь уж большого значения. Он просто взял и предъявил Молотову-Риббентропу ордер на арест, потому что предъявлять его все равно было больше некому. Подозреваемого удалось снять прямо с «троллейбуса», который провокационно разыгрывали из себя несколько подосланных «оперативных работников» — инспектор без труда нанял их за стакан столовского клюквенного киселя с бромом. Выстроившись один за другим во дворе Обители, они гуськом носились по аллеям, от скамейки к скамейке, с объявлением всех остановок. На протяжении целых трех дней хитрый инспектор Пришивалов лично участвовал в этом действе в качестве «контролера». И «заяц», что называется, клюнул на наживку! Правда, обнаружил он себя не сразу, сначала тщательно и подолгу изучая обстановку — то из окна палаты, то из-под куста или из-за дерева: нет ли опасности, — а на второй день не выдержал. Инспектор только этого и ждал. Дальнейшее было делом техники. «Заяц» осторожно пристраивался к «троллейбусу» то спереди, то сзади, то посередине, он трусливо прятал глаза или делал вид, что смотрит в «окно», а когда в цепочке появлялся «контролер», то есть Пришивалов, мгновенно соскакивал, часто даже на ходу, рискуя сломать себе шею, но зато сполна удовлетворяя свою тоску по настоящей жизни. На четвертый день, уже достаточно изучив все повадки и ухищрения преступника, инспектор Пришивалов поджидал его возле поломанной скамейки, которую «водитель» обычно объявлял так: «Золотые Ворота. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка “Театр оперы и балета!..”» Он уже заранее знал дислокацию «зайца» на этом отрезке пути, а потому, как только «троллейбус» поравнялся с остановкой «Золотые Ворота» в образе поломанной скамейки, инспектор быстро влез в цепочку, почти не глядя схва-

тил Молотова-Риббентропа за руку и, не давая ему опомниться, попросил предъявить проездной билет, а заодно и документы. Как и следовало ожидать, ни того, ни другого в наличии не оказалось. «Заяц» дрожал, как настоящий, и пытался невнятно что-то объяснить. Но куда там! Инспектор свое дело знал. Он вывел его из «салона», который десятком глаз с недоумением взирал на происходящее, и, предъявив ордер на арест, повел прямо к Фед-Феду. «Заяц» заплакал, но все же подчинился. Пришивалову почему-то стало его жалко, но служебный долг следовало выполнить до конца. Служба есть служба — ничего личного.

— А где же «Собака»? — спросил Главный Белый Халат, с задумчивым любопытством поглядывая то на Молотова-Риббентропа, то на Пришивалова.

Через десять минут инспектор приволок в кабинет Черныша, который, как обычно, околачивался на хоздворе, возле кухни. Вероятнее всего, читать пес не умел. Но, по мнению инспектора Пришивалова, это вовсе не означало, что он не мог написать «Записки из бутылки». Поэтому, даже не предъявляя Чернышу ордер на арест, он просто схватил его за ошейник и поволок за собой к великому и ужасному Фед-Феду. Пес жалобно скулил и упирался всеми четырьмя лапами, но твердая рука правосудия не дрогнула.

Увидев обоих подозреваемых у себя в кабинете, Федор Федорович пришел в неописуемый восторг. Он тут же по селектору созвал своих коллег и в их присутствии поручил инспектору Пришивалову провести очную ставку между собакой и «зайцем».

На вопрос инспектора, знает ли «заяц» сидящего перед ним и поскуливающего пса, допрашиваемый пожал плечами и сказал только, что лично не знаком, а видел лишь пару раз, как тот молчал под пирамидальным тополем возле «остановки Львовская площадь».

— Третья скамейка от центрального входа, — расшифровал инспектор Пришивалов Федору Федоровичу, кутаясь в больничный халат от нестерпимого холода.

— Как это мило! — восхитился тот.

Далее произошло то, чего все и ожидали: виляя хвостом, Черныш подбежал к сидевшему на стуле Молотову-Риббентропу и, встав на задние лапы, лизнул его в нос.

— Ага! — пронеслось по кабинету.

Затем пес подбежал к инспектору Пришивалову и также лизнул в лицо.

— Ого! — откликнулись Белые Халаты.

Очевидно, восприняв такую реакцию зрителей как знак одобрения, обнаглевший пес радостно подскочил к Федору Федоровичу и...

— Все свободны! — едва сдерживаясь, чтобы не взорваться, сказал Главный Белый Халат, брезгливо вытирая салфеткой мокрое от слюны лицо.

Когда подозреваемые покинули кабинет, Федор Федорович холодно пожал своей железной рукой руку инспектора Пришивалова, чуть не расплющив ее, поблагодарил от лица Родины за службу и наградил шоколадной медалькой в позолоченной фольге.

Выйдя за дверь, в коридор, Пришивалов с недоумением разглядывал медальку и думал: уж не сошел ли Фед-Фед с ума? А тот, в свой черед, остекленевшим от злости взором обвел своих замерших в неподвижности коллег, потом посмотрел на дверь, за которой только что скрылся инспектор, и со вздохом разочарования произнес:

— Конченный.

Таким образом, отставной инспектор Пришивалов и здесь также был отправлен в отставку. Сам себе дивясь, он в тот же вечер разыскал на хоздворе невинного Черныша, который, как оказалось, лизнув Фед-Феда, отморозил себе язык, и, ласково потрепав его за ухом, извинился. В знак примирения пес завилял хвостом, а потом мигом смотался на кухню и принес Пришивалову в зубах полуобглоданную говяжью кость. Но от угощения инспектор тактично отказался, пожал Чернышу лапу и пошел спать.

Несколько дней спустя, когда, казалось, все уже улеглось, в Скорбной Обители объявился еще один странный документ. У него было очень длинное и вычурное название: «Завещание Пса Петрова, гражданина мира, составленное им лично в Киеве, в году 1982, месяце сентябре, двадцать первого дня, в ясном сознании, в здравом уме и при полной памяти». Документ сей, в отличие от «Записок из бутылки», был немногословен, но явно принадлежал тому же перу. Свою «непокорную косматую голову» вышесказанный Пес завещал «неразумному человечеству»; клы-

ки, туловище, лапы и хвост — некоему гражданину Седовласову, «стукачу, тирану и полной бездари» (так и было написано!); детородный орган предназначался какой-то болонке Кнопе, «как скромная компенсация за ее несбывшиеся надежды»; содержимое кишечника, «если таковое на момент кончины будет иметься» — Верховной Администрации Города, а сердце — Зайцу.

Еще упоминались какие-то рукописи (очевидно, «бутылочные»?) — они были завещаны некоему «Классику» (причем, что характерно, безымянному и бесфамильному), — и, наконец, картина — «Портрет Зайца Белого на белом фоне. 1978. Масло, холст, 130x195 см» — Национальному музею изобразительного искусства.

Большинство «скорбных» обитателей сошлись во мнении, что это фальшивка. А отставного инспектора Пришивалова «Завещание» почему-то глубоко тронуло. Ему удалось незаметно сунуть его себе в карман, а потом, улучив момент, он прикопал его под старой рябиной на заднем дворе...

IV

Теперь, когда в услугах сыщика в Скорбной Обители никто не нуждался, и ему была дана отставка, инспектору Пришивалову ничего не оставалось, как обратить свой пытливый взор на жизнь отдельных индивидов. Иными словами, с куда большим интересом и вниманием стал он относиться к тем, кто его окружал, тем более что сотоварищи Пришивалова в основном также были отставниками. Каждый имел свой псевдоним — уж так здесь было заведено, — и за каждым стояла какая-нибудь необыкновенная история.

В первое время особенно крепко он сдружился с соседом по койке, неким отставным ботаником Хвощем-Мичуриным, который был известен тем, что добился больших успехов в клонировании овощей, но однажды сорвался и зарубил насмерть топором старую дыню, которая была против. После этого душа дыни являлась ему во сне каждую ночь и говорила, что всеми его огурцами, помидорами и перцами нельзя даже водку закусывать, что все они мертвы и никогда не обретут бессмертия.

Хвощ-Мичурин утверждал, что будто бы познал теперь всю суть Начала и Конца в извечном их противостоянии и взаимопо-

ретекании. И Начало, и Конец, любил повторять он, могут приобрести в этом мире многоликие формы, что для всякого индивида весьма осложняет правильность выбора того или иного жизненного пути и способов поведения. Ибо ничего не существует в чистом виде: в Жизни, например, всегда присутствует некий процент Смерти — и наоборот. Все дело в пропорциях и соотношениях. Вот почему так важно научиться в этих формах и соотношениях безошибочно разбираться. Этому отставной ботаник Хвощ-Мичурин и пытался учить новичка Пришивалова, приводя различные примеры из окружающей действительности. Скажем, «белый халат» или «белые стены», по мнению Хвоща-Мичурина, символизировали «свет» и «добро». А значит, Жизнь. О том, в каких символах выражается Смерть, не считая, конечно, страшной скелетины с острой косой, отставной ботаник рассказывать не хотел ни под каким предлогом, объясняя свое нежелание той величайшей опасностью, с которой столкнется еще не оперившаяся душа Пришивалова на пути познания Небытия, в котором, разумеется, всегда присутствует некая частичка Бытия. «Типичный конформизм», как обо всем этом однажды сказал кто-то из местных авторитетов. Что означает слово «конформизм», Пришивалов тогда еще не знал, но даже несмотря на это, пример с «белым халатом» ему показался не очень убедительным. На откровенный вопрос инспектора: зачем все-таки ботаник зарубил топором дыню, неужели нельзя было как-то договориться? — тот опускал глаза, сейчас же делался грустным и задумчивым и тусклым голосом долго и туманно рассуждал о сложнейшей цепи причинно-следственных связей, ведущих к преступлениям, в каждом из которых непременно имеется частичка добродетели.

Все эти рассуждения отставной инспектор слушал с глубоким интересом, ибо все, что касалось преступлений, еще совсем недавно являлось предметом его профессиональных забот. Иногда в памяти всплывали какие-то бессвязные обрывки из «Инструкции о Воздаянии», которую он имел смелость зачитывать с нестораемого шкафа майору Канюке, и тогда его охватывал необъяснимый страх и потом долго не выпускал из своих ледяных объятий. Пришивалов бросался на кровать, зарывался лицом в подушку и старался поскорее уснуть.

Изредка убийцу дыни навещала жена, — по словам Федора Федоровича, «излишне невротизированная нынешним состояни-

ем мужа». Их нечастые семейные встречи происходили в запущенном саду, где супружеская пара, взявшись за руки, медленно прогуливалась по тенистой аллее.

Помимо Хвоща-Мичурина, в одной палате с Пришиваловым жили еще трое. К сожалению, с волшебником Мерлином Исааком Марковичем, сыном смертной женщины и хронического инкуба, тесной дружбы не получилось, главным образом оттого, что все свободное время тот либо колдовал, сидя в постели, либо вел подробный подсчет ворон в саду, боясь нечаянно пропустить момент возвращения короля Артура. Иногда, в определенные лунные дни, Мерлин выходил на аллею сада и выворачивал обрамлявшие ее кирпичи, чтобы строить из них на зеленых лужайках маленькие «стоунхенджи».

Еще сложнее обстояло дело с отставным литератором Побродягиным по кличке Пруст. Рассказывали, что будто бы перед тем, как попасть в этот оторванный от Большой Земли оазис, он познал в себе сколь странную, столь и ужасную способность, которая, так быстро развивалась, что чуть было совсем не сжила литератора со свету. А все началось с совершенно необоримой жажды писать. День и ночь писал Побродягин-Пруст единственный, но грандиозный роман, в котором смешались в кучу все жанры, стили и направления старой и новой литературы. И писал он на всем, что бы ни подвернулось под руку: если супница — значит, на супнице; галстук — на галстук... Вскоре в доме не осталось ни одного предмета, не исписанного его мелким нервическим почерком гения: стены, потолки, двери, стол, посуда, холодильник снаружи и даже внутри, весь гардероб, от драпового пальто с каракулевым воротником до нижнего белья. Благодаря носкам, зубной щетке, мьльнице, чайному сервизу и прочим мелочам, Побродягин-Пруст научился емко, в нескольких словах, выражать высокое, глубокое и широкое — в общем, многое. Однажды он почувствовал, что пора выходить в мир. Писание на перилах, в лифтах, на скамейках, на осенних листьях и даже на крылышках мотыльков опустошили его морально и истощили физически, а посему ничего больше не оставалось, как остановиться и хоть на время заняться чем-нибудь противоположным. Противоположностью по отношению к писанию, конечно, было чтение. И именно в чтении ему виделось настоящее спасение. Но тут Побродягина-Пруста подкарауливала новая, еще более подлая

неожиданность. Любой текст, художественный, философский или технический, только что прочитанный его глазами, мгновенно исчезал, будто слизанный, с поверхности страницы, которая потом навсегда оставалась абсолютно чистой, словно никогда и не проходила через типографский станок! В течение нескольких месяцев бурного чтения и тщетных надежд бедняга превратил всю свою многотомную библиотеку в склад хорошо прошитой и переплетенной макулатуры. Правда, теперь можно было по собственному усмотрению заполнять очищенные страницы, но такая перспектива больше не радовала, потому что заполнять их было нечем: все уже давно было написано. Дошло до того, что Побродягин-Пруст боялся выйти на улицу, чтобы случайно не слизнуть взглядом название какого-нибудь магазина, ресторана или кинотеатра. В троллейбус или трамвай он садился, не глядя на номер маршрута, руководствуясь только своей интуицией, ибо не хотел низвергнуть в хаос общественный транспорт города. А если рядом кто-нибудь в кафе или в вагоне метро читал свежую газету, Побродягин-Пруст вставал и отходил подальше, с ужасом представляя себе реакцию ничего не подозревающего читателя на внезапное и ничем не мотивированное исчезновение «печатного слова». Не помогли ни черные очки, ни трость, — эти традиционные атрибуты классического слепца, — чтобы не вызывать подозрений в обществе. Собственно, обществу было глубоко наплевать, зряч или не зряч один из его рядовых членов, а вот кошмарная способность уничтожать письменную культуру одним лишь взглядом, невзирая на очки и трость, не только никуда не исчезла, но и продолжала набирать силу. К тому же, роль слепого была унижительна и не освобождала от ответственности. С тех пор как Побродягин-Пруст обзавелся казенной койкой и больничным халатом, он не прочитал и не написал ни единого слова. Такой поворот болезни совершенно не обрадовал белохалатников, ибо они очень остро почувствовали свою не востребованность, которая превратилась и вовсе в граничащую с оскорблением полную ненужность, когда к своим неписанию и нечитанию больной добавил еще и абсолютное неговорение. Да, говорить Побродягин-Пруст тоже перестал, полагая, что печальный талант его, как зараза, перекинется и на устную речь. Среди своих нынешних товарищей он вел теперь жизнь Гарпократа, не слишком, правда, юного. И если Пришивалов или кто-нибудь иной, еще не постиг-

ший этот образ жизни, обращался к Побродягину-Прусту с каким-нибудь вопросом в надежде поговорить, тот прикладывал к губам палец, как бы понуждая к молчанию.

Однажды Пришивалова озарила блестящая догадка, от которой аж дух захватило, и, не долго думая, он напрямик спросил у таинственного молчальника, не он ли написал ту самую «Книгу Книг», из-за которой инспектору набили лицо, отправили в отставку, жгли левую лопатку, попортили правый верхний зуб, травили газом, выносили на крышу и в конце концов уpekли за толстые белые стены. Но этот новоявленный бастард Осириса и Исиды, этот «горе-ребенок», как называл его насмешливо Фед-Фед, изумленно выгаращился на Пришивалова и даже, как тому показалось, покраснел от стыда. Затем он поднял свой гарпократов палец, но не к губам, как обычно, а к виску, и с особой выразительностью покрутил им несколько раз туда-сюда, после чего пошел по коридору, не оглядываясь. А отставной инспектор Пришивалов раз и навсегда зарекся кому-либо рассказывать о злосчастной «Книге Книг».

Койку у двери занимал Троцкий-Кропоткин — лучший друг и соратник Гарибальди, Фиделя Кастро и Ясира Арафата, которые и по сей день состояли с ним в регулярной переписке. И, пожалуй, это было его единственное достоинство. Время от времени он покидал Обитель на целый день и, пристроившись у фонарного столба при дороге, записывал в красненький блокнотик номерные знаки проезжающих автомобилей. По вечерам, во время ужина, он зачитывал их вслух — все до единого.

В соседней палате обитал старый погонщик дождевых туч и ловец молний по прозвищу Громоотвод. Он был убежден, что не зря ест свой хлеб, ибо, по статистике, в одной только Франции молнии убивают ежегодно до ста человек. «Отдыхайте, ребята! Я всегда на страже», — любил говаривать он. Громоотвод мог несколько дней кряду скрываться в своей кровати у самого окна, словно в засаде. Он с головой зарывался под одеяло, и через минуту-другую из-под этого одеяла начинал струиться дым. Когда товарищи делали ему замечание и просили не курить в палате, в которой и без того дышать нечем, ловец молний высовывал свою лысую голову наружу и сообщал неблагодарным обывателям, что буквально минуту назад своими собственными руками загасил очередную шаровую молнию, и если бы не его старания, все тут было бы испепелено дотла.

Жил тут еще и «тараканий» активист Вениамин Соломонович Омбудсмен (так якобы звали его), который являлся особым и полномочным представителем всемирного тараканьего движения. А движение сие, ни на день не прекращавшееся, в том числе и на территории Скорбной Обители, постоянно нуждалось в защите естественного права на жизнь и продолжение рода, что, по справедливости говоря, было не чуждо и человеку с его основными инстинктами. «Если тараканы бегают, значит, это кому-нибудь нужно!» — восклицал правозащитник и далее сетовал на то, что человек (увы!) по своему обыкновению, в близорукости своей, вечно борется не с причиной, а со следствием. Мусор порождает тараканов, а не тараканы — мусор. Пришивалов, кривьясь, все же вынужден был согласиться с такой формулировкой — к тому времени он уже довольно неплохо освоил причинно-следственные связи, изложенные ему убийцей дыни Хвощем-Мичуриным.

Считая себя диссидентом, сосланным во «внутреннюю эмиграцию», Омбудсмен Вениамин Соломонович продолжал действовать: писал письма и воззвания, готовил статьи и репортажи для западных средств массовой информации, вел разъяснительную работу и т.д. и т.п. В последнее время он распространял по палатам написанные от руки анкеты, чтобы на основании собранных статистических данных провести всеобщую перепись тараканьего населения.

— Уважаемый Федор Федорович! — обращался он к Главному Белому Халату, совершавшему очередной утренний обход. — Я вынужден поставить в известность вас и всю общественность об очередном преступлении против гуманности.

— В какой палате у нас Гуманность? — строго спрашивал Фед-Фед, поворачиваясь к своим коллегам.

— Во всех без исключения, — отвечали белохалатники. — И несть ей числа...

— Вчера, — продолжал «тараканий активист», — между семью и половиной девятого вечера, двое граждан из третьей палаты избивали таракана ногами, не посчитавшись даже с его женским полом.

— Очень хорошо, душа моя. Спасибо за своевременный сигнал, — следовал стандартный ответ. — Непременно разберемся, виновных накажем.

Так, час за часом и день за днем, отставной инспектор Пришивалов познавал и обживал этот новый для себя мир с его самобытными законами и обычаями...

...Да, безумие — состояние, не подвластное контролю. И не заметишь, как вошел во вкус, а вышел в открытый космос... Кстати, о космосе. На фоне множества других жителей Скорбной Обители, мало чем примечательных и кроме как ленью и мелкими невинными шалостями один от другого не отличавшихся, особенно выделялся еще один персонаж — заслуженный летчик-космонавт, по прозвищу Луноход. Был он человеком грубым и неотесанным, на вид лет пятидесяти. До того как стать космонавтом и Луноходом, он мирно торговал пивом под старым тополем на углу Андреевского спуска и Боричева Тока, целыми днями просиживая у желтой пивной бочки на колесах, в засаленном переднике с папиросой в зубах. И бочку эту на самом перекрестке, и продавца пива инспектор Пришивалов хорошо помнил. Разве забудешь такое?! Но вот незадача: тот продавец был пузатый и мордатый, с пышной шевелюрой, а этот — совершенно лысый, с обвислых щек у него все время сыплется какая-то шелуха, да и пузатым его никак не назовешь — во всяком случае, теперь... Странно, странно... Некоторое время инспектор Пришивалов изучал этого подозрительного гражданина, держась на расстоянии. «Надо же, как все-таки жизнь меняет людей!» — думал он (пожалуй, это были его первые самостоятельные философские прозрения)... Так вот, Луноход этот рассказывал, что будто бы однажды в теплый субботний день, — и тому якобы было много свидетелей, — подковылял к его бочке этакий здоровенный кряжистый тролль, поболтал с ним минуты две-три — так, ни о чем, — расплатился золотым червонцем и убрался прочь, а пиво в бочке превратилось в чистейший янтарь! Услышав о здоровенном кряжистом тролле, Пришивалов звонко икнул и побледнел, а щиколотки его ног похолодели. Все тут же на него зашикали, словно в театре.

— А народ-то вокруг совсем озверел! — продолжал Луноход, входя в раж. — Еще бы! Целая бочка янтаря — литров пятьсот, наверное, было! Ну и, сами понимаете, как набросились тут все этот янтарь черпать, кто в бутылки пустые, кто в банки, а кто и в целлофановые кульки, и по домам тащить, пока он совсем не застывает!..

Что случилось с кулками и банками, Луноход не знал, а вот бутылки, — черт бы их побрал! — той же ночью превратились в стеклянно-янтарных лошаков. И вот они, тихохонько позвякивая копытами, выпархивали из темных окон и, что твои стрекозы, строились в эскадроны и так, рядами, улетали себе и улетали прямехонько на самую Луну! Что же до него, торговца пивом, то он так остолбенел, что был, ни дать ни взять, как янтарный. Тут-то его и привинтили!

— Привинтили? — изумлялись слушатели. — Привинтили, а может, приклеили к передку янтарной бочки, будто ямщиком на облучок. А потом впрягли тех самых, еще оставшихся на Земле, янтарно-стеклянных лошаков и погнали таким экипажем...

— Куда? Куда погнали? — не выдерживали слушатели. — Да туда же, будь они неладны! На Луну!

— А кто привинчивал?.. Да, кто приклеивал тебя к бочке? Кто впрягал? — отовсюду сыпались вопросы.

— Да кто ж его знает, мать честная?! — восклицал Луноход. — Черти какие-то, это уж как пить дать.

— А может, пришельцы? Может, ты контактер?..

Эх, да не все ли равно, кто привинчивал, приклеивал, впрягал — черти или пришельцы? Один хрен! Как бы там ни было, главное, что, сидя во главе бочки, будто истукан какой-то, торговец пивом долго парил над заводскими районами Киева. Даже над домом родным один раз пролетел! А потом треклятая бочка с лошаками начала набирать космическую высоту, и наш городгерой стал быстро уменьшаться и округляться, пока и вовсе не превратился в голубоватый шар, величиною с футбольный мяч.

— И так захотелось его футбольнуть! — бахвалился Луноход.

— Вот трепло! — отвечали ему слушатели. — Сам-то, небось, от страха обделался!

— Ну обделался, будь оно неладно! — соглашался тот, хмурясь пучками бровей. — Меня ведь в Звездных городках не обучали! Раз-два — и сразу в космос. Посмотрел бы я на вас, умников!

Вторая часть эпопеи — уже о непосредственном пребывании на Луне, — была еще бессвязней и запутанней и изобиловала огромным количеством всевозможных восклицательных междометий, с помощью которых Луноход пытался описать лихую езду по лунному ландшафту, купание в лунных морях и головокружительные спуски в лунные кратеры. Окончания своего путешествия

Луноход напрочь не помнил. От восторга и ужаса он потерял сознание и очнулся уже в Скорбной Обители, весь какой-то пожелтевший и похудевший, с диагнозом: «прогрессирующая шизофрения, осложненная хроническим гепатитом».

— Меньше надо янтаря пить! — съязвил кто-то из слушателей.

Другие от души смеялись и говорили:

— А ты, видать, на пиве обсчитывал!

— Ну обсчитывал. А кто сейчас не обсчитывает, а? — ярился Луноход, багровея пуще прежнего. — Это ж не повод человека в космос отправлять! Так у нас вся торговля на Луну улетит, а кто ж на Земле торговать будет?

— Ой, только не надо жаловаться! Вы, торгоши, и на Луне своего не упустите.

Пришивалов слушал всю эту луниаду очень внимательно, стараясь ничего не упустить, но все равно концы с концами никак не сходились. Снова и снова перебирал он в памяти события того кошмарного дня на Андреевском спуске: и густеющие прямо на глазах янтарные лужи возле пивной бочки, и всех этих свихнувшихся граждан с их банками-склянками, и потерю своей «хворменной хвужажки», и Акт об изъятии золотого червонца, который он лично составил, и затем прибытие эксперта с целой химлабораторией, и, особенно, Главного Администратора, прикатившего на администробусе, потного и злого, как десять тысяч Канюк. Все это он еще как помнил! Такой беспорядок!.. А пожар на Флоровской улице, будто специально кем-то подстроенный в этот момент!.. Да, денек был — хуже не придумаешь! А потом еще и это следствие по делу об объантарившейся бочке, которое так и закончилось — ничем. Да и как иначе оно могло закончиться, если уже на следующее утро проклятая бочка вместе с пивопродавцем бесследно исчезли, а ему, участковому инспектору Пришивалову, майор Канюка устроил жесточайший нагонный и пообещал лишить погон и должности. Как же такого не помнить!.. И вот теперь выясняется, что этот пивной пузан стал Луноходом! Но как же так? Ведь вся страна видела на первых полосах всех газет знаменитые снимки с этой консервной банкой на колесиках, и Пришивалов тоже видел их, и сейчас, сколько ни сравнивал, ничего общего между двумя Луноходами не находил. Даже отдаленного сходства между ними не было. Да и

не могло быть!.. Но антропоморфный Луноход бил себя кулаком в грудь и чуть не разрывал на ней больничный халат, настаивая на своем: в космосе был, Луну освоил, и теперь, стало быть, причислен к славному отряду отечественных космонавтов, вслед за Белкой, Стрелкой и Гагариным!

— Ничего, ничего! — утешали его слушатели. — Говорят, америкашки, побывав на Луне, тоже спятили...

Настоящая мужская дружба сложилась у Пришивалова с бывшим кровельщиком Вострокнудом. Это был человек высокого полета, но, конечно, не в прямом смысле: с крыш он ни разу не падал. Здесь, в Скорбной Обители, он обрел, как он сам говорил, вторую родину и чувствовал себя почти счастливым, несмотря на то, что где-то на Большой Земле остались жена, трое детей, строительная контора, в которой он по-прежнему все еще «висел» на Доске Почета, и хорошие заработки. А уж крыш городских избородил вдоль и поперек столько, что и не скажешь точно, где больше времени провел — на земле или, образно говоря, в небе. Но постепенно наскучило ему все это. И стало тяготить его такое бесперспективное и, как сам он выразился, «однокрылое» положение в обществе. И дело тут было совсем не в его непримечательной профессии, за которую Ленинскими премиями не награждают, и не в образовании, — точнее, не в его отсутствии, — в конце концов, истинными проводниками веры были не лауреаты, не академики и не всеильные чиновники, а простые рыболовы и плотники. Причина внутреннего конфликта крылась в вещах совсем иного рода. Некие предчувствия и озарения — вот что просветлило сознание кровельщика Вострокнута и как бы переселило или, точнее, перенесло его на другую планету. Конечно, он и сам с некоторых пор ощущал свое непреходящее величие, но, в отличие от вечно кокетничающих так называемых представитель культурной элиты, не боялся честно себе в этом признаться, и рефлексии на этот счет были ему чужды. Величие Вострокнута было, так сказать, корневым, врожденным и естественным, как дыхание, а потому не требовало изматывающих дух и тело бесконечных осмыслений. И с любой мало-мальски приличной крыши он видел это особенно хорошо. Так, величие быстро росло и укреплялось, набирая силу небес, солнц, дождей и снегов. Оно рвалось на волю, ибо тесно было ему, как и всякому величию, в узких рамках, установленных рутинными правилами и предписаниями,

за которыми, как всегда, скрывались безликие авторы и такие же безликие исполнители. И вот однажды, без всяких объяснений, кровельщик Вострокнут неожиданно заперся в своей комнате и никого к себе не впускал три дня и три ночи. Изумленная жена, перепуганные дети, возмущенные соседи — все слышали доносившиеся из-за двери грохот, скрежет, стук и громкие песни, из чего взрослые сделали вывод, что Вострокнут либо сдурел, либо запил, да еще «козла» с кем-то забивает, только вот непонятно, с кем: все соседские мужья были на месте. Дети же не делали никаких выводов, потому что еще не научились их делать. Зато попробовали подпевать папаньке, за что от маманьки сразу получили по заднице. Когда же Вострокнут окончил свой таинственный труд, он распахнул настежь окно и радостно вышел прямо в летний дождь! Это ничего — ничего, что сотрясение мозга, и что жена ушла навсегда, и что, подрастая без отца, дети будут думать, будто отец их был легчиком-испытателем и однажды геройски погиб в небе — в каком-то смысле так оно и есть... Все это — пустое! Главное, что посреди комнаты, на большом круглом столе, покоилась, им самим задуманная и построенная, настоящая модель Рая.

Эх, если бы не происки сильных врагов, которых у истинно великих людей всегда и во все времена хоть отбавляй, если бы не измена друзей и близких, бросивших его одного на тернистом пути к правде и величию, он непременно бы добился самого широкого обнародования своей модели Рая, а заодно попутно изложил бы еще одну модель — нового экономического устройства нашего государства...

— И вот теперь я здесь, — с едва уловимой печалью в голосе говорил Вострокнут.

— Да-а-а, — покачивая головой, сокрушался Пришивалов. — Уж я-то знаю, что такое враги и как они жгут и травят!

Говоря так, Пришивалов вовсе не думал претендовать на первенство, уступая его отставному кровельщику. Он хорошо понимал, что у того, как у истинно великого мастера, соорудившего не черт-ти что, а настоящую модель Рая, и судьба была неизмеримо труднее, и враги куда могущественнее и опаснее, чем Полийвода Гарпогена Бонифатьевна, Матрена Свиняк-Свинюховская и дикий Котомыш Лаврентий вместе взятые.

Все же, несмотря на свое величие, Вострокнут подкупал простотой и сердечностью. Он любил повторять, что величие не пе-

редается по наследству и уж тем более не покупается за деньги, и что отцом его был простой деревенский мужик (между прочим, воздвигнувший на своем огороде установку для улавливания космических флюидов), и он гордится тем, что вышел из самых низов. Кстати, примерно так же он выразился и в приемном отделении, когда Главный Белый Халат проводил с ним короткое собеседование, оформляя на новое место жительства. Нежно обняв Вострокнута за плечи, Федор Федорович улыбнулся ему в правый глаз и проникновенным тоном переспросил:

— Ах, душа моя! Это из каких же таких низов вы вышли? То есть, в каком смысле? В раблезианском или в смысле Гермеса Трисмегиста?

— Да! — на всякий случай твердо ответил отставной кровельщик, на что Федор Федорович озорно пригрозил ему черным металлическим пальчиком и лично препроводил в палату.

V

Надо сказать, все-таки этот Федор Федорович был очень странным человеком. Во-первых, он постоянно носил с собой в кармане огромный старомодный монокль с толстой линзой изумрудного цвета, и то и дело зачем-то приставлял этот монокль к своему пластмассовому глазу. А во-вторых, казалось, он не относился всерьез ни к своим коллегам-белохалатникам, ни к своим пациентам. Обычно на лице его тлела презрительная ухмылка. Порядки, им заведенные, также имели в природе своей нечто непостижимое: с одной стороны — место нездоровое, юдоль печали, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые непременно должны ощущаться всеми ее обитателями, а с другой — относительная свобода, скорее, правда, обманчивая, но к которой все настолько привыкли, что уже и не помышляли о какой-либо иной свободе; возможно, иная — их просто-напросто пугала. Складывалось какое-то противоречивое впечатление, что, руководствуясь в своей практике самыми тривиальными методами воздействия и, беря шире, «главными руководящими принципами», изложенными в любом школьном учебнике по Обществоведению, Федор Федорович словно бы воссоздавал некое микрообщество, некую самодостаточную систему, в которой, однако, явственно просматривались так называемые «тенденции», абсолютно не согласующиеся с теми самыми «руководя-

щими принципами». Разумеется, прямо об этом парадоксе никем и никогда не говорилось, — во всяком случае, вслух, — но любому человеку, достаточно осведомленному, например, в философии европейского романтизма (а такие здесь водились в избытке), не могла не броситься в глаза почти прямая аналогия со знаменитым требованием истого романтика Шеллинга, а требовал он, прежде всего, равных прав для воображения — не только для разума; требовал он того, чтобы ничто в универсуме не было подавлено или безраздельно подчинено чему-либо и чтобы каждая вещь жила своей особенной и свободной жизнью. И, что самое интересное, именно так здесь все и жили. А если и случались какие-нибудь неожиданные всплески неадекватности, они немедленно подавлялись, очевидно, во имя сохранения гармоничного целого. Так ли все было на самом деле или нет, однозначно утверждать, конечно, сложно. Пожалуй, лучше всех мог бы растолковать этот парадокс отставной философ Интеллигатор, наводивший ужас на местных мыслителей мощью своего интеллекта. Но он-то как раз предпочитал отмалчиваться. И вообще на все ему здесь было начхать, кроме своей книги, которую он писал исключительно под одеялом, пользуясь довольно громоздким китайским фонариком. Поначалу этот аскетической внешности человек с изморщенным лицом и длинными седыми волосами внушал Пришивалову прямо-таки благоговейный страх. Это правда: многие в Обители считали отставного профессора сумасшедшим, но вовсе не это обстоятельство устрашало инспектора. Страх его был, скорее, неосознанным самоуничижением плебея перед родовым аристократом. Правда, в простоте души своей Пришивалов не знал такого обычного для плебея чувства, как зависть, и, похоже, эта внутренняя чистота его помыслов тронула старое сердце сурового профессора. К всеобщему удивлению, между ними даже возникло нечто похожее на дружбу. Настолько, конечно, насколько сам Интеллигатор, человек по природе своей нелюдимый и замкнутый, был на нее способен.

— Стало быть, вас объявили сумасшедшим в приказном порядке? Как великого Тассо? — с некоторой долей любопытства спрашивал он Пришивалова. — Что ж, есть чем гордиться... Добро пожаловать в наш Castello Estense¹!

¹ Замок д'Эсте (итал.).

В беседах с Пришиваловым он иронично посмеивался над настольной моделью Рая кровельщика Вострокнута, над луноходом экс-продавца пива, над анкетами тараканьего активиста Омбудсмена и над прочими игрушками своих сотоварищей. На первых порах Пришивалов мало что понимал в пространных и заумных речах Интеллигатора, поддаваясь, скорее, их монотонному ритму и обаянию голоса и постепенно впадая в глубокий успокоительный сон. На лице его, и без того свободном от морщин, появлялась и еще долго потом теплилась блаженная улыбка, и это было так хорошо! А Интеллигатор, как будто не обращая внимания на то, что его не слушают, может быть, больше для самого себя говорил, что, слава Богу, навсегда распрощался с классической немецкой философией, ибо когда однажды встретил на лестничной клетке возле мусоропровода Иммануила Канта, тот презрительно от него отвернулся и даже не стал с ним разговаривать, продемонстрировав, таким образом, типичное немецкое чистоплюйство и оторванность от реальной жизни. Так родилась его ненависть к книжной мудрости, а точнее, к мудрствованию. В действительности же, и обычный мусоропровод может привести ищущего в Елисейские поля. Истинная Тайна, хотя и пребывает *sub rosa*¹, однако далеко не всегда благоухает розой. Ибо все настоящее — хорошее оно или плохое, прекрасное или уродливое — рождается из соприкосновения и взаимодействия вещей, абсолютно чуждых друг другу. И вот только теперь, с чистой совестью плюя на свои научные степени, на профессорство и прочие атрибуты былой жизни, он обрел подлинную гармонию. И здесь, в Скорбной Обители, в тиши и уединении, он закончит свою книгу, которая называется... Впрочем, не важно, как она называется, важно, что каждый человек должен написать свою книгу. Большую или маленькую — это не имеет значения.

— Но я не умею писать книг! — внезапно пробуждаясь, говорил Пришивалов, и то была чистейшая правда.

— А что же вы умеете, друг мой ситцевый?

— Я умею следить за общественным порядком.

— Бог ты мой! — всплеснул руками Интеллигатор. — Общественный порядок! Да вы хоть понимаете, о чем говорите?

¹ Под розой (*лат.*), т.е. тайно, секретно.

Инспектор Пришивалов смутился, а профессор сунул руку в карман халата и принялся хрустеть грецкими орехами, которые всегда там держал и которыми хрустел, когда был особенно взволнован.

— Вот это ваше словосочетание... Да оно же ровным счетом ничего не значит! Какая-то абракадабра. Запомните, нет никакого «общественного порядка», а есть просто — порядок. И порядок этот гнездится в каждой отдельно взятой голове, если она, конечно, не медный чайник. Чем больше голов, в которых порядок, тем меньше они чайники и, соответственно, тем больше порядка вокруг. А раз так, то как вы можете «следить» за тем, что делается в головах у людей?

— Ну как же?.. А вот заместитель Укром Укромыча говорит, что...

— Какой еще Укром Укромыч?

— Ну этот... Из Серого Терема. — И Пришивалов, вытянувшись по стойке «смирно!», многозначительно поднял глаза к белому потолку.

— А-а-а! Из Комитета Городского Покоя? Понимаю... Друг вы мой ситцевый, да вас просто за нос водят. Порядок, устройство, система — все это химерические заблуждения. Это все сны давно умерших, навязываемые нашему сегодняшнему дню Царством Смерти. А когда прошлое прорывается в настоящее, многие сходят с ума.

При этих словах Пришивалова бросило в холодный озноб.

— Постойте, — вдруг дошло до Интеллигатора. — Никак не пойму, вы-то какое имеете отношение к Серому Терему?

— А я... это... — проямлил Пришивалов, втягивая голову в плечи.

Он так и не осмелился рассказать ему о том, как нашел на Андреевском спуске некую «Книгу Книг» и, даже не прочитав, отнес ее в Серый Терем, а Интеллигатор не стал настаивать, тактично переводя разговор на другую тему.

Однажды в столовой, томясь над водянистым рассольником, Интеллигатор неожиданно спросил:

— Скажите, инспектор, вам инъекции делали?

— Чего? — встрепенулся Пришивалов.

— Ну, уколы! Уколы вам кололи?

— Уколы кололи. Болючие такие! А что?

Интеллигатор кивнул головой, давая понять, что он этого и ожидал.

— *Medicamenta heroica*¹, — произнес он тихо. — И мне тоже кололи. Но дело не в боли. Не в физической боли... Знаете, если вы хотите здесь хоть чему-нибудь полезному научиться, постарайтесь вести себя так, чтобы вас не кололи. Мы и в той, нормальной, жизни, все были «уколотые», а здесь нас могут доколоть окончательно.

— А что нужно делать? — спросил Пришивалов с готовностью; он перестал шумно хлебать свой рассольник, вспомнив сверкающие шприцы, холодные глаза белохалатников и нестерпимую боль и одеревенелость во всем теле, и, более интуитивно, чем сознательно, понял, что имел в виду Интеллигатор: речь шла о спасении. — Что я должен делать? — повторил он свой вопрос, осторожно косясь по сторонам.

— Что вы должны делать, я не знаю, — не без иронии сказал Интеллигатор. — У каждого из нас свои методы борьбы. Я говорю лишь о сути. Может быть, инспектор, вы поймете меня лучше, когда я разъясню вам один удивительный парадокс...

Разумеется, сначала пришлось долго растолковывать Пришивалову, что есть «парадокс». Покончив с этим, он продолжал:

— Так вот, друг мой ситцевый. Парадокс наш заключается в следующем: для того, чтобы спастись в этом, извините, сумасшедшем доме, ни в коем случае не вздумайте показывать, что вы в здравом уме. Будьте настоящим идиотом, и только тогда вас оставят в покое. И наоборот, за пределами этих глухих стен, то есть в так называемой «нормальной жизни», вы должны изо всех сил скрывать, что вы безумец, ибо всякий, кто не вписывается в так называемую «нормальную жизнь», — а в особенности всякий настоящий гений, который уже по природе своей является отклонением от нормы, — будет прямиком и незамедлительно доставлен в одну из этих палат. Так что предавайтесь безумию там, где это уместно.

Нет, что-то тут, по мнению инспектора Пришивалова, не связывалось. Слово «гений» было хорошо ему известно еще со

¹ Героические лекарства (*лат.*). — Так обычно говорили о ядах или опасных приемах врачевания, требующих мужества от больных. — *Древний медицинский термин.*

школьной скамьи, а также из пятничных политинформаций, проводившихся в участковом отделении сержантом Перехрестом. И из всего этого следовало, что гении в палаты не попадают, а даже совсем наоборот: живут себе на свободе, пишут основополагающие труды и открывают трудящимся всей земли все новые и новые горизонты.

— Вот вы говорите про гениев, — начал было Пришивалов, но, смутившись под тяжелым взглядом Интеллигатора, запнулся.

— Ну продолжайте.

Пришивалов набрался храбрости и задал вопрос, который не давал ему покоя:

— А как же тогда Владимир Ильич?..

— Какой еще Владимир Ильич?

— Ну Ленин!

Интеллигатор с любопытством посмотрел в глаза Пришивалову, а затем произнес:

— Что ж, инспектор, вы на правильном пути. Пожалуй, колоть вас больше не будут.

И, допив свой чистейшей воды компот, он покинул столовую и направился в свою палату продолжать под одеялом работу над таинственной книгой.

В беседах с Пришиваловым Интеллигатор еще не раз возвращался к теме общественного порядка — уж слишком она задела его за живое. При этом он и не замечал, как, начиная с обсуждения общественного порядка, всякий раз заканчивал общественным устройством. Для неискушенного слуха инспектора Пришивалова все это звучало как иностранная речь:

— Представления о так называемом общественном устройстве, о том, каким оно является и каким должно быть, в лучшем случае наивны и ошибочны, а в худшем — абсолютно неадекватны или цинично лживы. Хотя эти последние должны бы в основе своей извращать верные представления, каковых, увы, не может быть изначально. Принимая истину о том, что в основе мироздания лежит принцип иерархичности, мы, тем не менее, не можем не согласиться с тем, что земное воплощение этого принципа — лишь пародия на него, более или менее кровавая. Чаще — более, нежели менее...

Обычно по пятницам (может, потому что пятница у православных — традиционно постный день), в Ленинской комнате си-

лами пациентов проводились ненавистные политинформации. Дошла очередь и до отставного инспектора Пришивалова, который темой своего доклада избрал «Государственное устройство социалистического Отечества». После доклада, отвечая на вопросы ничего не понявшей аудитории, Пришивалов пояснил, что Генеральный Секретарь — это такой секретарь, кто главенствует над всеми другими секретарями. И секретаршами — тоже. И он обладает Главным, то есть Генеральным, Секретом. И если он говорит, что мы живем в эпоху развитого социализма, то, значит, так оно и есть. Мы сами знать этого не можем, потому что не знаем Секрета. А он — может, потому что знает Секрет.

— А чем отличается развитой социализм от неразвитого? — заинтересованно спросил бывший кровельщик Вострокнут, и его тут же увели белохалатники немного подлечиться.

— Обыкновенный социализм, — отвечал Пришивалов, предусмотрительно заменив слово «неразвитой» словом «обыкновенный», — это когда «чем хуже, тем лучше». А «развитой» — это когда «чем лучше, тем хуже».

Все бурно зааплодировали. Даже Фед-Фед апатично побряцал своим протезом.

— Потрясающе! — не без восхищения воскликнул Интеллигатор после политинформации, когда они с Пришиваловым остались вдвоем. — И как это вам удается улизнуть от огромного шприца? Вострокнуту, между прочим, досталась знатная доза.

— Так меня здесь все за идиота принимают! — ответил Пришивалов и светло улыбнулся...

...Дни тянулись за днями, месяцы за месяцами, и царящей здесь вечности было совершенно безразлично, как дни эти и месяцы называются и под какими порядковыми номерами следуют в своей бесконечной череде. Более того, по собственному желанию, поддавшись чистому велению души, можно было позволить себе разместить, например, воскресенье сразу после понедельника, да так и оставить эти два дня, попеременно сменяющие друг друга: воскресенье, понедельник... воскресенье, понедельник... Если по каким-то причинам кому-нибудь очень не нравился месяц март, то он легко изымался из календаря и отсутствовал в нем до тех пор, пока не получал амнистию.

Будучи не столь радикально настроенным, как другие, Пришивалов аннулировал из календаря лишь одну-единственную ночь, — ту, роковую для него, ночь с 21-го на 22 июня, когда он помимо своей воли был доставлен в Скорбную Обитель, — чем неожиданно обидел отставного профессора философии.

— Послушайте, раз вы дезавуировали эту и без того самую короткую ночь в году, то, следовательно, и Великая Отечественная война никогда не начиналась, — резонно заметил Интеллигатор, — а стало быть, и не длилась почти четыре года, и не завершилась героическим взятием Берлина.

— Стало быть, так... — не совсем уверенно соглашался Пришивалов.

— Лихо это у вас получается! — почти позавидовал Интеллигатор. — Выходит, я никогда не рыл окопы, не мерз в землянке, не попадал в «котел», не был ранен в голову, не освобождал Варшаву и Будапешт? Я уж не говорю о Нюрнбергском процессе! Его что, тоже не было?

— Так я же не про вас! — оправдывался Пришивалов. — Я про себя. Про то, как меня сюда доставили... как раз в ту ночь.

— Понятно-с. Значит, стоило вам отменить эту злосчастную ночь, и теперь уже вас как бы сюда и не доставляли?

— Ага, не доставляли.

— Но вы же здесь!

— Ну здесь.

Интеллигатор был в полном восторге:

— Вот и получается, друг мой ситцевый, что раз уж вас сюда никогда не доставляли, а вы, тем не менее, здесь, то, стало быть, вы были здесь всегда. Получается, вы здесь родились!

Пришивалов никак не желал «здесь родиться». Поэтому, сочтя доводы отставного профессора достаточно убедительными, наложил вето на свое прежнее решение и восстановил Григорианский календарь в полном объеме.

И вообще, надо сказать, он стал много размышлять, чего раньше с ним никогда не случалось. Он часто вспоминал свою прежнюю жизнь, свою службу, которая была смыслом той жизни, и теперь она виделась ему пресной и невыразительной, и, что еще хуже, бессельной. Здесь же, в Скорбной Обители, он узнал много новых слов и понятий, но самое главное, самое радостное — здесь он узнал столь замечательных, столь интеллигентных и великих

людей, каких там, на Большой Земле, он бы никогда, наверное, не встретил, не проникся бы ни их идеями, ни их судьбами, а значит, никогда не ощутил бы той пестрой и вечно живой мозаики жизни, на которую, волей-неволей, он всегда был вынужден смотреть с точки зрения своего служебного положения. Благодаря своим новым друзьям и товарищам он во всех подробностях изучил, например, сложнейшее устройство дантова Ада и Рая, мильтоновского Пандемониума и настольного Рая кровельщика Вострокнута. Он досконально изучил всю береговую линию Моря Спокойствия на Луне и, вдохновленный рассказами Лунохода, разузнал все о целебных свойствах янтаря и лунного камня, а также, занявшись астрономией, по книгам из местной библиотеки, выяснил для себя эффект либрации Луны и даже генеалогическое древо богини Дианы. И только теперь он смог по настоящему оценить суть полета американцев на ночное светило, полета, который был не чем иным, как неуклюжей попыткой человека искусственно имитировать родственную встречу между божественными братом и сестрой.

И еще он понял и принял глубоко в сердце простую истину: нельзя дыню рубить топором, даже если она с чем-то не согласна. А если уж так необходимо для утоления своей естественной потребности ее съесть, то надобно попросить у нее прощения, а в ее лице и у всего растительного царства, и нежно, с любовью, нарезать ее ломтиками. И вообще никогда не следует размахивать топорами и стрелять из пистолетов почем зря, потакая лишь своей вспыльчивости и дурным наклонностям. Не надо взрыхлять окружающую атмосферу резкими движениями, нарушать покой и тишину Природы громогласными воплями и отвратительными свистками и сиренами, переть напролом сквозь живую плоть, которая и есть окружающий нас мир. Не надо пачкать данный нам свыше язык грубой бранью, ибо чистые слова происходят от Любви, и этот источник должен всегда хранить свою прозрачность. И тот, кто познаёт это, уже никогда не сможет именем закона повелевать чужой совестью, потому что совесть — и есть самый правильный закон. И еще: никогда не следует забывать, что место, на которое ты однажды ступил, хочешь ты того или нет, будет еще долго, если не вечно, хранить на себе отпечаток твоего следа, и часть этого места ты обязательно унесешь с собой на подошве своего сапога...

VI

Таким образом, дух отставного инспектора Пришивалова окончательно созрел для встречи с еще одной незаурядной личностью, каковая и не замедлила тут же явиться, дабы просветить и направить его на путь истинный. Личностью этой был отец Станислав, бывший священник — живое подтверждение расхожей истины, что *бывших* священников, как и *бывших* милиционеров, не бывает. Циркулировали слухи, будто отца Станислава то ли уже причислили, то ли вот-вот причислят к лику святых за то, что он пытался, так сказать, *in partibus infidelius*¹ пресуществить Городской Планетарий с Домом Атеизма при нем в католический костел с духовым, а не электрическим, органом и песнопениями во славу Господа. Амен... Кое-кто, понятное дело, рассудил, что в городе подобными преобразованиями можно заниматься только в строго установленных для этого местах, как то филармония или большой зал консерватории. Вот почему отец Станислав незамедлительно пополнил ряды здешних, таких же, как и он сам, энтузиастов. Но, как известно, нет худа без добра: свое новое назначение в сие *refugium peccatorum*² он принял не только безропотно и стоически, как тяжкое испытание и святую миссию, но и с величайшей радостью и ликованием, ибо находился отныне на самом острие Божественного Промысла. С подобным мировоззрением было, конечно, не так уж далеко до впадения в прелесть и гордыню, но кристально чистая душа святого отца с честью выдержала и этот экзамен. Больше того: он так искренне, с такой силой ненавидел оба эти греха, что в порыве религиозного неистовства хотел исключить их из канонического списка человеческих прегрешений — чтобы на земле даже следа, даже памяти о них не осталось! Слава Богу, трезвый рассудок, хоть и почитавшийся в Скорбной Обители проявлением дурного вкуса и предосудительной немощи, все-таки взял верх, и вышесказанные грехи остались на своих привычных местах в печальной табели о рангах...

Довольно долго отец Станислав приглядывался к Пришивалову, к его незатейливому обличью — не проступит ли на нем,

¹ В стране неверных (*лат.*).

² Убежище для грешников (*лат.*).

нечаянно или умышленно, ужасающая *sigillum diaboli*?¹ Но, слава Создателю, худшие опасения никак не подтверждались и вскоре, с благодарственными молитвами, были отвергнуты. Внимательно и с надеждой следил он за процессом духовного развития «сего человеческого тростника» и, окончательно уверившись, что поле вокруг него вспахано, тут же принялся его засеивать. Начал он с того, что откровенно поделился с неофитом своими сокровенными планами относительно будущего костела, затем показал ему проект реконструкции Городского Планетария с множеством архитектурных чертежей, сделанных собственноручно; поведал также и о своих мытарствах и злоключениях и по-отечески увещевал Пришивалова в свой черед раскрыть душу и исповедаться.

Отставной инспектор исповедался, как умел, ибо вершил он сие впервые в жизни, и даже прослезился обильно, после чего почувствовал такое облегчение, будто и в самом деле благодать снизошла на него. С глубочайшим вниманием выслушав откровения о страстях милицейских, низвергших Пришивалова в сию Скорбную Обитель, отец Станислав порекомендовал новообращенному для начала вкушать побольше чеснока, а пищу премоного солить, ибо чеснок и соль, как есть — первейшие и наипростейшие средства против «диавольских козней». Упоминание о «диавольских кознях» несколько насторожило инспектора Пришивалова. Увидев его внезапную бледность, отец Станислав сразу уразумел, что попал в самую цель и, нисколько уже не сомневаясь, продолжил нагнетать религиозное давление с удвоенной энергией:

— Из драгоценных камней, сын мой, следует носить хризолит и агат, ибо сии великолепные самоцветы обращают беса в паническое бегство. А дабы с большей легкостью примириться с Господом Богом, всенепременно носи сапфир...

— Легко сказать! — в отчаянии воскликнул Пришивалов. — Да вы знаете, какая у меня зарплата?

— Все твои страдания, сын мой, — строго настаивал неприимимый священник, — известны пресвятой церкви уже от сотворения, и, поверь, многократно описаны в священных и правдивых книгах. О, сколь много я размышлял над твоей испове-

¹ Печать дьявола (*лат.*).

дью, коей ты удостоил меня, грешного пред ликом Божиим, и над всем тем, что с тобой произошло! Так знай же, что жгли и мучили тебя бесы, или демоны, которые жаждали искутить тебя и совратить на путь лжи и предательства. Знай также, что Враг коварен и никогда не теряет надежды испытать тебя, слабого, вновь и вновь!

Пришивалов почувствовал себя нехорошо, будто съел что-то несвежее.

— Признаться честно, ты ведь не надевал кольцо обручальное на палец статуи Венеры?

— Нет!

— И на черном коне не скакал?

— Не скакал!..

— И в ореховой скорлупе, запряженной дрессированными жуками-рогачами, не разъезжал по улицам?

Инспектор Пришивалов в ужасе мотал головой; он почему-то подумал о Луноходе с его янтарной бочкой и янтарными «лошаками», но говорить ничего не стал.

— Ну, сын мой, радуйся милости небесной! Тебе еще неизменно повезло, ибо ты подвергся той разновидности бесовского воздействия, каковую на языке богословов принято называть: *obsessio*. Сие значит, что Дьявол не смог или не успел просочиться в самую твою утробу, а потому атаковал тебя извне в облике Поливоды, Котляра, Свинок-Синюховской и... как там его?..

— Котомыша Лаврентия, — смиренно напомнил Пришивалов.

— Именно! — Отец Станислав горячо перекрестился, почему-то на православный манер. — Куда хуже было бы, если б ты стал жертвой *possessionati*¹, ибо сие есть высшая и наипугающая форма искушения.

Пришивалова всего передернуло. Закрыв глаза, отец Станислав резко провел рукой по волосам, будто отгоняя от головы кошмарный сон или адские видения, быстро встал с больничной койки, на которой сидел все это время, и, устремив голубоглазый взор куда-то в незримую высь, продолжал торжественным тоном:

¹ *Possessio* — одержимость бесом, бесноватость, проникновение беса внутрь человека (*лат.*).

— Итак, тебя жгли, говоришь ты! А я скажу тебе, сын мой, что жгли и не таких, как ты. И чем ближе к Богу возвышается человек, тем сильнее жгут его, тем ужасней его страдания. Возьмем, к примеру, Вильгельма Роскильдского. Демоны его так жгли, что чуть было совсем не испепелили прямо в постели...

Тут Пришивалову вспомнился его приятель Громоотвод, улавливающий молнии, но он опять промолчал.

— ...А Франческу Римскую супостаты бесовские схватили за волосы и так и держали за них над самой жаровнею с раскаленными углями, и только благодаря небесному заступничеству она осталась жива...

— Но меня не только жгли, — не без гордости возразил Пришивалов.

— Не ропщи, сын мой, а лучше послушай, что я тебе скажу. Страшись лелеять мысль, и даже саму мысль об этой мысли, будто страдания твои наипугающие в этом мире! Ибо в действительности — они ничто в сравнении со страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Отринь гордыню, сию дьявольскую сеть, в каковой ты рискуешь легко запутаться, ибо, возвысившись над ближними, даже не заметишь, как уже низвергнулся на самое дно Ада...

При этих словах пред внутренним взором инспектора Пришивалова засияла во всей своей красе настольная модель Рая его соседа по койке Хвоща-Мичурина.

— ...Поверь мне, всегда найдутся смертные телом, но бес-смертные духом, мучения коих будут во сто, в тысячу крат ужаснее твоих. Ты говоришь: пощечины! Да будет тебе известно, что знаменитого Эверарда подлый Дьявол *in carne*¹ хлестал по лицу целых пятьдесят два дня, и сей мордобой продолжался день и ночь, без единой передышки, от Страстной пятницы до самого Троицына дня.

— А несчастная Колета! — не унимался отец Станислав, похоже, войдя во вкус. — И ее тоже демоны-изуверы истязали до полного беспамятства. А потом еще в келью, где она жила, подбрасывали ей обнаженные трупы висельников. Каково, а?! А в то же время, между прочим, Святого Антония ватага врагов человеческих избивала до полусмерти огромными палками, а в Ду-

¹ «Во плоти», т.е. лично (*лат.*).

настана и Лупициния бросала тяжелыми камнями. Ты говоришь, тебя выносили на крышу. А я скажу тебе о том, как Гертруду Аостскую, эту голубку кроткую, волочили по небу, что посуху, а потом швыряли с высоты куда попало!..

Душеспасительные беседы эти продолжались в течение многих дней, а иногда и по ночам, при свете карманного фонарика, с немалыми предосторожностями — особенно если на ночное дежурство заступала зловредная и жестокая Гестаповна. Отец Станислав был просто живым кладезем всевозможных историй о мучениках веры. «Вот у кого надо поучиться нашим любителям “страшилок”, — думал Пришивалов. — Услышь они такое, небось, сразу бы обделались!» Да и самому отставному инспектору еще никогда не доводилось слышать ничего подобного — даже в милицейской школе. Ни в учебных пособиях, ни в лекциях, ни в истории наиболее резонансных преступлений, ни в текущих сводках подобного рода криминал ни разу не фигурировал, как будто его никогда не существовало! Пожалуй, из всех серийных преступлений дьявольские, называемые «кознями», были самыми изощренными в своей жестокости и самыми разнообразными по содержанию. То, что на глазах у свидетелей Дьявол нагло выдрал клоч из бороды у некоего гражданина Симеона Столпника или опутал ежевикой гражданина Николая из Рупо, еще можно было расценить как злостное хулиганство. Мелочь, конечно. Но вот избивание палками, прижигания огнем и швыряние живых граждан с большой высоты — это уже не шутки, это подпадает под самые серьезные статьи Уголовного Кодекса. «Да, но поди упрячь за решетку такого врага, как Дьявол!» — сокрушался инспектор. И в тот же миг ему явились горящие гневом глаза кряжистого Магнуса. В голове, будто колокол в колокольне, гудело устрашающее слово «воздаяние»...

— ...А Блаженную Христину Стоммельнскую премного пачкали нечистотами зловонными, — прорезывался зычный голос отца Станислава, нарушая ход размышлений инспектора Пришивалова. — Но демонам окаянным все мало! Одного бедного и честного священника, имени которого я сообщать не стану сугубо из этических соображений, они преследовали даже в отхожем месте, о чем, между прочим, нам сообщает преподобный Цезарий...

И тут почему-то Пришивалову вспомнилась его побуревшая от времени, закопченная коммуналка, тесный сырой туалет с

облупившимся потолком, с которого на длинном грязном шнуре свисала лампочка, одним только свечением своим навевавшая мысли о самоубийстве, и со стенами, выкрашенными масляной краской интенсивного суицидально-желтого цвета. Каждый квартирант отправлялся туда по нужде со своим собственным унитаэным стульчаком и со своей вышеупомянутой лампочкой (только ли у Пришивалова она горела так паскудно, проверить он не мог; возможно, всему виной были желтые стены); сначала вкручивалась лампочка, затем на унитаз возлагался стульчак, а по завершении известного физиологического процесса все эти личные атрибуты снова уносились.

Нельэя сказать, что Пришивалов бездумно принимал все на веру, как раньше. Он был уже не тем наивным простаком с ярко выраженным чувством долга, которым когда-то помыкали на службе. Теперь, прежде чем что-либо оценить или сделать, ему необходимо было самому во всем разобраться, и только потом радостно и свободно принять единственно правильное решение.

Однажды он выразил отцу Станиславу некоторые свои опасения. Раз уж Дьявол столь всемогущ и изобретателен, что в тюрьму его не засадить и что даже само Божье наказание беспрерывно откладывается, очевидно, до лучших времен, — хотя все мы живем сейчас, и когда придут эти лучшие времена, нас, скорее всего, уже не будет на свете, — то как же в таком случае его можно отпугнуть простым чесноком и солью?

— А я скажу тебе так, Фома ты неверующий: средство сие проверено веками и многих спасло от проникновения заразы в утробные глубины. Дьявол может прикинуться чем угодно, но только не чесноком и не солью.

— Как это — прикинуться чем угодно?

— Так знай же, сын мой, что еще епископа галатского Дьявол прельщал в виде сочной, искрящейся на солнце виноградной грозди. В том-то и заключается искусство Искусителя! Твоему неопытному и неразумному взору он может представиться и стаканом водки, и куском копченой колбасы, и простой авторучкой, и важной справкой, ею написанной; может — милицейским свистком, в который ты будешь свистеть, как оглашенный, когда надо и не надо, автомобильной покрывкой, листьями шпината, докладной запиской, кустом бузины... Да чем угод-

но, но только не чесноком и не солью, сын мой! Он их совершенно не выносит, ибо они отнимают у него силу, о чем пишут многие великие авторитеты.

— А что же он переносит? — посмеиваясь, спросил Интеллигатор, входя в палату.

— Дьяволу, как известно, особенно любезны мандрагора и орехи.

— Ах, какие страсти! — Интеллигатор так громко хрустнул орехами в кармане халата, что священник невольно прекрестился. — А по-моему, святой отец, вы излишне много начитались Амфитеатрова. Вместо того чтобы страшать нашего друга, участкового инспектора, всяческими чертовыми кознями, вы бы лучше научили его, как их избежать. У вас же получается, что нужно потреблять побольше чеснока и соли, что непременно приведет к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, в то время как сложность проблемы, мне кажется, определяется не наличием или отсутствием диеты, а совсем иными вещами.

— Какими же, сын мой? — благоуветливым гласом вопрошал отец Станислав. — О каких именно вещах говорите вы?

— Неужели непонятно, что великая битва между Богом и Дьяволом вершится не в желудке человека, не в его печени или почках, а в его сердце, если под сердцем понимать душу. Так не делайте человека слабым и вечно трепещущим, как осиновый лист, зачитывая ему ваши бесконечные списки чужих страданий, половина из которых — плод болезненного воображения. Лучше помогите ему познать и уверовать в его собственные силы, чтобы правильно ими воспользоваться.

— Сначала, сын мой, надобно познать страдания, а уж потом, закалившись в них, возможно обрести и свободу от них, и радость, и силу, а иначе, не различая одно от другого, как человек сможет приблизиться к пониманию Замысла Божьего?

— Да познал он уже страдания! — воскликнул Интеллигатор; орехи снова хрустнули в его кармане. — Уже и жгли его, и мучили, и на крышу выносили...

— И по щекам лупцевали, — не замедлил дополнить Пришивалов.

— Да, и по правой, и по левой, — закончил профессор. После этих слов все трое сразу замолчали, и каждый, словно стыдясь чего-то, смотрел куда-то в сторону.

— Хорошо, — милостиво согласился отец Станислав. — Хорошо, в следующий раз мы поговорим о вещах основополагающих. Мы поговорим о Вере, Надежде и Любви. А сейчас, — и он обнял Пришивалова за плечи, — ступай с Богом, сын мой... Мне надо побыть одному. Я должен подумать...

VII

...А время сочилось бесконечной сыростью осенних сумеречных дней, которые, если бы не умащивались бальзамом великомудрых бесед с выдающимися людьми, могли бы своей бесцветностью и отсутствием аромата довести отставного инспектора Пришивалова до полного отчаяния и умопомрачения, в чем как раз и обнаружили бы себя заветная цель и истинный смысл существования данного заведения, вопреки общепринятым представлениям о нем тех, кто оставался жить на Большой Земле. Все чаще одолевала его какая-то беспричинная тоска. Тревожно блуждал его взор по сторонам, словно в надежде *что-то такое* увидеть. Но что именно, Пришивалов и сам не знал. Особенно беспокоили звуки — самые разнообразные, — на которые он никогда раньше не обращал внимания, точно их и в природе не существовало, — а особенно ночные шорохи. Эти последние вроде бы ни о *чем таком* и не говорили, но тоску усиливали еще больше. И ведь все как будто бы шло хорошо! Отношения с товарищами были ровными и бесконфликтными и в этом смысле постепенно приближались к своей гармоничной завершенности, а сам он, можно сказать, ежедневно получал весьма неплохое образование, о каком раньше и мечтать не мог; беспокоиться о хлебе насущном и вовсе не приходилось; к тому же белохалатники почти совсем оставили его в покое, и только изредка, делая обход, Федор Федорович заглядывал в его палату и, задав два-три невинных вопроса об аппетите или о качестве его естественных отпращиваний, произносил ставший уже традиционным: «*Raptus melancholicus*¹. Очень хорошо, душа моя!», весело трепал его по щеке холодной металлической рукой и удалялся восвояси вместе со своими морозами. Короче говоря, жизнь в общем и целом как будто бы наладилась. И,

¹ Приступ тоскливости (лат.). — Медицинский термин.

однако же, внутреннее чутье подсказывало инспектору, что все это благополучие не может длиться вечно и, значит, доверять ему нельзя.

Памятуя наставления отца Станислава, он на всякий случай все же держал под кроватью несколько головок чеснока, десяток каштанов и лозу. Это все, что он мог сделать, — о таких экзотических редкостях, как самшит и сандал, можно было и не мечтать. Однако даже такие пустяковые охранительные средства являлись постоянным поводом для столкновений с невежественными уборщицами, которые знать ничего не желали ни о бегах, ни о «диавольских искушениях».

— Нечистый как раз в такой вот грязи и заводится! — говорили они Пришивалову, выметая атеистическими вениками из-под кровати весь этот сакральный мусор.

— Эх, креста на вас нет! — сокрушался отставной инспектор и мысленно представлял себе, как сейчас злорадствуют демоны, прячась где-нибудь в щелях оконных рам, под плинтусами или в душниках.

В таких борениях, страданиях и тревогах прошла зима, а на исходе весны, дождливой и холодной, Пришивалов совсем захандрил. Ничто его больше не радовало и не вдохновляло. Долгими часами лежал он неподвижно на кровати так, что ни одна пружина не скрипела под его отяжелевшим, безвольным телом, и смотрел в потолок или в зарешеченное окно, за которым на вольном ветру качались зеленеющие ветви. По ночам он страдал бессонницей, и эти мучения были немногим лучше тех, что он когда-то претерпел от дикого Котомыша Лаврентия. «Инспектор, я знаю историю вашего Котомыша лучше, чем кто-либо в этом мире, — сказал однажды Интеллигатор. — А о вашей судьбе имею гораздо более ясное представление, нежели вы сами. Нигде в стадии перехода в Альбедро — вот что я вижу, глядя на вас. И тысячу шприцов мне в зад, если я ошибаюсь!» Услышав такое, Пришивалов с минуту стоял, молча уставившись в пол, словно подсудимый в последний день долгой и изнурительной судебной тяжбы, ожидающий наконец хоть какого-нибудь приговора, только бы весь этот кошмар побыстрее закончился. Однако дальше туманных намеков профессор так и не пошел, добавив лишь, что подобные процессы рано или поздно происходят с большинством людей, но увы: как правило, всё останавливается

на второй стадии, то есть Альбедо, и до великого Рубедо дело не доходит. В общем, дальнейшая судьба отставного инспектора Пришивалова так и оставалась не проясненной, а судьба пресловутого Котомыша, не говоря уж о судьбах «большинства людей» с какими-то их несусветными «нигредями», «альбедами» и «рубедями», не вызвали в нем ни малейшего интереса. По-прежнему он что-то выискивал глазами и прислушивался. Иногда, среди ночи, из коридора доносились нечеловеческие крики и топот ног, затем кого-то куда-то волокли, сопровождая глухими ударами и грубой бранью. «Ах, коридор, коридор, какое безумие тебя охватило?» — в страхе шептал Пришивалов, и от собственного шепота ему становилось еще страшней. Он словно мертвел на своей кровати, и потом до самого утра впадал в безразличное оцепенение. Неужели так будет всегда? — спрашивал он сам себя по утрам, но ответ не приходил ни в этот день, ни на следующий, и от безысходности на душе становилось еще тоскливей.

Все чаще отставного инспектора стали одолевать некие смутные, но сильные желания: хотелось делать что-нибудь большое, по-настоящему значительное, что-нибудь прекрасное и долговечное — совсем не похожее на проверку паспортного режима или преследование тунеядцев, которые лично ему ничего плохого не сделали, — что-нибудь такое, что составило бы счастье его и других людей. Но что?! Увы, не умел он строить настольные модели Рая, а если бы даже и освоил это редкостное ремесло, то был бы, скорее всего, заурядным эпигоном-пересмешником великого и неповторимого Вострокнута-Алигьери. Не умел он и книг писать, как Побродягин-Пруст или Интеллигатор. Да и какая книга, если всего-то на один-единственный вопрос он не в состоянии себе ответить? Что же тогда он может сказать другим людям, которые с надеждой ее откроют? Он не умел и не сумел бы проповедовать, как отец Станислав, поскольку, хотя уже и не был атеистом, но все же и верующим еще не стал. Он даже разучился делать то, что некогда хорошо умел — следить за общественным порядком. Но, похоже, с общественным порядком покончено навсегда. И о том он ничуть не жалел. Единственно, правда, о чем инспектор Пришивалов все-таки жалел, так это о том, что в то памятное утро на Андреевском спуске так и не удосужился прочитать таинствен-

ную «Книгу Книг». За время, прожитое в Скорбной Обители, его представление об этом непознанном предмете претерпело некоторые изменения — так в болотной мгле, туманной и аморфной, проявляются первые робкие признаки не то близящегося расцвета, не то надвигающейся грозы... Она, книга эта, была теперь как отголосок древнего мифа об аргонавтах или как отблеск давно позабытого сна, в котором заплутавшему путнику внезапно открылось сокровище великанов. «А может, я все-таки прочитал ее, и просто об этом не помню? — с надеждой уговаривал себя инспектор Пришивалов. — Почему бы и нет? Здесь таких, с амнезией, полным-полно. Вон, один Побродягин чего стоит: сколько прочитал, а ничего не помнит! Даже книг после его чтения не осталось — всё как корова языком!..» Впервые в жизни Пришивалов почувствовал себя преступником, нарушителем порядка — но не общественного, на который ему теперь было глубоко наплевать, а какого-то иного Порядка — того самого, который с большой буквы. И хуже всего было не то, что он мог прочитать «Книгу Книг» и тут же забыть об этом, а то, что, ведомый своим невежеством и беспросветной глупостью, сам же отнес ее на Владимирскую, 33, в Серый Терем (и передал из рук в руки какому-то четвертому заместителю самого Укром Укромьча), чем, видать, и навлек на себя столько неприятностей. Как у *инспектора*, у него не имелось на сей счет неопровержимых доказательств, но зато всей душой, всем сердцем он чувствовал, что те листки, перепачканные грязью и кровью, были не просто страничками из какой-нибудь глупой детективной истории, а очень важным посланием, предназначавшимся ему лично, и что вовсе не слепой случай подбросил их ему на Андреевском спуске. В этом он был убежден. А с другой стороны, прочитай он их в то утро... Эх, да что говорить! Скорее всего, ничегошеньки бы он не понял. Вот и получается: либо забыл, либо не понял. То есть хрен редьки не слаще... Пришивалов и сейчас не смог бы уверенно ответить на вопрос, чего во всей этой истории было больше: божественного или дьявольского. «Пойти, что ли, за советом к отцу Станиславу? — думал он. — Так тот сразу бесами своими начнет стращать!.. Нет, уж лучше к Интеллигатору. Только как бы это так рассказать, чтобы о “Книге Книг” — ни слова?»

Как-то раз, прогуливаясь перед ужином в саду с Интеллигатором, Пришивалов спросил:

— А помните, профессор, вы говорили отцу Станиславу, что Бог и Дьявол живут в нашем сердце и все время за нас дерутся?

— Помню. Но я выразился несколько иначе...

— И вы еще сказали, что человек должен приобрести силу. Только вы не сказали, как он должен ее приобрести?

— «Приобретают» недвижимость, инспектор. А силу «обре-тают».

Интеллигатор остановился возле куста угасающей сирени и некоторое время смотрел куда-то себе под ноги, будто ответ валялся прямо здесь, в траве, среди одуванчиков.

— Друг вы мой ситцевый, — произнес он печально. — Вы коснулись очень важного вопроса, и я, право, даже не представляю, как бы это вам растолковать. Я давно вижу ваши страдания. Но как утолить их?

Интеллигатор снова обратил взгляд свой на одуванчики, будто собираясь с мыслями, а потом заговорил быстро и так горячо, что даже перестал быть похожим на самого себя:

— Не прибегая ни к Богу, ни к Дьяволу, скажу о том, что чувствую я сам. Действительно, бесконечная и жестокая борьба идет в сердце каждого из нас, потому что именно человек есть искомый ключ ко всем тайнам на земле. Вот, конфискуйте у меня документы и дом, отнимите высокое общественное положение, и что от меня останется? Заметьте, я намеренно предлагаю вам, инспектор, такие слова, как «конфисковать», «отнять», чтобы вам легче было осознать всю глубину этого образа, — ведь в прошлом вы принадлежали к тому ведомству, которое конфискует, опечатывает и высылает, не так ли? Не хмурьтесь, я вовсе не хочу вас обидеть. Так вот, сорвите-ка с меня одежды, то последнее, что у меня, или, точнее, на мне осталось! Что представит вашему взору?

Пришивалов стыдливо опустил глаза.

— О нет, вы не о том подумали, инспектор! Понимаете, лишаясь всего, чем я оброс, всего, что нагородил вокруг своего тела и духа, всего, за чем теперь трусливо скрываюсь, будто преступник, и что, по сути дела, является одновременно и моим искусственным продолжением, — я бы даже сказал, этакой паутиной, которую я, словно паук, плету вокруг себя и улавливаю в нее всевозможные блага, а заодно и себя самого, — лишаясь всего этого вымышленного богатства, я получаю единственную реаль-

ную возможность быть на самом деле тем, кто я есть. Ибо все это — мое искаженное отражение в зеркале жизни, по которому я буду иметь о себе совершенно превратное представление. Оставьте меня совсем одного в моем огромном, как небо, одиночестве, и вы увидите, что, оказывается, я есть настоящая копия мира. Собственно, даже не копия, а сам мир — тот мир, который окружает меня со всех сторон и который, несмотря на свою грандиозность, легко в меня помещается. Кожа моя — это тот же сложный рельеф Земли. Присмотритесь внимательно, и вы легко обнаружите и горы, и расщелины, и холмы, и пещеры. Взору вашему предстанут леса на моей голове и степные травы на руках и ногах, на всем моем теле. Загляните в мои глаза, и вы увидите водоемы и отражение неба в них. И все это, мой друг, появляется из капли влаги, растет, развивается, а затем стареет, отцветает и, в конце концов, разрушается, как и все материальное.

Лицо Пришивалова как-то странно съезжилось, и на нем появились никогда ранее не существовавшие морщины. Казалось, он сейчас расплечется.

— Но и это еще не все, инспектор! Я показал вам лишь половину образца всего истинного. Знаете ли, мне на ум приходит одно забавное сравнение. Многие философы напоминают тех незадачливых кладоискателей, которые пытаются отыскать сокровище по одной половине разорванной надвое карты. На этой-то половине как раз и изображено то, о чем я вам только что рассказывал.

— А что же тогда на второй половине?

— Не догадываетесь?

Пришивалов отрицательно замотал головой.

— Что ж, слушайте. Один, скажем так, известный мыслитель, любивший называть себя «Неизвестным философом», утверждал, что тело служит человеку эмблемой всего видимого, а душа — образцом всего невидимого. Следовательно, человек, обладая и тем и другим, уже по природе своей и по своему положению в мироздании, есть ни что иное, как сама Мысль Божья. Но здесь, на Земле, эту Мысль нужно отстаивать в борьбе с темными, хтоническими силами. Отстоять — это значит познать, постичь. Познавая себя, мы получаем единственную возможность постигать Божественную Мысль, чтобы однажды стать ею в полной мере. И вот только тогда мы становимся по-настоящему сильными и свободными!

Интеллигатор умолк так же резко, как и начал говорить. Засунув руки в карманы халата, он медленно двинулся дальше по кирпичной аллее, которая поворачивала направо и скрывалась за пышными зарослями шиповника. Пришивалов задумчиво брел следом.

— Послушайте! — окликнул он Интеллигатора.

Тот остановился подле большой цементной вазы, покрытой прошлогодней побелкой. Цветы в вазе давно не росли, вместо них из запыленного чернозема торчало несколько окаменевших окурков.

— Послушайте, — повторил Пришивалов, приблизившись к профессору и понизив голос почти до шепота. — Я... я отсюда убегу!

На какое-то мгновение в глазах Интеллигатора вспыхнула искра не то интереса, не то радостного удивления. Немного помолчав, как бы давая словам Пришивалова отзвучать в пространстве, он сказал:

— Бегите, инспектор. Непременно бегите, раз вы приняли такое решение.

— Да, я принял. Вот, прямо сейчас его принял. И будто гора с плеч!

— Это хорошо.

— Так бежимте вместе! Вы и я...

— О нет, дорогой друг! — глаза Интеллигатора наполнились стоической печалью. — Бегите один, ведь это ваше решение, а не мое.

— Так решайтесь! Что вы тут потеряли? Здесь же можно сойти с ума.

— Ну-ну, инспектор, не будьте же таким неблагодарным. Кое-чему все-таки вы здесь научились, прошли, так сказать, свои университеты, не так ли? И сейчас, возможно, вы даже больше похожи на человека, чем когда бы то ни было. Мне даже стало приятней называть вас «инспектором». Неплохо бы помнить об этом.

— Да, простите меня... Но все равно мне непонятно, почему вы...

— Знаете, — прервал его Интеллигатор. — Как-то философ Кант сказал, что надобно иметь мужество пользоваться своим умом, и с этим трудно не согласиться. Так что я еще раз привет-

ствую ваше решение, ибо оно — плод вашего ума, инспектор. Что до меня, то мне, собственно, бежать некуда. Да и незачем. И это мое решение. Правда, принял я его не сегодня. И потом, вы же знаете, я пишу книгу. Эту мою книгу можно писать только здесь и нигде больше, ибо, как говаривал Персий: *Quis leget haec?*¹ Там, куда вы собрались бежать, моя книга абсолютно неуместна. — Интеллигатор немного помолчал, словно прощаясь с гаснущими отзвуками своих слов, и когда последний отошел в вечность, сказал: — Так что я свой побег уже совершил. Правда, в обратном направлении.

Пришивалов с сожалением развел руками, но, зная упрямство старого профессора, настаивать больше не стал.

— Увидимся ли когда еще? — тихо спросил он.

Мягко взяв его за локоть, Интеллигатор произнес куда-то в сторону:

— Но только помните: бежать — не самое трудное. Самое трудное — это найти то, что вы потеряли.

На том они и расстались, и хотя виделись потом еще много раз, ощущение было такое, будто то не они встречались, а их тени, безмолвные и незрячие.

VIII

В течение следующих трех дней произошло одно выдающееся событие, которое наделало много переполоху среди обитателей Скорбной Обители, а отставного инспектора Пришивалова окончательно и бесповоротно утвердило в решении совершить побег, что он и сделал на четвертый день. Но — обо всем по порядку.

В тот знойный летний день белая дверь в белый кабинет-холодильник Главного Белого Халата слегка приотворилась и в образовавшуюся морозную щель просунулась репчатая голова в надвинутой на самые уши санитарной бескозырке. Пошловато ухмыляясь, голова сообщила, что пять минут назад на территории обнаружили какого-то трубадура; ему, видите ли, позарез нужен магистр.

¹ Кто это станет читать? (лат.). — Персий, *Сатиры*, 1, 2.

— Давайте его сюда, — зевая, молвил Федор Федорович. — Я и есть главный магистр.

В тот же миг дверь распахнулась настежь, и на пороге появился человек средних лет в средневековом наряде. Из-под плаща выглядывал внушительных размеров меч, и, похоже, он был настоящий. Во всяком случае, с первого же взгляда сложилось устойчивое впечатление, что зарубить таким мечом можно было любого из присутствующих, и очень даже легко. Сняв с головы выцветший бархатный берет, незнакомец подчеркнуто учтиво, с чувством собственного достоинства, поклонился, на что и Федор Федорович был вынужден на всякий случай привстать из-за стола.

— Счастлив вас приветствовать, сеньор! — как можно радостнее произнес Фед-Фед и жестом, преисполненным самой грации, указал на привинченный к полу стул.

Незнакомец молча кивнул, оглянулся на двоих приведших его сюда великанов в белых одеяниях, которые не спускали с него цепких глаз, мгновение помедлил, но затем решительно присел на край стула, положив, берет на левое колено, а правую руку на массивную рукоять меча. Некоторое время трубадур и магистр сидели друг напротив друга, не зная, с чего начать разговор. Федор Федорович постукивал искусственными пальцами по стеклянной поверхности стола и очень человечно смотрел на незнакомца, а тот бросал беспокойные взоры то на большой портрет Бехтерева на стене, то на книжный шкаф, то на белую люстру, с которой свисали обледенелые серпантины мухоловок, к которым намертво примерзло несколько мух.

— Я во владеньях ваших человек случайный... — начал незнакомец первым, сразу вызвав у великанов понимающую усмешку; говорил он тихо, но отчетливо. — Там внизу, как я уже сказал, случайно я набрел на ваших двух или трех людей. И были в белом все они, однако ж, без крестов, и без оружия... Мне ничего не оставалось, как обратиться к ним, сеньор Магистр.

— Сеньор, вполне разумное решенье! — расплылся в улыбке Федор Федорович. — Но, не сочтите за бестактность, с кем честь имею?

— Ах, прошу простить великодушно, что не открываю ни имени, ни званья своего. Уж много лет в безвестности скитаюсь я. Да, очень много лет. Я дал обет до времени и до поры не от-

крываться никому. Видите ли, сеньор Магистр, случилось худшее, и вот теперь я вынужден от имени отречься и безымянным стать, как воздух, как вода....

— Господь с вами! — всплеснул руками Фед-Фед. — Да что ж такого стряслось, душа моя?

На это незнакомец ничего не ответил, лишь рука его непроизвольно сжала рукоять меча.

— Ах да, сеньор, я понял! По всем приметам вижу: грозит великая опасность вам?

— Еще какая! Опасность эту, да будет вам известно, кровавой Инквизицией зовут. Но хуже Инквизиции — предатели.

— Они повсюду, не так ли? — заинтересованно спросил Фед-Фед, и что-то быстро записал на чистом листе бумаги. Затем, перехватив тревожный взгляд трубадура, направленный все на тот же портрет Бехтерева на стене, пояснил:

— Се есть один из величайших отцов ученья нашего святого. Работа кисти живописца Худобеда. Вам нравится?

— Нисколько, прошу прощения, сеньор Магистр. Мне очень жаль, но живопись плохая. И уж поверьте, красильщика, намалевавшего сей образ более чем тленный, случись ему в Провансе или в Лангедоке оказаться, тем паче при дворе блестящем Тулузских графов, изгнали бы немедленно его с позором...

Покачав головой, незнакомец неожиданно перешел на язык банальной прозы:

— Простите меня великодушно, сколько вы заплатили этому шарлатану за его мазню?

Было заметно, что вопрос этот неприятно поразил Фед-Феда, но все же скрывать он не стал:

— Червонец.

— Как вы сказали?

— Десять дублонов.

— О, большие деньги! Что ж, видно, у вас доброе сердце, сеньор Магистр. Остается только уповать на то, что ремесленник сей незаслуженные им деньги использовал во благо.

— Думаю, он их пропил, — безразличным тоном констатировал Главный Белый Халат и тут же снова перевел беседу в прежнее поэтическое русло: — Поведайте же, государь всемилоостивый, что за муки вас привели в обитель нашу?

— Уж и не знаю, как вам объяснить, — развел руками незнакомец. — История моя, быть может, покажется вам необычной, странной... Невероятной даже.

— Ну что вы, что вы! Любые странности в нас вызывают интерес живейший, и пониманье, а также состраданье. Уж вы доверьтесь нам, и дело за диагнозом не станет, я уверяю вас.

— Сеньор Магистр, премного благодарен! Служить готов бы вам до гроба, но, к сожаленью или к счастью, уже на службе я... Но, впрочем, не буду забегать вперед и расскажу все по порядку.

— Я весь вниманье!

— Ну так вот, еще вчера, поужинав водой и хлебом, расположился я на скромный свой ночлег под бузины кустом зеленым, примерно в двадцати верстах к востоку от Равенны, куда меня изгнанье завело, а пробудился... совсем в иных местах.

— В каких же, сударь?

— У вас в саду, мой господин! И не под бузиной зеленой, как следовало бы ожидать, а под старинной вазой, изваянной из неизвестного мне камня...

— Да, знаю, зовется он «цементом», сей драгоценный минерал, — не преминул ввернуть Фед-Фед.

— И в вазе той растут какие-то стручки, невиданные мной доселе, охряные и с запахом зловонным.

— Окурки, — поведал доверительно Фед-Фед. — Редчайшие цветы. И очень дорогие, особенно когда запрещено курить.

— Сначала я подумал, — продолжил трубадур, дивясь немало, — подумал я, что жертвой стал проделок демонов коварных, но, увидав неподалеку людей каких-то в белых одеяньях и купола величественного храма, уразумел тотчас, что это истинное чудо. Особенно когда внезапно заговорил на языке, мне совершенно неизвестном!

— Таких у нас тут полная палата.

— О, *mirum mirabilis!*¹

— Да, чудо из чудес! — воскликнул радостно Фед-Фед. — Частенько здесь у нас телепортации бывают, и левитации случаются нередко. Пусть это не смущает вас, душа моя.

— Признаюсь сразу, решился я не сразу себя открыть и обратиться к вашим братьям. Имел все основания кровавой Ин-

¹ О, чудо из чудес! (*лат.*).

квизиции я опасаться, ее всевидящего ока и длинных рук ее, которые теперь повсюду костры возводят для таких, как я. Но, присмотревшись лучше, уразумел: обитель ваша, слава Богу, совсем иного рода.

— Совсем, совсем иного рода! — Фед-Фед кивал задумчиво.

— И вот я здесь, сеньор Магистр. Но перед тем как продолжать паломничество, мне нужно было бы... О, как произнести?!

— Душа моя, страдания ваши нам понятны. Вы слишком долго ходите по свету, свободой наслаждаясь. Источник сил, однако же, не бесконечен, вы устали — всему конец бывает в этом бренном мире, тем более, когда грозит смертельная опасность.

— О, как вы правы, — грустно молвил незнакомец.

— Очень хорошо! Поверьте, сударь, вы не одиноки в страданиях своих. У нас в Обители ютятся уставшие от жизни полководцы, писатели, ученые, провидцы... Найдется место и для вас. Что скажет братство? — Радужным взглядом Фед-Фед белохалатников окинул, столпившихся в дверях. Те закивали дружно, согласье выражая.

— Ах, господин мой! — в порыве чувств воскликнул незнакомец благодарный. — Не знаю даже, кого благодарить в своих молитвах. Какому ордену принадлежите вы? Не уступаете вы щедростью и благородством ни тамплиерам храбрым, ни мудрым и участливым иоаннитам. Похоже, умеете вы раны наносить и тут же врачевать их.

— Ах, видите ли, сударь, мы не придаем особого значения ни номинациям, ни дефинициям расхожим. Перед Законом Высшим все равны в ничтожестве своем. А по сему для нас истинным долгом является поддержка страждущих, кто б ни были они и невзирая на кожи цвет, на веру и на статус.

В дверях заплескались бурные и продолжительные аплодисменты. На незнакомца речь Федора Федоровича, видимо, тоже произвела сильное впечатление, хоть он и не хлопал в ладоши. Зато в глазу его засверкала благородная слеза. Прижав руку к сердцу, он заговорил со всею страстью поэта:

— О, как отрадно слышать это! Какая редкость в нашем грешном мире — слова, исторгнутые сердцем чистым. *Beati misericordes!*¹

¹ Блаженны милостивые! (*лат.*). — Евангелие от Матфея, V, 7.

— В том нет моей заслуги личной, — в порыве скромности Фед-Фед ответил, к пластмассовому глазу приставляя по привычке монокль свой изумрудный и взором искренним прозывая трубадура насквозь, — как и достоинств нет особых моих товарищей по Ордену. Все дело в силе, направляющей босые наши стопы по каменистым тропам, а сила — в генеральной максиме, которая звучит, примерно, так: *Leniter in modo, fortiter in actu!*¹

— Могу ль ушам своим поверить? — воскликнул в восхищенье незнакомец. — О, как давно не слышал я латыни столь выразительной и емкой. Готов поклясться бедным сердцем Кабестаня, сирвентами де Борна, а заодно и Ричарда мечом разящим, что для меня нет наслажденья большего, чем мужа лицезреть воочию, столь преуспевшего в латыни, что жизнь дала в веках Горацию, Овидию, Сенеке и Цезарю богоподобному... С какую легкостью владеете вы языком поэтов и героев!

— Ну, как сказать вам, — возразил Фед-Фед, в смущенье искреннем потупив очи. — Конечно, языком поэтов и героев я владею, но — в пределах, допустимых рассудком здравым... Однако же, душа моя, насколько правильно я понял, вы трубадур, не так ли? Во всяком случае, мне так о вас сегодня доложили.

— О, это правда, сеньор Магистр. Я — трубадур. Последний, Божьей волей, трубадур на этом свете. И эта воля вдохновила меня на странствие, святая цель и высший смысл которого, куда ни приведет меня дорога, повсюду воспевать наипрекраснейшую даму, которой сердце я отдал навеки.

— О! О! И кто же эта дама? Иль это тоже тайна?

— Нет-нет, напротив! Пусть имя светлое ее звучит и днем, и ночью, и в любое время года, на суше иль на море, во всех концах Земли, в войне и в мире...

— Так как же даму величать?

— Лилия, — кротко произнес последний трубадур и, тут же спохватившись, добавил необходимое приложение: — И нет на свете имени любвеобильней!

— Очень хорошо, — совсем по-деловому сказал Федор Федорович, снова что-то записывая на листе бумаги. — И где ж прописана сия сеньора?.. То есть я хотел сказать: где обитает?

¹ Мягко по образу действия, твердо по существу действия (*лат.*).

Трубадур развел руками, понуро опустил голову и почему-то снова перешел на прозу:

— Я не знаю. Увы, мы расстались в Пюи-ан-Валэ. Случилось это скоропостижно, ибо, выполняя свой рыцарский долг, я вынужден был срочно отправиться со своим отрядом на защиту нашей крепости в Альпах. Великая и Прекрасная Эсклармонд¹, которой все мы так верно служили и мечом и рифмой, была уже на месте и ожидала нас. Война шла к концу. Мы знали, что эта битва будет последней и что всем нам суждено в ней сложить свои головы.

— И она действительно была последней? — на всякий случай спросил Федор Федорович.

— Да, мы все погибли... Но это случилось потом. А в тот печальный день возлюбленная моя Лилия провожала меня до самых ворот. Расставаясь, мы поклялись вечно любить друг друга. Больше я никогда ее не видел... С тех пор, — трубадур изящно провел рукой по воздуху, — между нами пролегло расстояние в целое небо.

— *Toto caelo?*² — уточнил Федор Федорович.

— *Ad litteram!*³ — подтвердил трубадур. — Говорят, от тоски она превратилась в прекрасный белый цветок.

— Кто это говорит? — цепко спросил Федор Федорович.

— Да все говорят: птицы, звери, ручьи и деревья...

Федор Федорович быстро записывал, кивая головой на каждое слово трубадура.

— Может быть, все это происки врагов и недоброжелателей? — поинтересовался он. — Зачем же пациенту от тоски превращаться в цветок?

— Такова сила любви... А вы? Любили ль вы когда-нибудь, сеньор Магистр?

— Ах, любовь! — и бессмысленный взгляд пластмассового глаза, обойдя всех присутствующих, остановился на медсестре Груне в коротком халатике. Груня вся зарделась и боязливо покосилась на Гестаповну, неуклюже топтавшуюся рядом. Гестаповна же, в свою очередь, презрительно плюнула на обледенелый пол, лицо ее приобрело фантастический синеватый отлив.

¹ Трубадур произносит имя герцогини на старопровансальский манер: Эсклармонд. — *Примечание Издателя.*

² На все небо? (*лат.*).

³ Буквально! (*лат.*).

— *Lucidum intervallum*¹, — продолжал Федор Федорович. — Любовь — моя профессия. Я всех люблю. Однако, что-то мы всё обо мне да обо мне! Что вы теперь собираетесь делать, сеньор трубадур?

— Конечно же, выполнять свой долг! Позвольте, я спою вам.

— Споете нам?

— Да, я спою комжат прощальный, который очень дорог мне. Я сочинил его в минуты горькие прощанья, когда мы совершали с моей возлюбленной оммаж.

— Что совершали, трубадур любезный? — Фед-Фед не понял; сестричка Груня при этом почему-то тихо застонала, а злобная Гестаповна приобрела холодный фиолетовый отлив, который частично и белому ее халату передался.

— Оммаж — такой обычай древний и прекрасный. Одаривает милосердно дама рыцаря какой-нибудь вещицею бесценной в свидетельство того, что принят он на службу куртуазную.

И трубадур слегка коснулся рукой своей груди, там, из-под плаща, выглядывал едва приметный золотой кулон с секретом, а затем, неожиданно для всех, извлек из-под плаща прекрасную лютню, всю в инкрустациях и перламутрах, висевшую на кожаном ремне, по-видимому, очень дорогую. Короче говоря, настоящий антиквариат, который можно было хорошо продать! Взяв несколько вступительных аккордов, он запел приятным бархатистым баритоном. А может, тенором, — никто из присутствующих в этом ничего не понимал.

Вот эта песня:

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОМЖАТ,
*процарапанный на деке
семиструнной гитары без струн,
найденной следопытами господина М***
в яру, неподалеку от стадиона «Спартак»*

Я помню белых птиц —
они смеялись,
и мы вторили им
под шум легчайших крыл.

¹ Светлые промежутки сознания (*лат.*). — *Медицинский термин.*

Листвы паденье ниц,
в котором узнавались
разлуки вкус и аромат —
тот день прощальным был.

Какого цвета день?
И есть ли цвет у ночи?
Я темным силуэтом
один блуждаю в них.
И прошлого кося тень
заглядывает в очи
и, словно подаянья,
клянчит стих.

Я помню лики Лун
и детский сон любимой,
и влажное ее
дыханье на моих губах...
И небо полно струн, —
коснусь одной, незримой, —
и небо запоем,
и мы забудем страх.

В пути — и серость дня,
и ночи полноцветье
навек обвенчаны —
их не коснется прах.
Не плачь, любовь моя, —
цветам и детям
нет нужды каяться в грехах.

Пока последний трубадур пел свой прощальный комжат, сопровождая его лютневым аккомпанементом в манере *cantabile*¹, настолько искусным, что голос инструмента почти сливался с живым человеческим голосом, к Главному Белому Халату неслышно подкрался чем-то очень озабоченный коллега и положил на стол записку, в которой сообщалось следующее:

«Ув. Фед. Фед. Доводим до Вашего сведения, что неделю назад из Оперного театра прямо во время премьеры спектак-

¹ Певуче, протяжно (*итал.*).

ля «Трубадур» бесследно исчез ведущий солист, заслуженный артист, тов. Умняк-Горемыкин. Объявлен розыск. Общественность обеспокоена».

— Хоро-о-ошая песня! — нараспев протянул Федор Федорович, пряча записку в ящик стола.

Погруженный в печальные воспоминания, трубадур, казалось, совсем не слышал этой похвалы.

— Но я вот что подумал, дорогой сеньор. Вашему горю мы поможем.

С этими словами Главный Белый Халат встал из-за стола и подошел к большому шкафу с книгами, содержание которых, учитывая специфику данного заведения, не вызывало сомнений. В железной руке его снова оказался старомодный монокль с зеленой линзой. Повертев монокль у самого глаза, — так что линза вспыхнула дивным изумрудным светом, — Федор Федорович сунул его назад в карман халата, а потом уверенным жестом вытащил из однообразного ряда книг один увесистый том. Нет-нет, то не были труды Штейнберга, Гаккебуша или действительного члена Академии Медицинских наук Маньковского, одни названия коих врядли кого-нибудь оставили бы равнодушным — «Кликушество и его судебно-медицинское значение», «Покушение на самоубийство и совершение поджога», «Курс судебной психопатологии» или, на худой конец, «Любовь у помешанных» Ломброзо, что было бы абсолютно естественным в сложившейся ситуации, но, с другой стороны, и столь же тривиальным. Вот и коллеги, очевидно, недооценив гениальности своего руководителя, несомненно ожидали какого-нибудь пространныго экскурса по шершавым страницам признанных авторитетов. И они, разумеется, ошибались!.. Искусственная рука Федора Федоровича, будто клещи, сжимала пятый том Малой Советской Энциклопедии, 1959 года издания.

Пока он шелестел страницами в поисках нужной, присутствующие тихо перешептывались, то и дело косясь на паломника.

— Вот, прошу вас, душа моя. Прочитайте-ка это, — и Федор Федорович положил книгу на стол перед трубадуром и воткнул металлически лязгнувшее острие пальца в страницу. — Если вас не затруднит, читайте вслух. Думаю, всем нам будет интересно узнать, что написано в этой «книге судеб».

— Какое тонкое письмо! — воскликнул восхищенный трубадур. — И буквы все — одна в одну и так подогнаны друг к другу, как будто тот, кто их писал — не человек, а даже я не знаю...

— Писцы у нас отменные, вы совершенно правы, — нетерпеливо согласился Федор Федорович. — Читайте же скорее!

— А бумага! Боже мой, такой не видел я ни в Палестине, ни в Египте! Ей просто нет цены... Могу вообразить, какую мудростью сей фолиант наполнен. Действительно, должно быть, книга судеб...

Последний трубадур благоговейно провел ладонью трепетною по странице, как будто это был Сивиллы дар, и осенил себя знаменьем крестным, и принялся читать, слова растягивая мелодично:

— «Лилия, саранка, *Lilium*, — род луковичных растений семейства лилейных. Листья линейные, ланцетные или овальные...» Что за черт!..

Здесь трубадур запнулся. Взор удивленный, румянец нервный на ланитах.

— «Род луковичных»? — переспросил он, как бы сомневаясь в прочитанном глазами.

— Читайте же, душа моя, читайте! Мы слушаем, мы внемлем.

Сглотнув слюну, трубадур продолжал, под шумный птичий гомон, доносившийся из открытого окна:

— «Цветки... крупные... ..Плод-коробочка... Около восьми-десяти видов... Размножают их луковичками-детками, семенами и чешуйками!..»

Трубадур сильно побледнел. Но, похоже, окончательно его добила заключительная сентенция, гласившая: «Луковицы многих лилий съедобны».

— Как это съедобны?!

— Вот видите, душа моя!

— Позвольте, сударь, чему так радуетесь вы? И почему все эти люди веселятся? Ведь только лилофаг¹ какой-нибудь презренный мог написать такую дерзость!.. Боже правый! — вскрикнул трубадур, догадкой ужасной пораженный. — Так вот куда попал я! Страна, где лилий пожиратели и ненавистники живут! О ней я столько слышал, но мог ли я подумать, что однажды...

¹ Пожиратель лилий (*греч.*).

— Послушайте, гражданин трубадур, вы — в стране Советов.

— Каких еще советов? Мне нет нужды ни в чьих советах! И в ваших книгах лживых я тоже не нуждаюсь!

— Ваш вывод фантастически прекрасен, — попытался было вновь перейти на поэтический слог Федор Федорович. — Но видите ли, гражданин...

Трубадур не дал ему закончить, он яростно захлопнул книгу и с ненавистью воззрился на ее болотистого цвета обложку.

— Что это еще за Энциклопедия такая?!

— Малая Советская, — миролюбиво пояснил Федор Федорович. — Советская — это значит, имеющая в своей основе классовый подход. А есть еще и Большая Советская Энциклопедия. И, разумеется, вы видите ее впервые в жизни, ха-ха-ха!

Но, похоже, трубадур и в самом деле из сказанного ничего не понял. Хуже того, Малую Советскую Энциклопедию он обозвал «дьявольскими письменами», а самого Федора Федоровича — мерзким гримуаром и коварным лилофагом, гнусно оскорбившим доверие одинокого странника и, значит, недостойного носить титул Великого Магистра. Затем он вскочил на привинченный к полу стул и принял гордую позу.

— Слезьте со стула, и хватит ломать комедию! Мы всё про вас знаем, гражданин Умняк-Горемыкин, — жестко заявил Главный Белый Халат.

— Твое место в Аду! — провозгласил трубадур со стула, хватаясь за рукоять меча. — И я сейчас тебя туда отправлю!

Единственный живой глаз Федора Федоровича внезапно приобрел холодный стальной оттенок, лицо его сделалось воскового цвета, щеки впали. Вдобавок к этому в комнате грянули такие лютые морозы, что воздух заискрился, потолок, стены и вся обстановка покрылись голубоватым инеем, а за окном умолкли птицы. Медленно, с ужасным скрипом, Фед-Фед приподнялся из-за стола, неотрывно глядя снизу вверх, исподлобья, на возвышающегося над ним наглого певчишку. У медсестры Груни заныло в крестце, а Гестаповна, смахнув сосульку из-под носа, клыкасто ухмыльнулась. Остальные белохалатники заметно напряглись и тесно сомкнули свои ряды: казалось, ледяные торосы со скрежетом и треском вздыбились за спиной разгневанного трубадура, готовые вот-вот обрушиться на его беззащитную голову. Словно не замечая внезапного и даже аномального прихода столь жестокой зимы и быстро сгущающейся у него за спиной угрозы, он провозгласил, что, хотя и не разделяет

инквизиторских методов, все ж с величайшим наслаждением развел бы костер большой и жаркий («Да, кстати... Похолодало тут у вас!») и сжег бы сей мерзостный пасквиль дотла, а пепел развеял бы по ветру, дабы никто и никогда не мог принять отраву в глаза и в уши, ни, тем паче, в сердце! А впрочем, он уверен, ничто сейчас ему не помешает вызвать монстра на смертельный бой! Ничто не помешает доблестным мечом честь отстоять своей возлюбленной и святость чувств, не будь он Майонезом Провансальским!

Но вот тут-то наивный трубадур жестоко ошибался! Ибо ему помешали, — и помешали самым циничным образом, пустив в дело не мечи и копья, и не драконье пламя, а обыкновенную смирительную рубашку, какими в кабинете Главного Белого Халата был набит целый шкаф. Больше всех усердствовал белохалатник Кетчуп, получивший свое прозвище в Скорбной Обители за особое изуверство во время кровавых расправ над непокорными. Одним ударом кулака он расквасил нос отчаянно сопротивляющемуся трубадуру. «Я Кетчуп Куринёвский! — орал он в самое лицо “поплывшему” Майонезу Провансальскому. — Запомни это имя, урод безмозглый!..» Затем, с диагнозом «Raptus», что значит «Припадок бешенства», паломника препроводили в свободные апартаменты.

— Ну что, коллеги? — сладко шурясь в изумрудную линзу своего моногля, пропел Федор Федорович. — Повезло нам с этим идиотом. Уж теперь-то мы обязательно поставим наш спектакль!

Раздались крики «Браво!» и аплодисменты, как будто спектакль уже закончился, еще и не начавшись.

— Значит так, — прекратил овации Федор Федорович. — В театр оперный сообщать ничего не будем. Как говорится, «Addio, Eleonora!»¹ Пускай ищут себе другого трубадура. А этот нам самим нужен — и, кстати, со всеми своими причиндалами.

Сгрудившись вокруг Главного, все белохалатники наперебой поздравляли друг друга с великой удачей. Ведь речь шла, с одной стороны, о репутации местной художественной самодеятельности, а с другой — о давно вынашиваемой идее поставить на подмостках Обители патриотическую оперу маэстро Калибана-Пуччини из седьмой палаты.

¹ «Прощай, Элеонора!» (*итал.*) — начальные слова арии Манрико из оперы Дж. Верди «Трубадур». Последняя ария Манрико, заключенного в башню.

Опера была написана еще два года назад и первоначально называлась «Смерть за Генерального Секретаря». Фед-Фед уже тогда милостиво обещал Калибанову-Пуччини всемерную помощь в воплощении этого грандиозного произведения в живых звуках и образах, и даже со временем построить специально для него театр, не хуже Байрейтского, но при условии, что маэстро изменит название оперы на более оптимистичное. Собственно, даже не все название целиком, а всего-то одно-единственное слово. Маэстро не стал артачиться, — только бы проект состоялся! — и поменял слово «Смерть» на слово «Жизнь». И действительно, «Жизнь за Генерального Секретаря» звучало куда оптимистичней!

Уже и репетиции шли полным ходом — благо, профессиональных музыкантов и просто любителей помузицировать в Скорбной Обители недостатка не ощущалось во все времена. И даже несмотря на постоянную ротацию кадров, дело быстро двигалось вперед. С декорациями проблем особых тоже не возникало, поскольку художников здесь было, по меткому замечанию Гестаповны, «как собак нерезаных». Куда сложнее было смастерить из фанеры десяток германских танков времен Второй мировой войны в натуральную величину. Но и с этой задачей умельцы справились более-менее успешно. Единственной проблемой и настоящей головной болью для всех оставалось полное отсутствие достойной кандидатуры на главную роль. Задумывалась она как партия баритона, что, по мнению композитора, должно было соответствовать исторической правде и хорошему вкусу. В наличии же имелись, увы, как всегда, лишь тенора да басы, и даже один престарелый контртенор Пупсяев, которому, кстати, отвели в опере почетную роль сына полка. Композитор так извелся, что в приступе глубочайшей ипохондрии навсегда бросил сочинять музыку и уже подумывал сменить свое прозвище «Калибанов-Пуччини» на какое-нибудь попроще, типа «Паузов-Тутти». И тут такая невероятная удача!..

— Вот уж повезло, так повезло! — на разные лады лопотали белохалатники, предвкушая громкую премьеру и все, связанные с ней, праздничные треволнения.

— Уж этот трубадурчик полечится у нас!

— Ох как долго полечится!.. Федор Федорович, а когда мы будем репетировать батальные сцены?

...Судьба, как всегда, распорядилась по-своему. Весть о явлении солиста разлетелась по всем отделениям и палатам молниеносно. Всем хотелось поболтать с ним «за жизнь» и, если повезет, подержать в руках его меч или лютню, но сделать это не представлялось возможным, потому что беглого трубадура под видом карантина полностью изолировали от общества и держали в отдельной палате под замком. И, вероятно, в самоутешение, ничего иного ему не оставалось, как сравнивать себя с коварно заточенным в глухую башню Ричардом Львиное Сердце, которого по всей Европе разыскивали лучшие рыцари. Днем из этого заточения не доносилось ни звука, ни малейшего шороха, а по ночам, прямо сквозь толстые стены, будто их и вовсе не было, лилось дивное пение, и тот, кто не спал, вкушал сладостные звуки лютни, мягкий проникновенный голос таинственного узника, и был тронут до глубины души. И Пришивалов тоже слышал, потому что страдал бессонницей. Одна из ночных трубадурских песен ему особенно легла на сердце, и потом весь день он повторял ее как молитву. Вот она — в том виде, как запомнилась отставному инспектору Пришивалову:

НОЧНАЯ ПЕСНЬ
ТРУБАДУРА МАЙОНЕЗА ПРОВАНСАЛЬСКОГО,
не вошедшая ни в знаменитые «Vidas dels trobadors»¹
ни в «Les vies des plus celebres et anciens poetes provencaux»²
Жана де Нострадама, написанная углем на цементной вазе³

Через расставание
через расстояние
в каждом шаге
бешеное
противостояние

В каждом чуде
кроется

¹ «Жизнеописания трубадуров» (*старопрованс.*).

² «Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских поэтов» (*франц.*).

³ Насколько мне известно, эта цементная ваза с нацарапанным на ней текстом «Ночной песни» была обнаружена следопытами г-на М*** на территории психиатрической больницы им. академика И.П. Павлова (бывшей Кирилловской больницы). Это один из немногих артефактов, которые я оставил себе на память. Ваза и по сей день стоит у меня на балконе, и в ней растут лилии. — *Примечание Издателя.*

ужас отчуждения
через удивление
через отрезвление

Через силу
через край
в час когда светает
дай мне день
которого
вечно не хватает

Подари мне только ночь
чтобы звезд сияние
чтобы бездну превозмочь
в последнем с ней
слиянии
через расставание
через расстояние...

А на третью ночь песнопения внезапно прекратились, и тщетно Пришивалов напрягал слух до самого утра — слышалось только тихое посапывание кровельщика Вострокнута и мятежный храп убийцы дыни — Хвоща-Мичурина.

Утро же, напротив, началось с зычных криков и беспорядочной беготни в коридоре. К всеобщему изумлению, последний трубадур бесследно исчез, пропал, растворился... Можно сказать, аннигилировал прямо в запертой на три ключа палате вместе с мечом и лютой. И это несмотря на то, что ночью дежурила сама Гестаповна! Ее тут же под руки увели с сердечным приступом, а Главный Белый Халат клятвенно пообещал отправить ее следом в ту же мистическую палату на поиски пропавшего в ней баритона. Невыносимая досада терзала Федора Федоровича, ибо выстраданную и взлелеянную в мечтах премьеру оперы маэстро Калибанова-Пуччини приходилось теперь откладывать на совершенно неопределенный срок, если даже не навсегда. И никакая беготня и крики, выговоры и взбучки, алкоголь и транквилизаторы не в силах были унять его терзания.

За завтраком только и разговоров было, что о случившемся казусе, и вся Скорбная Обитель веселилась до упада. Один лишь Калибанов-Пуччини сидел мрачнее тучи и к овсянке даже не

притронулся. Пришивалов во всеобщем веселье тоже участия не принимал, хоть и возбужден был до крайности. Принадлежи он к славной когорте художников, поэтов или музыкантов, тогда, пожалуй, свое необычное состояние он мог бы с полным правом назвать «вдохновением», поскольку имелись все необходимые его свойства, а именно: трепет в конечностях, холод в позвоночнике, учащенное дыхание и быстро мелькающие перед внутренним взором живые картины. В какое-то мгновение Пришивалов поймал на себе сверлящий взгляд Интеллигатора. Уголки губ профессора дрогнули в едва приметной улыбке заговорщика. Инспектор утвердительно кивнул ему, что, несомненно, могло означать только одно: «Сегодня!» И с этой минуты во всем мире лишь два человека знали правду о том, что случится этой ночью, — он сам и Интеллигатор. Конечно, можно было бы бежать и прямо сейчас, после завтрака. В течение дня очень маловероятно, что его хватятся. Скорее всего, подумают: пошел прогуляться за водкой, или — в библиотеку, в худшем случае. Но инспектор Пришивалов был убежден, что *настоящие побеги* совершаются только под покровом ночи, с великими предосторожностями и на голодный желудок.

IX

Весь день он готовился. Подобрал в саду забытый кем-то старый целлофановый кулек с полустертым изображением Деда Мороза и надписью «С Новым Годом!», он тайком принес его в палату и, удостоверившись, что никто не обращает на его подозрительные действия ни малейшего внимания, развернул на кровати. Потом поочередно опустил в кулек весь свой нехитрый скарб: компас, зубной порошок и щетку, едко пахнущее цветочное мыло из общего умывальника и два не очень свежих полотенца, которые он вечно путал, — одно для лица, другое для ног. Съестные припасы также не отличались изысканностью и разнообразием: несколько кусочков хлеба и сахар с завтрака, подкисшая котлета с обеда, головка чеснока и соль из-под кровати.

Мысленно он прощался с товарищами, с которыми прожил все это время, или безвременье. Он то и дело заглядывал им в глаза и молча благодарил их, ничего не подозревающих, за все, чему научили его, за понимание, терпение и дружбу...

После ужина, словно движимый неосознанным предчувствием или, что скорее всего, волей Божьей, отец Станислав прочитал Пришивалову очередную проповедь — на сей раз о Надежде (Вере он посвятил три долгих вечера еще на прошлой неделе) и обещал по прошествии двух дней изложить учение о Любви. Затем вручил ему Новый Завет и настоятельно рекомендовал до следующей встречи читать «Послание к Коринфянам» апостола Павла, и чтение непременно сопровождать горячими молитвами. Пожелав, на прощанье, покойной ночи, отец Станислав, как всегда, осенил инспектора крестным знамением — и как всегда почему-то на православный манер. Пришивалов был премного растроган и сквозь пресветлые слезы поблагодарил святого отца, однако о Побеге не сказал ни слова: тайна есть тайна. Конечно, совесть его была не совсем чиста, но что он мог сделать?

— Ничего, ничего, — в святом неведении увещевал отец Станислав, будто нарочно подливая масла в огонь. — Господь не оставит тебя, сын мой! Absolve te...¹

— Аминь, — с тихим вздохом промолвил Пришивалов, опуская глаза.

Последний, с кем он попрощался, был Интеллигатор. Они стояли в туалете, каждый в своей кабине, разделенные тонкой перегородкой, и долго безмолвно мочились. Звонкое журчание эхом отдавалось под сводами потолка и было красноречивей всяких слов. Потом оба, один за другим, они с шумом слили воду и так же, в полном молчании, но с чувством какого-то светлого прозрения и достоинства, разошлись по своим палатам.

На часах минула полночь. В Скорбной Обители стояла такая пронзительная тишина, что у Пришивалова в ушах звенело. Товарищи его уснули глубоким сном. «Ох, и удивятся они завтра!» — подумал бывший участковый инспектор, туго затягивая на себе поясом больничный халат. В темноте, на ощупь, он открыл тумбочку, извлек целлофановый кулек с пожитками, присел на тихо скрипнувшую кровать и положил его себе на колени. Так, посидев несколько минут «на дорожку», он сделал глубокий вдох и выдох, встал и осторожно, чтобы никого не задеть, направился к двери.

¹ Отпускаю тебя... (т.е. отпускаю тебе грехи) (лат.) — формула отпущения грехов на исповеди у католиков.

В коридоре горел свет. Обычно мертвенно-бледный, сейчас свет казался теплым и родным. Пришивалову стало как-то не по себе: правильно ли он поступает? Будет ли хорошо ему? Будет ли хорошо другим от его побега? Не причинит ли он кому-нибудь, кто, возможно, уже успел сердечно к нему привязаться, незаслуженную боль, и не обманет ли он чье-нибудь доверие?.. Ему тут же вспомнились слова Интеллигатора, сказанные в саду: «Бежать — дело не самое трудное». Куда бежать? И что будет потом? Что будет там, на свободе, на Большой Земле? И существует ли она на самом деле, или она — только миф? Так много вопросов, и пока — ни одного ответа! Будущее терялось где-то там, за стенами Скорбной Обители, во мраке ночи. К немалому своему удивлению, Пришивалов вдруг понял, что успел сжиться, сродниться, срастись с неволей, с этими белыми стенами, с решетками на окнах, с постоянством устоев и уверенностью в завтрашнем дне, перечеркнуть которые вот так, одним махом, одним Побегом, даже если он с большой буквы, оказывается, было совсем не просто. Скорбная Обитель стала его домом. И этот дом — на самом деле такой маленький и эфемерный в окружающем его огромном мире, но бесконечный для себя и в самом себе, — наверняка теперь останется в его сердце до конца дней, и никогда связующая их нить уже не оборвется, как бы того ни хотелось. Он будет всегда нести в себе этот дом. Нести как часть своей родины, попутно осваивая новые пространства, чтобы затем и их сделать такой же частью родины. Да, бежать — дело не самое трудное. Труднее — найти то, что потерял... Потерял! Пришивалова даже бросило в холодный пот. Вот оно в чем дело! Господи, как же все до смешного просто! Он должен найти то, что потерял, а что он потерял — теперь ему хорошо известно. Снова, как будто наяву, увидел он незабываемую картину: предрассветные сумерки, серебро древних холмов и старые крыши под ними, и в зеркалах оконных стекол — опрокинутое сверху вниз змеистое тело улицы, и налипшие на этом теле листки с какими-то подозрительными словами — ужасными или прекрасными, а может быть, прекрасными и ужасными одновременно! — и маленький милиционер, суетливо собирающий эти листки в охапку, засовывающий их в карманы, за голенища сапог, даже не подозревая, что листки эти — еще не находка, но уже потеря!

Пришивалов перевел дух и медленно двинулся дальше. Целлофановый кулек предательски шелестел, и эхо от этого шелеста, казалось, разносится по всей Скорбной Обители, включая Женскую Цитадель и Мужскую, сад с аллеями, хоздвор, церковь на горé и саму луну как неотъемлемую часть этого лабиринта. Тем не менее, он удачно, никем не обнаруженный, достиг конца коридора, где возле полуоткрытой двери, ведущей на центральную лестницу, положив голову на стол, поближе к массивному черному телефону, в котором всегда жили всякие страшные разговоры и сообщения, предавалась сладчайшему сну дежурная медсестра Надежда Кирилловна Цуцик. Рядом, на первой странице газеты «Правда», прямо под жирным заголовком «На передовых рубежах», покоился недоеденный бутерброд с вареной колбасой, а у самого локтя монотонно позвякивал в мельхиоровом подстаканнике граненый стакан с давно остывшим чаем и разбухшей в нем мухой, как будто дело происходило не в больничном коридоре, а в вагоне ночного экспресса, мчащего куда-то в неизвестном направлении. Некоторое время, застыв на месте, Пришивалов чутко прислушивался к сопению и всхрапам спящей Надежды Кирилловны Цуцик, стараясь определить степень и «глубину» ее отсутствия, затем невольно перевел взгляд на колбасу... Ловким движением руки Пришивалов словно слизнул бутерброд со стола и, чтобы не шелестеть кульком, сунул его прямо в карман халата, потом аккуратно отставил стакан с чаем и мухой подальше от локтя медсестры и, под ее смачное почмокивание еще раз оглянувшись назад, будто из какого-то своего уже далекого будущего, тотчас вышел вон.

Спустившись по лестнице в вестибюль, к счастью совершенно безлюдный, он на цыпочках подкрался к входной двери, снял с нее стальную цепочку, отодвинул нижний засов и, словно дух бесплотный, выскользнул наружу, где, подхваченный прохладным ночным ветром, понесся по аллее в колышущиеся дебри темного сада. Вскоре он добрался до стены, без труда нашел заранее замеченные выбоины в кирпичной кладке и легко взобрался наверх. Прямо над головой, как благословение, сияла огромная полная луна. Далеко внизу горели редкие огни города, — беглецу казалось, что никогда он не видел ничего более прекрасного. За спиной громоздились хмурые глыбы «его универ-

ситетов». Качающиеся ветви деревьев таинственно поскрипывали на ветру и то ли прощались с ним, то ли хотели схватить за развевающиеся полы халата, остановить, задержать.

— Прощайте! Прощайте навсегда! — воскликнул отставной инспектор Пришивалов, гордо выпрямившись во весь рост на залитой лунным светом стене.

Размашисто перекрестившись, он наклонился, спрыгнул вниз и быстро растворился в ночном городе...

КНИГА КОРОЛЕВЫ

СОВЕРШЕННОМУДРЫЙ ПО

*Глава, написанная красной и черной тушью
на китайском бумажном веере¹*

Это был китайский дворик, с маленьким прудом посередине и горной грядой вдали. Вокруг благоухали цветы, пели птицы, в пруду плескались зеркальные карпы и слышны были шорохи и вздохи крадущихся чудесных животных. Во дворик путники въехали через Оленьи Ворота.

— Угу, — опять начал роптать г-н Филин, — что-то я не вижу здесь никаких оленей.

Г-н Архивариус укоризненно посмотрел на своего ученого секретаря и спросил:

— Вы на каком полушарии Глобуса Киева родились, дражайший?

— Угу, а что?

— Мне почему-то кажется, что на левом, где-нибудь в ивовых зарослях среди лягушек и бобров.

— Это почему же на левом?

¹ Здесь необходимо уточнить, что веер этот я купил на знаменитой барахолке Сенного рынка у человека, на первый взгляд регулярно выпивающего, которого я с тех пор больше не встречал. Весь текст этой главы был написан от руки исключительно китайскими иероглифами. И дабы разобраться в нем, я обратился за помощью к своему старому другу, поэту и китаеведу, Григорию Хорошилову, который не только помог мне перевести сам текст с учетом тонкостей китайской философии и алхимии, но и посвятил в некоторые особенности китайской иероглифики. Увы, друг мой вскоре покинул наш суетный мир, так и не оценив ни плодов нашего совместного труда, ни этой книги в целом, а я и по сей день скорблю о нем, вспоминая наши душевные беседы в тени старого ясеня на летней площадке ресторанчика «Ольжин двор», откуда открывался самый романтический в городе вид на закат солнца, вспоминаю так, словно все это было вчера. И нет больше ни того стола, за которым мы сживали, ни той летней площадки, ни самого ресторанчика, остались только ясеня и закаты. Покойся с миром, дорогой друг! Я буду всегда тебя помнить. — *Примечание Издателя.*

— Потому что за фантазию и воображение, которых у вас, судя по всему, нет от рождения, отвечает правое полушарие Глобуса. Вы, господин Филин, просто законченный антихтон¹, вот вы кто!

Итак, путники оказались в типичном китайском дворике, густо увешанном амулетами, фонариками и колокольчиками. У самого края водоема на камышовой циновке сидел, ласково жмурясь, великий мудрец, Отец Вдоха и Выдоха, старый Хунь По², или просто По, как его называли в народе. В одной руке он держал зонтик, в другой — веер. И был он не просто мудрым, а совершенномудрым. Когда-то в его голове жил синий червь, в груди — белая барышня, а в животе и ногах — красный червь³. По уничтожил их и вырастил внутри себя золотую пиллюлю, благодаря чему стал бессмертным.

— Так, значит, поэтому он совершенномудрый? — спросила Янка.

— Не только, — отвечал г-н Архивариус. — Ему ведомы истинные имена всех вещей и явлений.

— Угу, подумаешь! Не велика заслуга, — возразил г-н Филин. — Обычные секретарские обязанности.

— В отличие от вас, дражайший, совершенномудрый По совершил тысячу сто девяносто девять добрых дел, — продолжал г-н Архивариус.

— Угу, а почему не ровно тысячу двести?

¹ Антихтоны — жители противоположного полушария, сказочные существа.

² Хунь, по китайским верованиям, нематериальная («духовная», «эгодуша») душа человека, после его смерти возвращающаяся на небо и существующая в виде духа предка, которому приносят жертвы. По — материальная («телесная» или «животная») душа, остающаяся с человеком и после его смерти, пока его тело не разложится. Чжу Си подчеркивал, «что то, что хунь — духовное начало стремится вверх, а по — земное начало — вниз, это нормальный принцип. А все чудесное лежит вне нормы».

³ В представлениях китайских даосов человеческое тело населено 36 тысячами духов, связанных с определенными частями тела. Помимо этих духов в теле человека еще до его рождения поселяются так называемые «три трупа», или «три червя». Живут они в «полях киновари»: «старый синий червь» живет во «дворце нирваны» (в голове); «белая барышня» — в «пурпурном дворце» (в груди); «кровавый труп» — в нижнем «поле киновари». Эти черви пытаются сократить жизнь человека, который их приютил, причиняя вред «полям киновари», и стремятся покинуть тело человека, т. к. чем раньше умирает хозяин, тем раньше они освободятся, станут «призраками» и выйдут на волю. Даосы рекомендуют как можно скорее избавиться от этих «червей», истощить их воздержанием от злаков. Освобождение тела от «трех трупов» означает собой завершение первого подготовительного этапа на пути к бессмертию.

— Вы бы хоть одно доброе дело совершили, коллега!

Ученый секретарь ничего не ответил, но обиду затаил. Насупившись, он смотрел на старого китайского мудреца: отложив в сторону зонтик и веер, тот кормил с руки черепаху, которая только что выползла из водоема.

— И вообще, княгинюшка, видите, сейчас он сидит и кормит с рук черепаху? Так вот, это совсем не означает, что он сидит и кормит с рук черепаху.

— Угу, а что же это означает? — насторожился г-н Филин.

— В своих сокровенных странствиях старый По перемещается из спокойствия в пустоту, а из пустоты — снова в спокойствие. Так и живет он — между Небом и Землей. Только не следует думать, что одно с другим разъединено необъятными просторами. Скорее, они составляют единое целое. Одно в другом, как меч в ножнах, как косточка в яблоке, как аист в гнезде.

— Угу, какая-то несуразица! У меня даже голова разболелась.

Тут совершенномудрый По отпустил черепаху и повернулся лицом к путникам.

— Не кричи, разбудишь черепаху Ао, — сказал он, обращаясь к ученому секретарю.

— Угу, она у вас что, спит и ест одновременно?

— Это другая черепаха, — пояснил мудрец и спросил: — Как тебя зовут?

— Фи Лин, — отрекомендовался ученый секретарь и в свой черед задиристо поинтересовался: — С кем имею честь?

Г-н Архивариус готов был задушить наглую птицу.

— Я — дом своим душам, таково мое имя, — невозмутимо ответил Отец Вдоха и Выдоха и растянулся в духовном шпагате. — Так ты говоришь, у тебя болит голова?

— Угу... болит...

Мудрый По плавным движением развел руки в стороны и сказал:

— Это очень просто: немного ветра, немного дождя, немного мрака, немного света... Смешай все это в своем сердце, и болезнь уйдет.

— Угу, а если не уйдет? — не желал уступить г-н Филин.

— А ты чаще проветривай свои дворцы.

— Какие еще дворцы? Нет у меня никаких дворцов!

Мудрец поднялся с циновки, встал на одну ногу и взмахнул по-птичьим руками:

— Они все в тебе, говорящая птица.

Повернувшись к Янке, он молвил:

— В седьмое число седьмой луны, когда Ткачиха пойдет по сплетенному сороками мосту через Серебряную Реку, чтобы свидеться со своим Пастухом, ты найдешь камень, который так долго искала.

В эту минуту черепаха с тихим всплеском ушла на дно водоема.

— Вы говорите об Адуляре? — спросила Янка, сильное волнение охватило ее.

Но старый По ничего не ответил. Он долго смотрел сморщенным прищуром на сияющий в вышине Просторно-студеный Чертог, затем вежливо поклонился путникам, скатал свой дворик вместе с водоемом, горной грядой и тысячеверстыми далями в рулон и растворился в пустоте, оставив друзей в полном недоумении...

КНИГА ГОРОДА

«ЧАЙНИК» И ПУТИ ПОЭТОВ

...Нет, конечно, «Чайник» нельзя поставить ни в какое сравнение, например, с тем же «Caffè gresco» на Корсо в Риме, где когда-то собирались художники во главе с Францем Рейнгольдом и даже великие волшебники — такие, как тот же синьор Челионатти. Не сравнить и с Вилем или Баттоном, куда ходил на «тусовку» весь просвещенный Лондон. А о парижских «Chat Noir»¹ и «Ротонде» и вовсе говорить не приходится. Ничего нет в «Чайнике» от фальшивого блеска и внешней неприступности, следовательно, не встретишь здесь напомаженных мужчин в смокингах и сверкающих бриллиантами женщин с тонкогубыми улыбками на устах и мопсами на руках, словом, того чопорного общества, при виде которого всякому истинному поэту хочется плевать, сморкаться и громко пускать ветры. Этот класс людей давно вымер. На смену ему пришли рано стареющие ответственные работники в серых костюмах, купленных в универмаге раз в пятилетку или, в лучшем случае, пошитых в каком-нибудь ателье при Доме быта, с галстуками таких тоскливых расцветок, что на них впору было бы сразу повеситься, и их преждевременно располневшие жены в шиньонах и золоте, при виде которых суицидальные настроения только усиливались. Но эта публика в «Чайник» не ходит, предпочитая ему и подобным заведениям рестораны «Столичный» или «Киев» с обилием хрусталя, белыми скатертями и салфетками и, особенно, живыми лабухами, которым можно заказать «Малиновку» и под нее «круто оторваться». Да, «Чайник» — это совсем, совсем иное. Конечно, поэты по-прежнему бывают здесь каждый день, но они уже не столь эпатажны: не носят на себе желтых кофт, стихов в наволочках и револьверов в кармане. Остатки былого аристократизма если еще и хранятся, то на кухнях, подобные декоративным растениям, которым вынос на открытое пространство грозит гибелью. Здесь же, в «Чайнике», обстановка

¹ «Черный Кот» (франц.).

внесловная, то есть подлинно демократичная: столовая мебель эпохи XXV съезда, квадратные зеркала, привинченные к стенам толстыми хромированным болтами, в углу — старенький музыкальный аппарат, называемый «меломаном», который хрипит как астматик, но все еще дышит и, очень даже возможно, переживает всех здесь присутствующих; на потолке — вентиляторы в виде вертолетных пропеллеров, впрочем, никогда не работающие; одна-две мухи, как неотъемлемая часть интерьера во всякую пору года, и вечная пыль, мерцающая в косых лучах света из окон. Гурманам в этой зоне гастрита, язвы и желудочных колик тоже делать нечего: отварные, цвета кассельской земли, сосиски с горчицей, салат из увядших огурцов и анемичных помидоров, нарезанных так тонко, что вилкой не подцепить, чай, кофе и пирожные с масляным кремом — на большее рассчитывать не приходится. Есть, правда, в ассортименте вино и коньяк, но — с ресторанной наценкой... Ах, да! Еще «Пражский торт» — для слабого пола. В остальном же, девиз «На́кось, выкуси и закуси!» был бы здесь более чем уместен. Но разве в этом дело? Главное, что на рубль можно сидеть долго. Очень долго! Это шесть чашек кофе и еще чаевых десять копеек остается. А вино либо что-нибудь покрепче любой уважающий себя поэт может принести с собой в портфеле, в целлофановом пакете или просто за пазухой. И тогда — хоть залейся! Днем, в приступе эргофобии, столь природной для истинно артистической натуры, поцеживая кофе и покуривая сигарету, можно книжку хорошую почитать, погрезить о чем-нибудь возвышенном, поглазеть на стайку весело щебечущих балерин с маленькими хвостатыми головками на тонких шейках — они часто забегают сюда перекусить, благо Театр оперы и балета — прямо на противоположной стороне улицы... Короче говоря, все дороги ведут сюда. Но это, по большей части, дороги поэтов и художников — счастливых избранных, — и притом у каждого — свои, неповторимые. Простые обыватели ходят другими дорогами.

Например, у корректора Впетлина таких дорог в данную минуту было сразу две, и назвать их следовало бы возвышенно — *путями*: путь тела и путь сознания. Выйдя из дому, с кожаной папкой под мышкой, иссеченное рубцами и ожогами тело Впетлина силою биохимической энергии и мышечной памяти безошибочно продвигалось Русановской набережной по направлению к метро. Оно, тело, прекрасно вписывалось в осенний ланд-

шафт города, который со всей своей архитектурой, наземным и подземным транспортом и канализацией являл квинтэссенцию брэнной телесности, как таковой. Ревматические ноги корректора Впетлина неторопливо шаркали по гигантским ребрам улиц. Носатое тельце его лица обдувал прохладный ветер; мелькали замызганные корпуса автомобилей, молодые и старые туловища других людей — всегда в одних и тех же заданных направлениях, — и над ними дремали блеклые телеса небес.

Ну, а путь сознания корректора Впетлина был суров. Его разум презирал этот иллюзорный мир, который так до сих пор и не удосужился уразуметь, что иллюзорность эта зиждется на двух субстанциях — Жизни и Смерти, в то время как они суть одно и разделены лишь, если можно так выразиться, в «неосознанном сознании» человека, то есть в сознании неоткрытом, неразвитом. Следовательно, никакой дуальности нет и быть не может, а значит, нет и этого мира. Есть некая подмена, квази мир с его горизонталью и вертикалью, с его унификацией — как откровенной, так и ловко скрывающейся под разнообразием видов и событий, всевозможных императивов и причинно-следственных связей, — с его конвейером убываний и прибываний, с его обманом зрения и слуха, с его искусственным временем и условными остановками. Все философии этого измышленного мира, великие и малые, рождены либо страхом, либо голодом, либо даже не любовью, а надеждой возлюбить — возлюбить нечто такое, что на самом деле отсутствует в этом самом отсутствующем из миров, но, возможно, и присутствует в каком-нибудь ином мире. Какая нелепость — жить среди галлюцинаций и быть галлюцинацией!..

«Станція “Гідропарк”... Обережно, двері зачиняються. Наступна станція — “Дніпро”»...

Только сейчас он заметил, что его тело, мерно покачиваясь, едет в вагоне метро. За окнами проплывают облетевшие рощи, сизые, с редкими желтыми и багряными пятнами. Впереди — с ртутными проблесками синь Днепра и в солнечной дымке купола Лавры на противоположном крутом берегу. Вот и мост... Поезд сбавил скорость. Пассажиры, те, что стояли, уныло смотрели в окна, а те, кто сидел, — куда-то внутрь себя. Корректору Впетлину пришла в голову идея, поражающая своей красотой: а что если вообразить, — подумал он, — что это поезд с мертвецами. Без ма-

шиниста, ведомый одним лишь необратимым ходом вещей, состав беззвучно движется, вагон за вагоном, по хрупкому мосту, под ним — лишенные памяти, неподвижные и темные воды Реки Забвения, а где-то впереди, в тумане, на другом конце моста — Подземное Царство; еще мгновение — и оно поглотит их навсегда... Позы и лица пассажиров, их мимика — все это неожиданно предстало в ином, комично-инфернальном, свете, и корректор Впетлин поразился тому, с какой легкостью может одна реальность проступить сквозь другую, или даже полностью изменять ее, если не заменять вовсе. Невинная игра, но как о многом она говорит! Он готов был возликовать... Поезд нырнул в туннель, и колеса оглушительно застучали на стыках рельс. Непроглядная тьма взревела, взвыла за окнами, и тут же в их мутных стеклах проявились тусклые образы мертвецов; уже полупрозрачные, почти несуществующие, несущиеся сквозь Ад, они по привычке сидели и стояли, держась за поручни, будто все еще жили, и сквозь их меркнувшие лики мелькали яростные огни. Вот и после смерти, подумал корректор Впетлин скорбно ухмыляясь, все будет выглядеть так же обыденно. Мир Смерти в разумении людей ничем не отличается от Мира Жизни, что на самом деле лишает их существование смысла, ибо оно, это существование, становится бесконечным переливанием из пустого в порожнее...

Выбравшись из подземки на Крещатике, корректор Впетлин пошел в «Чайник». Тело его опять исправно заработало ногами, подчиняясь привычному для них маршруту, а сознание ни на миг не отвлекалось от своего особого пути, постоянно открываясь и расширяясь, чем почему-то вместо радости приумножало скорбь. Крещатик в этот предвечерний час был цвета жженой кости. Торжественно шагали по нему бесконечные толпы прожигателей времени и обитателей пространства. Глаза остекленелые — куриная слепота мира сего; рты, словно у рыб, беззвучно открываются и закрываются, и в ушах пробки — таковы сегодня голос и слух мира сего. Так, не звуча, в полной тишине движутся десятки и сотни тысяч тел, топчя штиблетами пространство и время и в них же растворяясь — без следа, без тени, без эха, ибо этот вечно изменяющийся хронотоп на самом деле мертв изначально, и по-другому в нем ничто не может происходить... А что же мы, поэты? — корректор Впетлин остановился, и город остановился вместе с ним и замер в оцепенении. О поэты! Одни не в силах двух слов связать без золотых перьев и бронзовых чернильниц на па-

лисандровых столах, другие — без пролитых рек крови, третьи — не облачившись в рубище и тернии, четвертые — не вооружившись дорогой в никуда, пятые — не насладившись всем вином и всеми женщинами мира, шестые — не получая отовсюду подтверждений своего божественного или демонического предназначения, седьмые действуют исключительно именем любви, которая, правда, легко заменяется именем ненависти и снова наоборот, восьмые — из любви к своему безумию, в надежде распространить его на всю вселенную... И этот ряд наверняка можно продолжить. И при этом все мы, как тот известный тип живописцев, что пеняют на никуда не годную натуру, или музыкантов, недовольных своими инструментами, или актеров на театре, которые постоянно апеллируют к реквизиту: и то им не нравится, и это... Бесконечно что-то выгадываем, выжидаем, интригуем, торгуемся и во всем ищем повод, если и не для прижизненной, то для посмертной славы... Зачем все это? — вот вопрос вопросов.

Высморкавшись в свой длинный носовой платок, корректор Впетлин обогнул здание ЦУМа и медленно побрел вверх по улице Фундуклеевской имени Ленина. Нет, он больше никогда не будет писать стихов, ибо поэзия, даже самая честная и талантливая, всегда — лишь часть своего творца. Малая часть, которая почему-то стремится стать целым, а став им, в конце концов превращает своего творца в раба своего, и тем самым, хочет она того или нет, умножает зло. Истина в том, что поэтическое творчество без опыта молчания ничем не лучше жизни без опыта смерти или смерти без опыта жизни. Конечно, обыкновенные люди предпочитают не задумываться над столь сложными и опасными вещами... Только очень немногие избранные способны со всем этим жить. Так что, не считая себя принадлежащим к их числу, корректор Впетлин поклялся никогда больше не марать бумагу и, таким образом, не питать ту злую силу, что каждое мгновение порождает в человеке время и пространство. Нет, лучшее в жизни человека — не художественное творчество, которое есть иллюзия иллюзорного мира, то есть дважды иллюзия, и не каторжный труд, который якобы делает человека человеком, а полное и окончательное освобождение от плотности вещества, от тупой, бездумной силы сопротивления материи. В разрушении материи — прекращение всех скорбей, о которых уже столько сказано, что только заведомому глупцу еще что-то непонятно. «А как же моя бессмертная душа?» — он понял, что запутался в своих рассуждениях. Во всяком

случае, они завели его вовсе не туда, куда он стремился, что его очень огорчило. Да, это еще вопрос, бессмертна ли она, душа его!..

Короче говоря, не только тело корректора Впетлина, способное лишь хотеть или не хотеть, уже по самой природе своей писать стихов не хотело (что, правда, стоило ему еще нескольких шрамов и рубцов в разных местах), но и ищущее вразумления сознание его тоже отрекалось от поэзии. Отрекалось навсегда. Так что, сойдясь в главном и предусмотрительно обойдя все острые углы и ловушки логики, тело и сознание корректора Впетлина просто приняли сторону «мертвой почки», и это был третий путь, который спустя четверть часа завершился нисхождением в полу-подвал, где и уютилось кафе «Чайник»...

...Как бы соображая, где он находится, корректор Впетлин извлекает из кармана пальто носовой платок и прикладывает к носу. Затем присаживается за свободный стол, кивает Асе. Та кивает в ответ: «Кофе?» — «Да, двойной!» Друзей еще нет. Корректор Впетлин смотрит на часы: половина шестого. Где их всех носит? В дальнем углу, справа от входа, заняв весь стол, сидят кладбищенский скульптор Пердюк, в роду у которого, как известно, были французы, инженер Гавендо и поездной проводник Драконыч, который на самом деле Михалыч, — и как всегда, играют в кости. Пока готовится кофе, корректор Впетлин извлекает из папки свежий номер «Литературной газеты» и привычным жестом раскрывает ее в том месте, где обычно печатают некрологи. Но сосредоточиться мешают скульптор Пердюк: все тарыхтит и тарыхтит. Бахвалитесь... Довольный такой. Видать, снова выигрывает. «Человек-самогон» — в алкогольно-антропософской системе Старика Придумкина. Как это он точно подметил! Чмокнув губами, Впетлин снова пытается сосредоточиться на главном: «Вчера, после тяжелой и продолжительной болезни, на сто втором году жизни...» Текст расплывается. «А меня за глаза “клофелином” назвал, подлец! — Впетлин даже отпрянул от газеты. — Думал, я не узнаю. Забыл, что у поэтов длинные языки. Зато себя не обидел: “человек-шампанское”, видите ли!..»

Первыми в кофейне появляются вечно пьяные Гений Вишнеувский и Саша Милый — «человек-сидр» и «человек-кальвадос», всё по той же классификации Старика Придумкина. Их путь к «Чайнику» был самым коротким и совершенно лишенным событий, если не считать двух пропущенных по дороге бока-

лов пива: оба друга еще не отошли от вчерашнего и, если так можно выразиться, не вполне внедрили в сегодняшнее. Сизые, всклоченные, с похмельным стоном они буквально сваливаются за стол. Некоторое время сидят неподвижно, подпирая руками свои головные боли, из чего ясно, что пиво не помогло. Вместо приветствия корректор Впетлин показывает газету с сообщением о скоропостижной кончине какого-то лауреата Государственной премии с трудно произносимой фамилией. Выражение лица его и тон сказанного словно подчеркивают ту мысль, что иного исхода ожидать и не приходилось. Но по всему видно, что сие печальное известие поэтов несколько не огорчило: они давно привыкли к подобным проявлениям, столь естественным для человека, имевшего неосторожность публично назвать себя «мертвой почкой на древе жизни».

— Ты знаешь такого? — спрашивает Гений Вишнуевский, тяжело опуская свою похмельную голову на плечо Саши Милого.

— В первый раз слышу.

— Думаю, что и в последний.

— Послушайте, Впетлин, а вы уверены, что покойный был писателем? — на всякий случай спрашивает Саша Мильй.

Корректор Впетлин с усилием отрывает недоуменный взгляд от траурных колонок:

— В каком смысле?

— Ну, имя у него какое-то неписательское.

— Что значит, неписательское? Не понимаю.

— Такое имя больше подошло бы какому-нибудь натуропату.

— Или реабилитологу, — добавляет Гений Вишнуевский мечтательно.

Рука корректора Впетлина медленно, словно за револьвером, тянется за носовым платком.

— Да бросьте вы, Впетлин! Подумаешь, один умер... Их еще столько осталось! Вот лучше посмотрите, до чего мы с Шурой докопались. Целая ночь ушла на это. Сегодня, кстати, моя очередь продолжать роман, так я вот и думаю, не начать ли новую главу с нашего открытия?

И оба поэта тут же принимаются демонстрировать корректору Впетлину результаты ночных экспериментов, а именно: «совокупное свойство третьего глаза». Сводилось оно к следующему. Если воспользоваться так называемым «боковым зрением», то есть смотреть на какой-либо предмет таким образом, чтобы «оп-

тическая ось» глаза и направление на предмет изучения составили угол в девяносто градусов, то можно увидеть некие странные, едва уловимые движения. Это означает, что «астральное око» (или, другими словами, «третий глаз») фиксирует то, что происходит в так называемом «астрале». Еще минут сорок Гений Вишнуевский и Саша Милый, неподвижные, словно изваяния, вытаращив глаза и пялясь куда-то в разные стороны, купаются друг у друга в «астралах».

— Не хотите попробовать? — любезно предлагает Гений Вишнуевский.

Корректор Впетлин звучно сморкается в платок, что, по всей видимости, означает категорический отказ. И пока друзья испытывают «совокупное свойство третьего глаза», его не оставляет ощущение, что он плывет куда-то на Корабле дураков. Правда, лично он на борту этой славной посуды — пассажир временный. Почему временный? — Потому что однажды сойдет на берег. Смерть освободит его. А корабль будет плыть вечно...

— Кстати, друзья мои, а как правильно пишется: «астрал» или «острал»? — спрашивает Гений Вишнуевский. — Первая буква «а» или «о»?

— Конечно «а»! — с угрюмой презрительностью отвечает корректор Впетлин. — Но это уже не имеет значения.

— Спасибо. Не забывайте, я все-таки биолог, а не филолог.

В дверях появляется Флюидов и с порога включается в дискуссию:

— Да разве можно такое забыть? Только биолог и может написать «асвальд» вместо «асфальт» или «пратубиранс» вместо «протуберанец»...

— А, Лазарь, это ты? — суетится Гений Вишнуевский. — Садись, садись скорей! Будешь моим редактором... Асенька, нам бы кофейку!.. Ну, друг мой Лазарь, чем обнадежишь?

Флюидов виновато улыбается. «Человек-ликер», — почти машинально вспоминает корректор Впетлин и так же машинально уже от себя лично уточняет: «Бенедиктин». Да, хоть он и зол на Старика Придумкина, но проклятая система его, надо признаться, работает безотказно!..

— Портвейн с собой?

— Нет, сегодня «зося».

— Какого черта? — обижается Гений Вишнуевский.

— Денег не хватило. Да и настроение что-то не очень.

— Вот потому и денег не хватило, что настроение не очень.

— А третий глаз у тебя есть? — спрашивает Саша Милый, напряженно вглядываясь куда-то в сторону от Флюидова.

— Обычно после третьего стакана. А после четвертого и четвертый глаз открывается.

— Ладно, — соглашается Гений Вишнуевский. — Давай свою «зосю».

— А кто сегодня виночерпий?

— Ты и будешь виночерпием. А я сегодня — летописец.

Не став спорить, Лазарь Флюидов бережно извлекает из кармана куртки пивную бутылку. На ней — бледно-желтая этикетка с надписью, подтверждающей, что это действительно «Золотая осень».

— Господи! — ужасается Гений Вишнуевский. — Где ты взял это пойло? Чей рóзлив?

— Какой еще розлив? Я же не виноват, что в стране не хватает винных бутылок.

— Может, там постыдились *это* разливать в винные бутылки? — высказывает робкое предположение Саша Милый.

— Впеллин, вы куда? — настораживается Вишнуевский.

— Гм, за *настоящим* вином, пока гастроном не закрылся.

— Хорошо, только быстрее, чтобы мы случайно не выпили ваш кофе. А ты, Лазарь, сам свою «зосю» пей.

— Нет проблем! Только потом не просите, все равно не дам.

Флюидов прячет бутылку обратно в карман. Время «зоси» еще не пришло. Пусть так, злорадно думает он, пусть... но когда придет — то-то будет акафист!..

...Надо заметить, путь поэта Лазаря Флюидова к «Чайнику» ничем особым отмечен не был. Во всяком случае, внешне. Как и весь день, путь его стал, скорее, своеобразным послезвучием сна, который приснился ему этой ночью, а точнее — под самое утро. Само собой разумеется, Флюидов его тут же записал. Пока в виде конспекта. Художественный блеск — вопрос времени; сначала нужно было постичь глубокий символический смысл, скрывающийся в этом необыкновенном сне, и только потом уже решить окончательно: включать его в книгу или нет.

Книга называлась предельно просто и без каких-либо претензий: «Гипнóтезы». Она включала в себя полное собрание наиболее ярких, и даже, по мнению Флюидова, пророческих сновиде-

дений за последние двенадцать лет его непростой жизни. Нельзя сказать, что сновидений накопилось много, а посему работа над книгой шла довольно вяло, напоминая затянувшуюся рыбную ловлю в местах, где нет клева. Но примерно с месяц назад, когда Флюидов уже подумывал, а не сматывать ли ему удочки, сны пошли просто-таки косяками. И даже несмотря на давно укоренившуюся привычку держать у изголовья тетрадку с ручкой, он едва успевал их записывать, так что многим удалось сорваться с крючка. Однажды ему снилось, как африканский лев встречает его на пороге родного дома и Флюидов пишет на его гладкой персикового цвета спине какое-то гениальное четверостишие, и пока он писал, дикий зверь мурлыкал от удовольствия; но потом явился дворник Ипритыч, фантастически трезвый, с полной миской водки, и лев вылакал ее до дна и тут же умер. Стеная от горя, Флюидов опорожненной миской ударил Ипритыча по удивленному лицу. После этой трагической гипнотезы Лазарь еще много дней не мог без содрогания смотреть на вечно пьяного дворника, особенно когда тот, сомнамбулически улыбаясь, поливал из дырявого шланга детский песочник горячей ржавой водой или в обнимку с метлой спал на свежеевыкрашенной скамейке. В другой раз Флюидову приснилось, что он — женщина на сносях!.. Несколько дней он ходил как прибитый и не разговаривал с собой, пока, наконец, до него не дошло, что сон этот, слава Богу, не о женских гормонах, вероломно затесавшихся в его гормональную карту, а о творчестве. Как-то спяну он поведал Гектору Джебу об одном своем сне, который часто повторялся: будто заходит он в метро, а там все эскалаторы — в виде крутых горок, и он скользит по ним стремительно вниз, словно бобслей, только без саней, перескакивая с одной на другую, на третью, на четвертую... «Ну, и чем все это закончилось?» — спросил Гектор Джеб. «Да ничем. Но было так хорошо!» — «Знаешь, мне тоже снился сон про метрополитен. Будто еду я в вагоне, и на каждой остановке машинист по радио объявляет название станции. А я все еду и еду. Сначала в один конец, потом обратно — со всеми остановками и объявлениями... И так всю ночь до утра! Представляешь? Думал, с ума сойду...» После этого Флюидов зарекся кому бы то ни было рассказывать свои сны. А совсем недавно, пару дней назад, ему приснилась тропинка в лесу. Долго шел он по этой тропинке, пока она не вывела его к старому дому. Вошел он в открытую дверь и увидел двух женщин, сидящих у окна — старую и молодую. Старая и говорит Флюидову:

«Жена тебе нужна». — «Еще чего!» — возмутился Флюидов. А старуха показывает ему лист бумаги, на котором изображены два льва, крадущихся куда-то один за другим на задних лапах: «Вот твоя креатура». Потом, осмотрев его с головы до ног, говорит: «Жилетку сам ушивал по фигуре?» — «Нет, она такой и была» — «Ну вот видишь? Стало быть, тебе надо жениться». — «У меня с этим нет проблем!» — «Ну конечно! — смеется старуха и говорит, обращаясь к молодой: — Посмотри, какие манеры, как держит он сигарету. Порода!» И снова показывает на крадущихся по листу бумаги львов: «Креатура *Избранный!*..»

Вообще-то обилие львов в снах не могло не радовать. Символ, без сомнения, царский. Да и «Креатура *Избранный*», черт побери, кое о чем говорит, не так ли? А вот обилие женщин настаивало. Все-таки с каким мастерством они расставляют свои сети! Да только им его не поймать, пусть не надеются.

Были и другие сны, не менее талантливые — ангелически возвышенные и до слез сентиментальные, изумляющие, иногда страшные или не очень, — так что книга «Гипнотезы» быстро росла и набирала силу. Правда, в последнее время Лазарь Флюидов стал все чаще замечать, что жизнь его постепенно перетекает в какое-то иное измерение, пускай, может быть, и менее определенное, чем реальная жизнь, но зато более волнующее. Он жил меж двух миров, но пока ему не хватало решимости окончательно выбрать один из них. Он чувствовал себя как муха, что бьется между двумя стеклами в оконной раме. Это отравляло кровь, а учитывая увеличивающуюся с каждым днем плотность и силу притяжения мира снов и накапливающуюся усталость, портило характер. Стали появляться признаки сварливости, обидчивости, чрезмерной экзальтированности по всякому поводу и, как следствие, преувеличений, иной раз переходящих даже в гротеск. Все острее поэт ощущал свое одиночество. В корявом тексте окружающей жизни, в потоке вербальности, — порожденной, как ему представлялось теперь, полным незнанием людьми иерархического принципа строения мира, а также духом стяжательства и страхом перед свободой быть самим собой, — он вел потайную жизнь некоего экзотического иероглифа, случайно затесавшегося в кириллицу и латиницу. Иероглиф этот явно выпадал из текста, не сопрягаясь с ним ни по форме, ни по содержанию, или, наоборот, был их неожиданным продуктом, странным мутантом. Подобных ему либо быстро вычеркивали из текста, либо текст постепенно сам избавлялся от инородного тела.

Вот в таких невеселых мыслях, с бутылкой «Золотой осени» за пазухой, поэт Лазарь Флюидов шел в «Чайник» на встречу с друзьями. Этой ночью ему приснилось, что он, балансируя на шаткой стремянке в страхе, как бы не упасть в пропасть, обклеивает собственными рукописями какое-то каменное изваяние. Осадок остался очень неприятный. Сон был коротким, но оглушительно громким, и до сих пор звучал в сердце, как аккорд со значком *fermata*¹. Небо над головой быстро заволакивалось тучами, и Лазарь Флюидов вошел в кафе с первыми каплями дождя...

— А что, разве сегодня не Иванова черед писать книгу? — отсутствующим тоном спрашивает Лазарь Флюидов.

— Нет, он после меня. — Гений Вишнуевский раскрывает потрепанную тетрадь в клеточку.

— Про третий глаз не забудь, — напоминает Саша Милый.

— Не забуду. Господи, как же он болит!

— У меня тоже в голове звенигород. Цитрамон дать?

— Давай... все равно не поможет.

Саша Милый долго роется в карманах. Сначала — в куртке, потом, встав со стула, — в штанах. Снова садится и, нахмурившись, усиленно пытается что-то припомнить.

— Ну, где же твой цитрамон?

— Вчера точно был...

— Вчера у меня третий глаз не болел! Да ну тебя...

Возвращается корректор Впетлин с бутылкой «Алиготе». Передает ее Флюидову.

— И это пойло вы называете настоящим вином? — в искреннем изумлении вопрошает Гений Вишнуевский; его словно взболтали и теперь он пенится и пускает пузыри — ну, точно: «человек-сидр». — Эх, Впетлин, уж лучше вас за смертью посылать, чем за алкоголем!

При упоминании о смерти корректор Впетлин гордо выпрямляется. Гений Вишнуевский этого не видит — он усиленно трет рукой лоб.

— Потерпи, скоро придет Иванов, — участливо подбадривает Лазарь Флюидов. — У него всегда есть водка, это то, что тебе сейчас нужно.

— Хорошо, подожду Иванова.

¹ *Fermata* (итал.) — знак, поставленный над нотой, продолжает ее звук.

Но, увы, дожждаться Игнатия Иванова сегодня друзьям не суждено. Его путь затерялся где-то в городе накануне ночью. Дождь прекратился. Взошла луна. Еще раз осмотрев улицу, тускло освещенную фонарем, он едва мог скрыть горькое разочарование: ундины нигде не было видно. Она ушла незаметно вместе с дождем. И вместе со своим настоящим именем.

На всякий случай Иванов вернулся во двор, где они только что пили водку, которую она каким-то непостижимым образом превращала в воду. Здесь ее тоже не было. От досады он топнул ногой. Пустой двор откликнулся гулким эхом. Иванов замер, как бы впуская в себя ночную тишину и звук капли... Прямо перед ним, осиянная луной, лежала пустая бутылочка из под водки. Вот и все, что напоминало об удивительных событиях этого вечера... Он поднял ее. Внутри что-то звякнуло. Иванов перевернул бутылочку вверх дном, и на подставленную ладонь выкатилась крупная жемчужина. Он аж присвистнул. Будто по команде, Луна тут же скрылась, и дождь припустил с новой силой. Чудеса, да и только!.. Оторопев, с минуту, стоял он под проливным дождем, словно в ожидании неизвестно чего, с протянутой ладонью, в которой поблескивала жемчужина. «Может, я чем-нибудь обидел ее невольно, — ужаснулся Иванов, — и больше никогда ее не увижу?» Со стыдом он вспомнил, как предлагал ей выйти за него замуж: «Боже мой, что это было? Совсем свихнулся!..» — «Радуйся, что не женился, не то помер бы непременно!» — услышал он за спиной чей-то голос, потом быстро убегающий смех... Иванов испуганно обернулся. Две тени изломанным зигзагом промелькнули по асфальту меж домов — то ли коты, то ли собаки. Засунув пустую бутылочку в один карман куртки, жемчужину — в другой, он бросил прощальный взгляд на темное безжизненное окно Классика, или Сказочника Адуляра, как называла его почему-то прекрасная ундина, и покинул двор...

...Пока Лазарь Флюидов традиционно под столом откупоривает бутылку «Алиготе», в «Чайник» входит молодой прозаик Кошляк В. П. Маленький, тщедушный, с вечно кислым выражением лица; фамилия его — и та должна была бы начинаться со строчной буквы: «кошляк». В последнее время, по выражению Старика Придумкина, «талант его, словно таракан, рос не по дням, а по часам», и все говорило о том, что жизнь такого таланта будет так же скоротечна, как и жизнь насекомого. Стиль его

письма был настолько «телеграфным», что Лазарь Флюидов предлагал ему писать вообще аббревиатурами, а Гектор Джеб рекомендовал вообще никак не писать, чем вывел Кошляка из мирового литературного процесса как минимум на пару месяцев.

Ссутуленный, с низко опущенной головой, Кошляк подходит к столу, за которым сидят друзья-поэты, неопределенно кивает им головой вместо приветствия и медленно опускается на свободный стул. Вид у него такой, будто его только что вынули из петли. Корректор Впетлин с интересом смотрит на молодого прозаика, а Флюидов быстро прячет бутылку за пазуху: давно подмечено, что с появлением Кошляка вино нередко скисало. «Человек-уксус».

— Да ладно тебе, Лазарь! — ехидно посмеивается Гений Вишнуевский. — Этот кисляк испортить трудно. Наливай!

Флюидов разливает бледно-желтоватого цвета прозрачную жидкость по пустым кофейным чашкам. В его маленькой руке бутылка кажется огромной. Гений Вишнуевский пододвигает свою чашку Кошляку. Тот выпивает молча, залпом, как водку.

— Что-нибудь случилось? — с надеждой в голосе вопрошает Впетлин, пододвигая ему и свою чашку.

Кошляк залпом выпивает и эту порцию. Потом нервно отмахивается рукой.

— Случилось! — с трудом выдавливает он из себя и снова отмахивается.

— Выпей третью, — настоятельно требует Гений Вишнуевский. — Не люблю незаконченных произведений. — Он подмигивает Флюидову, и тот снова разливает вино по чашкам.

Кошляк выпивает и третью, но видно, что о случившемся рассказывать ему не хочется. А случилось вот что.

Еще часа полтора назад в прекраснейшем расположении духа прозаик Кошляк В. П. бодро держал путь на улицу Пушкинскую, где именно сегодня в редакции журнала «Дуга» ему была назначена аудиенция по очень важному вопросу. Этого дня он дожидался целый год. Уже с раннего утра молодой прозаик готовился к визиту: долго брился, гладил единственную белую рубашку и костюмные брюки, тщательно наводя стрелки, смотрел в зеркало, подбирая подходящие выражения лица, и репетировал предполагаемые диалоги с литературным консультантом Швыряевым. В ясном, без единого облачка, осеннем небе над Андреевским спуском, на котором Кошляк снимал однокомнатную квар-

тирку в доме № 15, ярко сияло солнце, и день обещал быть теплым и радостным... Но то, что произошло на тихой улице Пушкинской в уютном кабинете, где помещался отдел поэзии и прозы журнала «Дуга», выходило за всякие пределы человеческого разумения.

Пока юный «фон» Кошляк, размахивая желтым портфелем, весело шагал по городу навстречу своей судьбе, литературный консультант Швыряев, сидя под большим закопченным портретом Лермонтова, что висел на свежeweыбеленной стене уютного кабинета, жестоко страдал над очередной рецензией. С ненавистью смотрел он то на лист бумаги с двумя вымученными строчками, вправленный в старенький «ундервуд», то на лежащую рядом рукопись — очередной графоманский бред какого-то мерзавца из банды Мануильского. Швыряев был потен и зол, и голова просто раскальвалась — явно на смену погоды. Вдобавок, уже второй день в редакции творился ужасный беспорядок, который почему-то назывался «ремонтom», пропади он пропадом! Двери с петель сорвали, пол измазали мелом и всякой пакостью, по углам окурков набросали, а карбидом пахло даже в шкафах с рукописями. Двое рабочих, в заляпанных краской робах, будто шитых из пестрых полотен пуантилистов, громыхали молотками, хрустели стеклами, визжали электропилой, воняли ацетоном, беспреестанно матерились и время от времени орали друг другу: «Вира!.. Майна!..» Они бестолково слонялись по редакции, пошатываясь, словно в шторм на тонущем корабле, и всюду совали свои рдяные мясистые носы... Кого «вира»? Куда «майна»? — думал Швыряев, натужно сияясь снова погрузиться в рецензирование. Будто бы в кошмаре, беззвучно стучали его пальцы по клавишам «ундервуда». Все время приходилось останавливаться и по несколько раз перечитывать каждое слово. В голове крутилась невесть откуда взявшаяся фраза, абсолютно бессмысленная, чтобы не сказать идиотская: «Главный положительный герой — Партия, вооруженная загребельным мушкетиком...» Черт знает что такое!

— Швыряев, к тебе пришли! — услышал он и так сразу и впечатал в страницу: «Швыряев, к тебе пришли».

— А, черт! — взревел он и выдрал лист из машинки. — Черт бы побрал этот ваш ремонт!

— Не ваш, а наш, — поправил его спокойный голос за стеной.

— «Ваш-наш!» — злобно передразнил Швыряев. — Работать невозможно...

На пороге обездверенного кабинета стоял маленький юноша с большим перепуганным лицом и желтым портфелем в руке. Была пятница, шестнадцать часов, тридцать две минуты.

— Добрый день, — сказал юноша так, что в окнах побледнело. — Простите, что беспокою в столь трудное время...

— Что у вас? — резко оборвал его Швыряев, хватая за горлышко графин с водой.

— Я к вам по поводу романа, — отшатываясь, пролепетал юноша. — Моя фамилия Кошляк... Кошляк Вэ Пэ...

— Вэ Пэ? — Швыряев судорожно наплескал воды в стакан и залпом ее выпил. — Что-то не припомню.

— Ну как же? — всхлипнул юноша так, что в комнате воцарились сумерки, а закопченный аксельбант на мундире Лермонтова неожиданно сверкнул былой позолотой. — Я же оставлял вам роман... на рецензирование... Вы же тогда же еще сказали мне прийти через два года... Вот я и пришел. Сегодня — ровно два года... исполнилось уже.

— Так быстро? — литературный консультант с удивлением посмотрел на юношу Кошляка В.П.

— Быстро? — не понял тот.

Не без усилий совладав с собой, Швыряев шагнул к забрызганному побелкой шкафу.

— Как быстро летит время, — сказал он, роясь в грудях толстых папок с рукописями.

— Да-а-а... — не то согласился, не то спросил Кошляк.

В коридоре завизжала электропила. Запахло свежей сосной.

— А сколько же вам лет?! — кричал Швыряев, продолжая рыться в папках.

— Девятнадцать!

— Сколько? — на мгновение Швыряев задумался и, повернувшись к юноше, еще раз переспросил: — Сколько?

Но Кошляк, видимо, будучи не в силах больше выносить душераздирающий визг электропилы, заткнул уши пальцами и только виновато моргал. «Должно быть, слышалось», — устало подумал Швыряев и снова повернулся к шкафу.

Наконец под дружную брань рабочих пила захлебнулась, и послышался взволнованный голос Кошляка:

— Он был в такой красной папочке... с желтенькой наклейкой... Неужели пропал?

— Нет, не пропал.

С горестным выражением лица Швыряев бросил на стол картонную землистого цвета папку, захлопнул шкаф и, подняв голову, встретился с понимающим взглядом закопченного Лермонтова на стене.

— У нас никогда ничего не пропадает, молодой человек. Вот ваш роман.

Юноша посмотрел на папку: «Гм, довольно толстая!» Должно быть, от волнения ему показалось, что за эти два года его роман стал вдвое больше. На засиженной тараканами, наклейке выцветшими чернилами было написано:

КОШЛЯК В. П.
«КНИГА КНИГ»
(роман)

— «Книга Книг»? — юноша, вытянув шею и сощуриль глаза, низко склонился над столом — так, будто страдал дальнозоркостью.

«По морде бы тебя этой “Книгой Книг”! — зло блеснуло в голове литературного консультанта. — Ишь, куда воспарил, козлице! По тебе дурдом плачет, а я тут — возись со всем этим словесным хламом! А откажусь возиться, так ведь сразу ж кляузами забросаешь. Знаю я таких, как ты, графоманов, сволочей!..»

Швыряев пытался развязать тесемки на папке, пальцы плохо слушались его. «Как же это?.. — едва слышно бубнил Кошляк. — Я же точно помню... роман назывался “Раскол”... Может, название им не понравилось, и его заменили на другое?.. Правда, “Книга Книг”... это как-то уж слишком... Гм... Хотя, если вдуматься...» Не зная, как поступить, он подумал, что правильнее всего будет довериться опыту литературного консультанта Швыряева. Тот, справившись с тесемками, открыл папку и углубился в чтение рукописи. После третьей страницы лицо его начало деревенеть. Он быстро перевернул еще страниц двадцать и на несколько минут задержался на тексте, затем — еще страниц десять, и — еще две три минуты чтения, которое на этом и завершилось. С каким-то нездоровым любопытством он посмотрел на молодого автора. Тот скромно опустил глаза.

— Давно сочиняете?

— Ну... насколько я себя помню...

— Ага, стало быть, не очень помня себя, — злорадно пробурчал Швыряев себе под нос и уже громко сказал: — Это никуда не годится, молодой человек.

Прозаика Кошляка В. П. пошатнуло, а вместе с ним качнулся и кабинет с Лермонтовым М. Ю. на стене, и редакция с ремонтом, и вся улица Пушкинская — от Прорезной до самой площади Толстого.

— Судите сами, — литературный консультант откинулся на спинку стула. — Тема романа какая?

— Борьба нарождающегося нового с отжившим старым, — как бы пожаловался Кошляк.

— Хорошо! А конкретней?

— Ну... на фабрику поступает срочный и ответственный заказ на эти... яловые сапоги. Ну, для армии... А в это время директора фабрики, Сидора Пантелеймоныча, забирают в больницу с приступом язвы двенадцатиперстной кишки...

— Постойте, постойте! По-моему, ваш Сидор Пантелеймоныч вовсе не директор, а заведующий художественной самодеятельностью... — и Швыряев перевернул несколько страниц, пытаясь что-то найти.

— Да?.. Ну, если вы настаиваете...

— Нет, я не настаиваю. Продолжайте.

— А на чем я остановился?

— На двенадцатиперстной кишке.

— Ах, да! Значит, забрали его в больницу, и поэтому всю ответственность за выполнение заказа взял на себя Лаврентий Печерский — молодой главный инженер, выпускник института легкой промышленности...

— Довольно, молодой человек, — строго оборвал его Швыряев. — Это все на словах, а на деле у вас тут черт знает, что творится! Какие-то котомыши циничные шныряют, слепо-глухо-немые голые женщины, Даниилы Заточники всякие древнерусские...

— Позвольте, — в ужасе вскричал Кошляк. — Какие еще котомыши, какие заточники? Это не мое! Я такого не писал!

Швыряев налил из графина в стакан воды и протянул Кошляку:

— Папка ваша?

— Моя...

— Персонажи ваши?

— Мои, но...

— Значит, и роман ваш.

— Мой?! — Кошляк начал пятиться назад: «Господи, что же это такое?»

— Ладно, ладно, молодой человек, не надо так переживать. Мне все это хорошо знакомо, уж поверьте. Я вас понимаю: сам был молодым. Бывало, напишешь что-нибудь в этаким экзальтированном состоянии, а потом и сам вспомнить не можешь, что написал... Кстати, вы где работаете?

— На фа... на фабрике, — словно в бреду отвечал Кошляк.

— На какой фабрике?

— На Шестой обувной.

— Вот и отлично. Почему бы вам не написать о вашей фабрике маленький рассказец?

— Так ведь есть уже целый роман!

— Не надо пока романов. Зачем торопиться? Вас что, кто-то в шею гонит? Набирайтесь опыта, изучайте людей, производство. Вы ведь еще не член Партии?

— Нет.

— Вот видите! Надо вступить в Партию, взять загребельный мушкетик...

Тут литературный консультант Швыряев остановился. Он задумчиво посмотрел на закопченного Лермонтова. Затем достал носовой платок и усталым движением вытер вспотевший лоб. Боль в голове становилась невыносимой. «Эх, сейчас бы коньяку грамм двести — сосуды расширить!»

— В общем так, молодой человек. Попробуйте сработать небольшой и емкий рассказ, но только добротнo, доходчиво и, главное, покороче. Понимаете?

Кошляк неуверенно пожал плечами.

— Давайте обойдемся без эпопей и тьмы персонажей, которые уже и сами не ведают, что творят на страницах вашего, так сказать, романа. Ограничьтесь двумя главными героями. Пускай это будут, например, директор фабрики Сидор Пантелеймоныч и молодой главный инженер Лаврентий Печерский. Ясно и уверенно обрисуйте конфликт и вскройте его причины, то есть его диалектическую природу. Нашим читателям будет интересно почитать о проблемах отечественной обувной промышленности. — Швыряев захлопнул папку, завязал тесемки. — И, главное, поменьше литературщины.

Он похлопал Кошляка по плечу — размашисто и оптимистично:

— Работайте, дерзайте. Жду в следующий раз.

— Когда? — спросил Кошляк, запихивая папку в свой желтый портфель и уже готовый на все, лишь бы поскорее закончился этот кошмар.

— Когда? — переспросил литературный консультант и посмотрел на часы. — Приходите... ну, скажем, через годик... А лучше — через два. И постарайтесь не опаздывать. Кстати, это у нас будет год повышенной солнечной активности, так что будьте осторожны...

На прощанье прозаик Кошляк В.П. послал закопченному поэту Лермонтову М.Ю. такой пронзительно-тоскливый взгляд, что последний не выдержал и, сорвавшись с крюка на стене, с грохотом рухнул на пол. Засим юноши и след простыл. Озадаченно склонившись над лежащей на полу картиной, литературный консультант Швыряев уже готов был заподозрить в ее падении некий мистический смысл, но тут с облегчением услышал, как вся стена содрогается от мощных ударов. Заглянув в соседний кабинет, он увидел все тех же рабочих, один из которых придерживал стремянку, а другой, вскарабкавшись наверх, орудовал молотком и зубилом.

— Вы так стучите, товарищи, что у меня Лермонтов упал, — сообщил Швыряев, уже на ходу понимая весь сюрреализм своей фразы.

— Ох, и хлипкий народ пошел! — только и сказал рабочий у стремянки...

...Оказавшись в «Чайнике» в полубморочном состоянии, прозаик Кошляк начал быстро «набирать градус». Вслед за водянисто-кислым «Алиготе» наступила очередь «Портвейна таврического», его только что принес с собой художник Корбюзьевич.

— Молодец, Корбюзьевич! — восклицает Гений Вишнуевский. — Портвейн — это сила! Мне сразу полную чашку, иначе я не начну главу. Лазарь, наливай!

Флюидов продолжает исправно исполнять обязанности виночерпия. Бледный, как рипстонский ранет, Кошляк что-то тихо и жалобно лепечет, но на него теперь никто не обращает внимания. Куда интересней перемалывать косточки друзьям-поэтам.

Вспоминают разные анекдоты из жизни Старика Придумкина, Игнатия Иванова, Гектора Джеба...

— Корбюзьевич, а почему ты в тапочках? — изумленно вопрошает Саша Милый.

— А я ему завидую, — вздыхает Лазарь Флюидов. — Вот человек! Везде чувствует себя, как дома.

Корбюзьевич краснеет от смущения, прячет ноги под стул:

— Да так, спешил немного...

...С шести утра художник Корбюзьевич был уже на ногах. Ногам своим он и раньше никогда особого значения не придавал, хотя бы уже потому, что ими нельзя было держать карандаш или кисть, — а сегодня ему и вовсе было не до них, потому и не заметил он, как вышел из мастерской в комнатных тапочках. Причиной столь невероятной рассеянности была озабоченность неожиданно свалившимся на голову заказом, работу над которым художник Корбюзьевич едва успел закончить поздно ночью. С тех пор как его покинула Руна, а потом еще и Гермогенов пропал при самых ужасных и таинственных обстоятельствах, он впервые — не от хорошей жизни, конечно, — взялся за заказную картину. Во-первых, за нее был обещан «недурственный», по словам художника Худобеда, гонорар, а во-вторых, работа хоть как-то отвлекла от грустных мыслей. Картина представляла собой гигантский натюрморт, который поглотил почти все пространство мастерской. Главными героями натюрморта были купленные чуть ли не на последние деньги две буханки «украинского» хлеба, три белых батона, одна «арнаутка», один «бородинский» с тмином, пять «городских» булок (кстати, судя по румяным бокам, хорошо пропеченных); рядом — бело-голубая пачка соли поваренной кухонной, изготовленной производственным объединением «Артем-соль»; пакет пищевой соды с надписью: «натрий двууглекислый-бикарбонат»; правее — две бутылки: одна — с уксусом спиртовым девятипроцентным, а другая — с кукурузным маслом. На этих бутылках Корбюзьевич не без артистической легкости продемонстрировал свое истинное мастерство: игра света на стеклянных поверхностях, объемы, глубина теней — все это ему, безусловно, удалось. Но дабы бутылки не стали смысловым центром картины, пришлось и остальные составляющие натюрморта подтягивать до их уровня. День и ночь художник Корбюзьевич сражался с натурой, и она все больше покорялась его острому глазу и твердой ру-

ке. В результате на полотне к вышеперечисленным продуктам питания присоединились три яблока сорта «Джонатан» (писаны с натуры; впоследствии съедены) и гроздь винограда (писана частично по репродукции с картины Караваджо «Вакх», ок. 1595, Флоренция, галерея Уффици и частично по репродукции с картины Питера Пауля Рубенса «Возвращение Дианы с охоты», ок. 1615, Дрезден, картинная галерея). Справедливости ради надо сказать, что эта виноградная гроздь была выписана с таким правдоподобием, что на нее в надежде поживиться слетелось множество мух с улицы и толпы тараканов, населявших мастерскую. Затем на холсте поочередно стали появляться: банка кабачковой икры (с натуры; оставлена в шкафу на черный день), окорок свиной с тонкими светящимися сальными прожилками (с натуры в гастрономе, где Корбюзьевич работал грузчиком) и два килограмма молочных сосисок, купленных в долг три недели назад, причем один килограмм был сварен и съеден уже на исходе первого часа работы, так что пришлось писать сосиски с помощью зеркала, как бы симметрично удвоив на картине их массу и объем (по памяти сосиски получались какими-то несвежими). Все это изобилие размещалось на широком столе, накрытом скатертью с клеймом «Общепит» (выдана художнику заказчиком до окончания работы). И завершала композицию одна рыба. И рыба эта выпила не один литр крови художника Корбюзьевича. А все из-за того, что не удалось раздобыть свежую. Пришлось довольствоваться мороженым хеком с выпученными глазами и жутким замогильным оскалом. Тщетно пытался Корбюзьевич «оживить» на холсте этого рыбьего упыря: хек все равно получался каким-то тусклым и с довольно нагловатой улыбочкой. Хуже того, он как будто не то висел, не то стоял, словно приклеенный, явно не желая вписываться в окружающее его радостное изобилие. Иначе говоря, хек совсем оторвался от жизни. И переделывать что-либо было уже поздно: на картину и так ушла целая неделя и уйма красок, и не позднее этой пятницы, то есть сегодня, она должна была висеть в Хлебсоल्पроме, где Корбюзьевич с недавних пор по протекции художника Худобеда числился внештатным художником, то есть художником-оформителем, а в понедельник — предстать во всем своем блеске пред очи начальства и высоких гостей из Городской Администрации.

В помпезном фойе Хлебсольпрома, куда Корбюзьевич насилу дотащил свою картину, его встретила пожилая вахтерша в шерстяном платке из «мышьиной шерсти» и стеганой телогрейке, чем-то напомнившая художнику один из последних автопортретов Рембрандта ван Рейна. Она тут же сердитым тоном заметила, что хоть рабочий день и закончился, но все равно «по министерствам у тапках не ходють». И только тогда Корбюзьевич осознал причину столь необычной легкости в ступнях, что преследовала его всю дорогу. Не вступая в бессмысленные пререкания — «не ходють у тапках, так не ходють», — он быстро скинул их и, оставив возле входной вертушки, пошлепал босиком по мраморным ступеням лестницы с картиной на голове. Не найдя с ответом, вахтерша, взгромоздилась на свой стул, открыла «Королеву Марго», приобретенную у государства в обмен на макулатуру, но все никак не могла сосредоточиться: под высокими сводами опустевшего Хлебсольпрома еще долго слышалось шлепанье босых ног художника Корбюзьевича.

Через час все было кончено: картина висела на стене прямо под броским лозунгом «Не хлебом единым жив советский человек!» И, словно освободившись от тяжелой и продолжительной болезни, так долго терзавшей его своими кошмарными видениями, художник Корбюзьевич покинул Хлебсольпром. В шляпе, плаще и тапочках он еще около часа разгуливал по Владимирской горке, наслаждаясь запахами осени и время от времени прислушиваясь к переключке ворон, а когда начал капать мелкий холодный дождь, направился к «Чайнику», где вскоре и оказался в обществе старых друзей...

— Ну что, больше не мерещатся крысы на каждом углу? — насмешливо спрашивает Корбюзьевича поэт Флюидов.

— А как там Гермогенов? — подхватывает Гений Вишнуевский. — Ты его видел?

Корбюзьевич неопределенно пожимает плечами. Нет, он больше ничего им не скажет, как бы они ни просили. Гермогенов был прав: лучше помалкивать. Да и все равно не поймут они ничего. Им бы только позубоскалить.

В кафе входят несколько «соколов» Дрюли Мануильского. Глазами выискивают кого-то, таинственно перешептываются. Наконец от них отделяется поэт Коханов и подходит к друзьям.

— Напечататься никто не хочет? — спрашивает он. — Похоже, «Дуга» на грани капитуляции.

— А где Мануильский? — в свой черед спрашивает Гений Вишнуевский.

— Готовит съезд.

— Съезд? — Гений Вишнуевский залпом выпивает свой портвейн.

— Да, большие дела начинаются. Так что присоединяйтесь.

— Нет, старик, мы еще не готовы к большим делам, — качает головой Лазарь Флюидов. — Мы все больше по мелочам.

— Советую хорошо подумать.

Коханов, явно раздосадованный, возвращается к соратникам, и вместе они покидают «Чайник».

— А может, попробовать? — спрашивает Кошляк.

С минуту Лазарь Флюидов жжет его взором:

— Что, не терпится? Славы захотелось? Тогда — бегом договняй!

— Да, Кошляк, придется тебе стать литтеррористом, — скорбно добавляет Гений Вишнуевский. — Но помни, это небезопасно.

— Между прочим, за мной уже следят, — вставляет Саша Мильный.

— Вот видишь? За ним уже следят... Погоди, что значит — следят?

— Уже второй день.

— Да ладно тебе, кому ты нужен? Ты ведь даже не литтеррорист.

— Позавчера фарами глаза слепили... До самого дома вели.

Прозаик Кошляк сидит, не шевелясь; лицо — как треснувшее зеркало.

— Ну вот! — Гений Вишнуевский огорченно бросает ручку и захлопывает тетрадь. — Как можно написать что-то после такого?.. Послушайте, Впетлин, вы не очень обидитесь, если я попрошу у вас в долг рублей десять?

Ни слова не говоря, корректор Впетлин достает из внутреннего кармана портмоне.

— Да не оскудеет рука берущего! — выдыхает Гений Вишнуевский сквозь накопившийся за сутки перегар. — Кошляк, ты пока из нас самый трезвый. Сходи-ка в гастроном за портвейном.

С червонцем в вытянутой руке Кошляк, пошатываясь, направляется к выходу.

— Смотри не заблудись! — несется ему вдогонку.

Пока прозаик Кошляк странствует в поисках портвейна, к друзьям присоединяются «человек-бренди» Гектор Джеб, «игристый» Старик Придумкин и талантливый литератор Бормотеев, который пописывает незатейливые статейки в вечернюю газету и уверен, что Сакунтала и Сوماдева — грязные ругательства. В общем, типичный «человек-сивуха».

— Банду Мануильского видели? — с порога спрашивает Гектор Джеб.

— Да, они только что были здесь. Искушали.

— Интересно знать, где та вагина, из которой берутся такие поэты?

На некоторое время эта сентенция, высказанная Стариком Придумкиным в виде риторического вопроса, становится предметом шумных препирательств. Корбюзьевич с рассеянной улыбкой что-то рисует на салфетках, Гений Вишнуевский, беспрестанно отвлекаясь, пытается писать в своей тетрадке тринадцатую главу коллективного романа «На капище», корректор Впетлин учащенно сморкается, что свидетельствует об увеличивающемся накале дискуссии.

— А насчет съезда они всё врут, — заявляет Бормотеев. — Мануильского вчера арестовали, так что съезд переносится.

— Да что ты говоришь?!

— Ага, сняли прямо с поезда.

— Откуда тебе это известно?

— Откуда известно, не скажу. Но вот увидите: съезд не состоится.

— Надо Кошляку об этом рассказать, а то его тщеславие содрогнулось...

Возвращается прозаик Кошляк с двумя бутылками кагора.

— Я за чем тебя посылал, Мельмот Скиталец? — Гений Вишнуевский возмущен не на шутку, он даже забыл, что хотел пугнуть парня арестом Мануильского. — Ты для кого это диетическое пойло принес? Кто это, по-твоему, пить будет?

Кошляк виновато моргает. Впрочем, конфликт быстро заглаживают: кагор так кагор! Ну подумаешь, парень кабак с церко-

вью перепутал — с кем не бывает? Даже интересно, какой глубины грехопадением все это закончится!..

Тема дискуссии меняется: кто-то вспомнил о Классике. Говорят, за ним тоже велась слежка.

— Вот! — вскрикивает Саша Милый, он уже пребывает в пламенных потемках алкогольного опьянения. — Вот!.. Членистоногие поползновения Серого Терема!

— Шура, ты бы говорил потише...

— За мной тоже следят! Пускай все слышат!

— Ты можешь не орать? На нас уже люди смотрят.

— Кого это ты называешь людьми? Вон те три вопросительных знака?

Действительно, услышав крики, кладбищенский скульптор Пердюк, у которого в роду были французы, инженер Гавендо и поездной проводник Драконыч, который на самом деле Михалыч, перестали играть в кости и теперь с любопытством глядят на друзей-поэтов.

Щеки Саши Милого заливают румянец. Он делает большой глоток кагора:

— Думаю, они одинаково хорошо смотрелись бы и на кладбище, и в конструкторском бюро, и в купе плацкартного вагона.

— Что-то я совсем тебя не узнаю, — задумчиво произносит Гектор Джеб. — Все время обвиняешь нас в недостатке доброты, а сегодня сам злой как собака.

— Это все нервы, — оправдывается Саша Милый, теперь уже в приступе legato¹. — За мной следят, и я не знаю, что делать.

— А ты следи за теми, кто следит за тобой!

— Прекрасная идея! — подхватывает Старик Придумкин. — Хорошо следит тот, кто следит последним. Только важно при этом не наследить.

— Я, между прочим, серьезно!.. — переходит в обидчивое стаккато Саша Милый.

— Ну, если серьезно, то за Классиком тоже следили, но что-то я не припомню, чтобы он устраивал истерики.

— А откуда, собственно, нам известно, что за ним следили? — спрашивает Флюидов, пополняя опустевшую посуду кагором.

— Жиров говорил, — отвечает Бормотеев.

¹ Legato (*итал.*) — музыкальный термин, означающий связанное исполнение звуков, при котором они плавно переходят один в другой.

— А Жиров откуда знает?

— От Седовласова, откуда же еще! И вообще всем давно известно, что за Классиком следили и что предал его поэт-инвалид Перетятько.

Это заявление литератора Бормотеева производит эффект разорвавшейся бомбы. «Кому это всем? Какая чушь! Перетятько не мог!..»

— Хм... что мы знаем о людях? — веско молвит корректор Впетлин, рука его тянется в карман за платком.

Но Бормотеев не сдаётся. Он раскрывает синюю спортивную сумку и достает бутылку.

— Портвейн? — вскрикивает Гений Вишнуевский. — И все это время ты молчал?

Бормотеев молниеносно откупоривает бутылку и, не доверяя Лазарю Флюидову, сам жестко разливает по чашкам.

— Я вам скажу больше, — продолжает он. — Вовсе ваш Перетятько не инвалид и никогда им не был. Можете мне поверить, он здоровее всех нас вместе взятых.

— Как это?..

— А вот так.

— Ну, это еще доказать надо.

— Тут и доказывать нечего.

— Постой-постой, — вмешивается Гектор Джеб. — Я сам видел его в инвалидной коляске.

— Вот именно! Должен вам заметить, друзья мои, что все эти костыли, палочки, коляски и прочая показная роскошь...

— Роскошь?! — изумляется Гектор Джеб. — Ты все эти немудреные приспособления называешь показной роскошью?!

— Так оно и есть! Театр для отвода глаз, не более того. Вот и тебе, Гектор, очки втерли. А на самом деле столь немудреные приспособления, как ты их называешь, сначала помогли Перетятько отбояриться от армии, а затем, по его расчетам, должны были открыть ему прямой путь в литературу. Поэт-инвалид! Это — статус, дорогие мои. Это, так сказать, образ превозмогающего страдания нестигаемого рабоче-крестьянского поэта... В общем, новейшая технология «закалки стали».

— Это тебе еще ноги не ломали, — сурово замечает Гектор Джеб. — И в армии ты тоже не служил, папик отмазал. И все это знают. А теперь сидишь тут, здоровый и девственный, и Перетятько поливаешь! Непорядочно как-то...

— А может, ты на него за что-то злишься? — спрашивает опешившего Бормотева Лазарь Флюидов. — Поэт из Перетятко, конечно, никудышный, если честно... Но отсутствие поэтического дара — еще не причина для предательства.

— Да, да... и даже не повод для обвинений в предательстве, — подхватывает Гений Вишнуевский. — Лазарь прав. А настоящему талантливому поэту такие подозрения и в голову бы не пришли!

— Кто знает, что может прийти в голову талантливому поэту? — раздумчиво молвит корректор Впетлин. Неожиданно мысли его возвращаются к внутреннему спору, который вело его сознание с его телом сегодня на Крещатике, по дороге в «Чайник». «Вот если бы все мы разом онемели — может быть, тогда в наших сердцах зародились бы первые истинно поэтические слова? И если бы грянула война, только тогда, наверное, и имело бы смысл жить...»

В кафе входит поэт-авангардист Колоколека с ослиной улыбкой на устах.

— Авангард, который заходит к нам в тыл, — бросает Гектор Джеб саркастично. — Если ты опять с яблочным соком, то ты ошибся жанром.

— Да, здесь пьют только мужские напитки, — Гений Вишнуевский делает широкий обводящий жест рукой.

— И вдобавок, за нами следят, — понизив голос, добавляет Гектор Джеб.

Улыбка осыпается с лица Колоколеки, словно сухие стрекозиные крылышки.

— Ты портвейн принес? — не дает ему опомниться Гектор Джеб.

— Я?... Нет...

— Свободен.

— За кем это тут следят? — слышен веселый голос Старика Придумкина.

— За всеми.

— Какая прелесть! — со всей учтивостью Старик Придумкин дает проскользнуть Колоколеке к выходу, а сам садится рядом с Лазарем Флюидовым. — Что-то я в отношении себя никакого шпионажа не заметил.

— Да нет, шпионят пока только за Сашей Милым, — усмехается Гектор Джеб. — Это я так... хотел Колоколеке нервы пощекотать.

— Ах, вот оно что! — привычным жестом Старик Придумкин запускает руку в бороду. — Кстати, я видел, сюда направляется Серацион Жиров. Помните, он как-то рассказывал о слежке за Перетятко и о некоей «Книге Книг»?

При упоминании о «Книге Книг» прозаик Кошляк пьяно вздрагивает. Ногой нащупывает под столом желтый портфель. Портфель на месте, но это не радует. «Что это они там про мою книгу болтают? Или... про не мою книгу?.. Она вообще — моя или не моя, я спрашиваю?.. Что им всем надо?!» В голове кружение, уши висят... Все же он старается сидеть ровно и слушать.

— Странные вещи происходят, — продолжает Старик Придумкин, прижмурившись, что придает ему интригующий вид. — Вы когда в последний раз имели удовольствие лицезреть мсье Иванова?

— Ну, на прошлой неделе, на этом идиотском Параде поэтов, а потом у Лямура Двердомского... Ты ведь тоже там был.

— Увы, был, и мед-вино пил, и по усам текло, и в рот попадало. Даже больше, чем нужно... Вы обратили внимание, что наш мсье Иванов был несколько... как бы это сказать... излишне экзальтирован?

— Это все из-за арфистки, — сквозь зубы цедит Лазарь Флюидов. — Я видел, он весь вечер на нее пялился.

— Арфистка, говоришь? — хихикая в бороду, Старик Придумкин лукаво подмигивает художнику Корбюзьевичу. — Ну-ну... Художник Корбюзьевич понимающе кивает.

— Нет, старинушка, дело тут не в арфистке.

— Хватит темнить! — начинает злиться Флюидов. — Говори уже!

— Хорошо, изволь. Не далее как сегодня утром, перемещаясь в дивных пространствах Великой Житомирской улицы, я оказался на Пьяном углу. Я был прямо перпендикулярен входу в неизвестный вам гастронм. Из ликероводочного отдела непосредственно на пленэр струилась длинная очередь непокоренных. И, о боги, кого я там только не встретил! Видели бы вы Худобода с мадерой, или Пустовойта с водкой, или Хорунжего с портвейном... Какое величественное утро, подумал я. «Остаканись, мгновенье, ты прекрасно!» — изрек Хорунжий, когда мы пропустили с ним по стаканчику. И это действительно было прекрасно! Потом мы пропустили еще по стаканчику и еще, и я снова остался наедине с самим собой, ибо художники отправились куда-то на

склоны Подольских Холмов, где они, полные решимости, намеревались демонтировать пустоту. Очередь к тому времени почти рассосалась. Я стоял на Пьяном углу, посреди осени, погруженный в раздумья: должно ли мне, грешному, принести в жертву последние пять рублей мелочью, которые чем дальше, тем сильнее оттягивали и жгли мой карман, или все-таки дотерпеть до зимы? Чтобы проверить себя, я внедрился в гастроном и, миновав мороженщицу, торговавшую лютыми морозами, направился к иконостасу. А там — полно святынь и паломников, жаждущих к ним прикоснуться! Утром был свежий завоз, как вы понимаете. Ну, мысленно пал я на колени и аж взблагововел весь. Один только вид доброго красного портвейна, замурованного в темно-зеленое с отливом стекло, наполнил меня чувством божественной гармонии и все сметающим на своем пути оптимизмом...

— Я сейчас, кажется, умру! — стонет Лазарь Флюидов.

Впетлин сморкается, пожалуй, громче обычного, но все же не настолько громко, чтобы остановить повествование.

— Терпение, старинушка, — Старик Придумкин с грустью смотрит в свою пустую чашку. — Налил бы кто, а?

Бормотеев, опередив виночерпия Флюидова, разливает остатки портвейна по чашкам. Видно, что Лазарь чувствует себя оскорбленным столь вопиющим проявлением недоверия к его легитимности.

— Так вот, старинушки вы мои, — продолжает Старик Придумкин витиеватый свой рассказ. — Стою я в некоторой нерешительности: с одной стороны, страшась спугнуть оптимизм, а с другой — впасть в пессимизм, поскольку деньги-то последние!.. И тут слышу, на улице жутко завывла сирена. Ну, думаю, где-то ментик помирает. Хорунжий утверждает, что есть примета такая. Ну, опершись на сию примету, я и начинаю рассуждать: уж не Пришивалова ли, участкового нашего, праотцы к себе призывают?.. Когда вдруг вижу, в гастроном эдаким ядреным дулетом влетают жены Иванова — *обе-цвай!* Пронесются мимо меня, как фурии с валькириями — всклокоченные, глаза выпучены, носы вперед, словно ищут кого-то... И тут, заметив меня, подлетают крылато и заклеывают меня вопросами: «Игнатия не видели? Игнатия не видели?..» — «Нет, — говорю, — не видел. А что?» — «Он уже несколько дней домой не приходит». Прочирикали и — фьють! Не успел я слюну сглотнуть, как они уже вылетели из гастронома.

— Говорят, они красивые, это правда? — тихо осведомляется Гений Вишнуевский.

Флюидов кисло морщится.

— Восхитительные!.. — Старик Придумкин с видом искушенного волокиты откидывается на спинку стула. — Но слишком стремительные. Мне за ними, конечно, было не угнаться. Да, так вот: выхожу на Пьяный угол — нигде их нет. И тогда я подумал, что наш мсье Иванов... Собственно, неважно, что именно я о нем подумал, важно другое... Постойте, к чему я все это рассказывал?.. Сейчас... сейчас... Ах да! Стоило мне только встать в очередь за портвейном, как меня тут же осенило. Ведь это наш мсье Иванов, вспомнил я, был последним, кто видел Классика, так?

— Так, — в унисон пропевают Саша Милый и Гений Вишнуевский.

— Ну, это как сказать, — пытается оспорить это утверждение Флюидов, но никто его не слушает.

— А теперь будьте внимательны, друзья мои. Первые слухи о «Книге Книг» появились, по утверждению Жирова, вскоре после исчезновения Классика. Так?..

— Хватит заливать! — раздается басовитый голос.

— О, а вот и сам Серапион Жиров! Давай, присаживайся и поведай нам всю голую правду.

Серапион Жиров усаживается за стол, неспешно достает трубку и пакет с табаком. Брови его презрительно приподняты.

— В чем дело, Серапион? — интересуется Бормотеев. — У тебя вышла новая книжка?

— Имя автора, написавшего «Книгу Книг», установлено, — веским тоном сообщает Жиров, набивая трубку. — Это некто Кутищев. — Он зажигает спичку, подносит к трубке и долго раскуривает ее, попыхивая. — Кто-нибудь слышал о таком?

Друзья вопросительно молчат. Слышно только, как посапывает Серапионова трубка. Прозаик Кошляк поражен в самое сердце. «Это я написал «Книгу Книг»!» — порывается закричать он, но какая-то таинственная сила запечатывает его рот и лишает голоса; он смог только лаконично икнуть.

— А откуда тебе это известно? — прерывает всеобщее молчание Лазарь Флюидов.

— Седовласов сообщил.

— А Седовласову кто?

— Кому надо, тот и сообщил, — холодно отрезает Жиров.

— Чудесно! — восклицает Старик Придумкин. — Итак, подведем итоги. Исчезает Классик — появляется «Книга Книг» некоего Кутищева. Улавливаете, господа?

— Ты хочешь сказать, тут есть какая-то связь? — глаза Гения Вишнуевского начинают азартно поблескивать.

— Но какая? — Бормотеев машинально извлекает из сумки вторую бутылку портвейна, и, надо сказать, очень вовремя, так как Жиров все это время с откровенным неудовольствием взирает на стол, заставленный пустой посудой. — Может, они написали эту книгу вместе?

— Все гораздо проще, — смеется Старик Придумкин. — Поскребите Кутищева и вы найдете Классика!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Он хочет этим сказать, что Кутищев и Классик — это одно лицо, — первым догадывается корректор Впетлин.

— И тело, — зачем-то уточняет Лазарь Флюидов, с задумчивым видом забирая бутылку с портвейном у Бормотеева.

— Да, и тело.

— Так, значит, он жив? — с надеждой в голосе спрашивает художник Корбюзьевич. — В последнее время он мне несколько раз снился.

— Это еще ничего не доказывает, — сквозь носовой платок бубнит корректор Впетлин.

— Ну конечно, у вас, если никто не умер, так и день зря прожит.

— Я попросил бы вас, Придумкин, выбирать выражения.

— А я бы попросил вас не нагнетать...

— Хватит! — авторитетно заявляет Серапион Жиров. — Давайте лучше выпьем. Лазарь, ты сегодня виночерпий? Чего ждешь?

Флюидов наполняет чашки портвейном. Поэты пьют стоя... Пожалуй, тянет на афоризм. Но сейчас не до афоризмов. Ощущение тревоги не отпускает, а наоборот, даже нарастает, будто что-то недоброе вот-вот произойдет, или, может быть, уже произошло.

— Я все понял! — Гений Вишнуевский хватается салфетку и что-то размашисто пишет на ней. — Вот!.. Получается аббревиатура из двух букв: «К.К.». Видите?

— Допиши третью, — предлагает Флюидов.

— Зачем?

— Получится «Ку-Клукс-Клан». Или еще лучше: «Kinder, Küche, Kirche»¹.

— Не смешно, Лазарь. А теперь смотрите: «К.К.» — это «Классик-Кутищев». И эти же инициалы легко превращаются в заглавные литеры «Книги Книг». Вот так-то!

Гений Вишнуевский победоносно распластывает волосатую пятерню на салфетке.

— Ты бы заодно и Кошляка присовокупил: еще одно «к», только маленькое. Его можно поставить в середине, между двумя большими...

— Может, обойдемся без конспирологии? — кривится корректор Впетлин.

Он хочет еще добавить, что вся эта история с «Книгой Книг» изрядно папахивает дешевой пародией на знаменитый в средние века «Faustus dreifasher Höllenzwang»², который никогда не существовал, и, тем не менее, распространялся в бесчисленных рукописных копиях среди легковверных студентов, но в эту минуту возле стола что-то громко падает на пол. К всеобщему изумлению, это вместе со стулом рухнул молодой прозаик Кошляк, который, все это время пребывая, что называется, в погребальном состоянии, так напряженно вникал в разговор старших товарищей и был так бледен, что практически перестал восприниматься человеческим глазом. Друзья вскакивают с мест, обступают Кошляка, заглядывая друг другу через плечо.

— Обморок! — заключает Гений Вишнуевский, щупая пульс и оттягивая веки лежащего на полу прозаика Кошляка.

— Голодный? — интересуется Лазарь Флюидов.

— Не знаю... Он сегодня весь вечер сам не свой, много пил...
Смотри, бледный как поганка.

— Фу, что за сравнение!

— Нормальное. Обычная идиома.

— О дух, что влечет меня воспевать тела, принявшие новые положения! — декламирует Старик Придумкин.

— Погодите вы! — вмешивается корректор Впетлин. — Не время эстетствовать. Он может умереть...

¹ «Ребенок, кухня, церковь» (нем.) — главное предназначение женщины в кайзеровской Германии, так называемые «три К».

² «Фаустово тройное заклятие адских духов» (нем.).

— Может, за ним тоже следили? — предполагает Саша Милый.

— Да кому он нужен? — ворчит Гектор Джеб.

— Очень многие умирают от перепоя, — упрямо гнет свое корректор Впетлин.

Гений Вишнуевский, трагично закатив глаза, продолжает щупать пульс прозаика Кошляка.

— Побрызгай на него портвейном, — предлагает ему Старик Придумкин.

— Своим побрызгай!..

— А по-моему, легче добить, чем вернуть к жизни, — настаивает Гектор Джеб, презрительно кривя губы.

Тут уже вся кофейня приходит в движение. Суета, беготня. Кто-то предлагает вызвать «скорую помощь» и милицию. «Не надо милицию! — прорезается в общем шуме голос Старика Придумкина. — Лучше нашатырь!..» — «А все из-за баб!» — гремит кладбищенский скульптор Пердюк. Официантка Ася приносит стакан холодной воды и аспирин. Через минуту прозаик Кошляк, бесформенный, обмякший, сидит на стуле. Его зачем-то нещадно хлещут по щекам, обмахивают салфетками. Гений Вишнуевский и Саша Милый вызываются отвести его домой. «Явные проблемы с третьим глазом, — уверяют они, подхватывая больного под мышки и ведя к выходу. — Ничего, поправим!..» Корректор Впетлин смотрит на Кошляка, как обезьяноголовый Кебсеннуф на покойника, который нуждается в скорейшем бальзамировании, посмертном продольстве и прочем ритуальном багаже на пути в Царство мертвых...

Люди постепенно рассаживаются по своим местам, обсуждая случившееся — они еще не знают, что по дороге из «Чайника» трое друзей неожиданно столкнутся нос к носу с неким литературным консультантом Швыряевым, в результате чего последний будет жестоко избит больным прозаиком Кошляком В. П. без всяких объяснений на глазах у оторопевших провожатых. Причем, распоясавшийся больной будет кричать: «Я — фон Кошляк! Ты понял?» и еще что-то невразумительное о каких-то неведомых котомышах, а литературный консультант — о ноге больного в смысле того, чтобы она больше не смела переступить порог редакции журнала «Дуга» на тихой улице Пушкинской. После побоища противники разбегутся в разные стороны, и, быстро оценив обстановку, друзья-поэты будут целый час отлавливать Кош-

ляка по всему городу, а изловив, препроводят на улицу Жилянскую имени Жадановского, в квартиру Саши Милого, тем более что больной ни за какие коврижки не пожелает идти к себе домой, где, по его словам, «шастают заточники с крутыми плагиатами в крепких руках». В конце концов, его быстро напоят водкой, если и не до второго обморока, то до полубморочного состояния, после чего Гений Вишнуевский пропишет ему покой до утра под роялем...

А тем временем диспут в «Чайнике» продолжается. Классик, Кутищев, «Книга Книг» — тема, рискующая стать такой же бесконечной, как и портвейн. Один лишь художник Корбюзьевич не участвует в спорах. Он рисует на салфетках все, что видит. Рисует машинально, при этом вспоминая недавний сон, в котором его посетил Классик под именем Невермор. Ни о «Книге Книг», ни о Кутищеве он ничего ему не рассказывал. Почему?.. В какой-то миг Корбюзьевич замечает, что непривычно давно молчит музыкальный аппарат. Он поднимает глаза: за столом возле «меломана» сидит какой-то кремень-дядька с мегантропоидным бутристым лицом, поросшим густой щетиной. С громким присвистом дядька посёрбывает чай на старый манер — прямо из блюдца, вприкуску с сахаром, — из-под косматых бровей поглядывая на компанию галдящих друзей-поэтов. Во взгляде его насмешка и, одновременно, нечто похожее на угрозу. Вот он широко и сладко зевает. Его огромный рот полон золотых зубов. Да, такой выдающийся объект для портрета художнику Корбюзьевичу еще не встречался! Он уже берется за карандаш, но тут же откладывает его в сторону, устрешенный взглядом кошмарного дядьки...

— А я все знаю! — довольно самоуверенно заявляет Серапион Жиров.

Конечно, после таких слов всеобщее внимание обращается в его сторону, и Старик Придумкин с нескрываемой издевкой замечает:

— Жаль, что старина Сократ не дожил до этой великой минуты.

Кремень-дядька возле «меломана» снова зевает, скалит свои золотые зубы — вроде как смеется беззвучно. Жуткое зрелище! И тут с Серапионом Жировым начинают происходить какие-то чудные трансформации: он по-кошачьи выгибает спину, словно готовясь к прыжку, пальцы мертвой хваткой впиваются в край стола; обычно малоподвижное надменное лицо его озаряется недо-

уменно-восторженной улыбкой, а изо рта льется следующая монотонно-крикливая скороговорка:

— И тогда Кутищев — этот жулик, мученик и гений — был брошен в башню, заточен в каземат, и в подвал, и в чулан, и в каморку, где в соавторстве со своим корешем-сокамерником и братком гремучим сочинил, настрочил и напечатал «Книгу Книг», за что и был отравлен, задушен, расстрелян, сожжен и повешен...

Серапион Жиров судорожно сглатывает слюну. На лице его изумление. Он зажимает себе рот рукой и отчаянно мотает головой, пытаясь остановить поток слов, но пальцы расползаются по всему лицу, и рот продолжает выкрикивать:

— А этот Перетягко — этот авантюрист и стяжатель, этот пакскилянт и шпион, этот газетный форточник, литературный катала и политический гастролер по всем статьям загредел за решетки лужьяновские и там, сидя на нарах и соображая, как бы ему досрочно откинуться, настрочил гнусный донос...

— Господи, что он несет? — Гений Вишнуевский на всякий случай отодвигается от Жирова подальше.

— И вот этот Кутищев, этот беженец, этот иммигрант, этот приспособленец и конформист удрал, свалил, дал деру и плюет теперь на всех на нас, на общество, на государство и даже на нашу армию...

Серапион Жиров снова сглатывает слюну и уже менее уверенно добавляет:

— Век воли не видать...

Дальше все происходит, как в немом кино: Серапион Жиров вскакивает со стула и, прямой, словно на ходулях, выходит вон. Художник Корбюзьевич замечает, как следом за ним кафе покидает и кремень-дядька — в руке у него посох, а на голове — шапка-ушанка, нахлобученная на самые глаза.

— Что... что это было? — Лазаря Флюидова разрывает между смехом и страхом.

— Словесная блевота, — глухо откликается Гектор Джеб, с неприязнью поглядывая на стеклянную дверь.

— Жиров — человек, отравленный величием. Однако отравление было бы не таким сильным, если бы не испорченность везением уже с юных лет, — растягивая каждое слово, и с глубокой печалью в голосе, начинает свои размышления вслух Старик Придумкин, но тут же оживляется: — А может, он грибы жрет?

— Грибы? — трусовато посмеивается Бормотеев. — Какие еще грибы?

— Те самые. Ты меня правильно понял.

— Ну ты и скажешь! Грибы!.. А ты, Гектор, что обо всем этом думаешь?

— Слабак ваш Грибоедов!

— Нет, я все же думаю, что Серапион...

— Думаю! Не думаю! Ты надоел мне, Бормотеев! — бас Гектора Джеба гудит так, что даже через пол ударяет поэтам в пятки. — Сидим тут, бухаем целый день, фигню какую-то порем!.. А потом: «Думаю, не думаю»!.. Черт! Как же все это меня достало!

— А кого не достало? — с философским видом замечает старик Придумкин.

— Шутов гороховых еще не достало!

— Понятно. У Гектора нервный срыв...

— Да пошел ты!

— И все-таки, о чем это он говорил? — допытывается Флюидов, очевидно имея в виду прощальный спич Серапиона Жирова.

— Да бросьте вы, — пытается войти в роль миротворца Бормотеев. — Перебрал человек, что ж тут непонятного?

— Нет-нет, таким я его еще никогда не видел. Тут что-то не так. И про Кутищева с Перетяtko ему кое-что известно...

— Пьяный вздор — вот что это такое.

— Ненавижу все это! Ненавижу! — внезапно выпаливает Гектор Джеб, он резко и размашисто встает из-за стола. — Душно живете, господа!

Запихав в пустую чашку несколько рублей, разгневанный поэт, будто гранату, бросает друзьям-поэтам: «Счастливо оставаться!» и покидает кафе, по пути чуть не опрокидывая на пол Старика Придумкина вместе со стулом...

И было все в его внутреннем монологе, пока он широкими шагами покрывал мокрую от дождя Владимирскую улицу: и «Хватит! С меня довольно!», и «К черту портвейн, водяру и пиво!», и «К черту коллективные романы ни о чем!», и «Хочу солнца, ветра, борьбы и смысла!..», и даже «Сейчас пойду прямо в Днепр и буду плыть!..» — И еще многое и разное другое было в этом бесконечном монологе... Уже на лестнице, спускающейся к Днепру, его осенило: «Стоп! Знаю!.. — он резко убавил шаг. — Я напишу об этом. О нашей никчемности. Напишу все, как есть,

и — плевать на последствия! Это будет самая честная книга в мире... Вот он, смысл! Ха, как все просто!» Совсем стемнело. Печально во тьме поскрипывали деревья. Впереди, безлюдный и прекрасный, манил ночными огнями мост Патона, и под ним, в черном мареве реки, плавилась маслянистые столбы света. «Правда, чтобы собрать нужный материал, снова придется висеть в этом чертовом “Чайнике”!» — подумал Гектор Джеб и, хлопнув себя по коленям, весело рассмеялся...

... — Что это с ним? — недоумевает Бормотеев.

— Я тоже пошел, — корректор Впетлин тяжело поднимается со стула.

— А вы куда?

— Устал я. И вообще здесь больше нечего делать. И незачем. Слишком много воды в этом вашем коктейле.

— Ну, если вода из Ахеронта, то это полбеды, — с надеждой в голосе замечает Старик Придумкин.

Не удостоив его ответом, Впетлин ушел... и больше его не видели.

ПРЕДАНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ КОРРЕКТОРА ВПЕТЛИНА

Правда это или нет, но дело, говорят, было так.

Проснулся однажды корректор Впетлин в тусклом свете осеннего дня и посмотрел в окно. День был холодный как стекло. А сам он — как стеклорез. «Нет, с этой болью я жить больше не в силах. А без нее я буду уже не я». Так он сказал себе, быстро собрался и, выйдя из дому, пошел прямо на юго-запад.

Там, на самом краю города, где лес Феофании упирается в останки древних Змиевых валов, Впетлин набрел на засохшее дерево. Это был вековой дуб, одиноко стоявший на опушке леса, — без листьев, без коры, пепельно-серый и совершенно гладкий на ощупь, — такой мертвый, что мертвее не бывает. Сразу было видно, что у дерева есть какая-то тайна. Может, под ним был захоронен безымянный мертвец, который при жизни много грешил. Или, что тоже вероятно, в его корнях когда-то прятался черт и прочая нечисть — вот молния в него и ударила, и оно засохло.

В русальную неделю на дубе том собирались зеленогривые русалки, но никто из людей не приносил им в дар и не развешивал на голых ветвях спряденные нитки и рушники. Без этих подношений русалки сильно кручинились, они водили печальные хороводы и пели:

На рубеже татарском
Стоит дуб веретенский,
Никто не обойдет, не объедет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица
Ни добрый молодец...

Слетались сюда и ведьмаки в купальские дни, всё на дуб лезли, остатки коры грызли. Иногда, особенно в глухие безлунные ночи, захаживал сивый дубоглот, и его утробный кашель разносился над спящим лесом. Заслышав смертоносное бухиканье, лесник запирался в своей сторожке на все засовы и, трясясь от страха, сорок раз повторял старинный заговор времен эльфов: «Дуб, дуб, возьми свой дубоглот и глот, и мокрую жабу, сухой дубоглот, и глот!..»

Вот на этом мертвом дубе Впетлин и поселился. Из валежника и всякого тряпья он соорудил на его голых ветвях немудреную хибарку и жил теперь в ней, продуваемый ветрами и омываемый дождями. Сердобольные люди из ближайших окрестностей приносили ему скудную еду и питье, видя в нем святого столпника, но таких было немного. Остальные считали место это нечистым, гиблым и держались от него подальше.

Изредка Впетлин спускался с дерева на землю, чтобы насобирать усопших жуков, мух, бабочек и пчел. Он укладывал их в пустые спичечные коробки, которые затем подвешивал за ниточки на ветвях вокруг своей лачуги. А под деревом хоронил погибших птиц.

Так проходило время. Впетлин изрядно отоцал, оброс волосами и бородой до колен, кожа его обветрилась и задубела. Все чаще впадал он в тягучее сонливое состояние, и приступы его с каждым годом становились протяженнее.

Однажды, дело было летом, в хибарку ударила молния, и таким образом корректор Впетлин был прицеплен к дереву, точнее

к одной из его ветвей. Так он превратился в настоящую мертвую почку. Он стал мертвой почкой на Древе Смерти, ибо назвать сухой безлистый дуб Древом Жизни как-то язык не поворачивался. Но едва приметная жизнь все же продолжала еще теплиться в этой почке и, кажется, вся природа взывала к ней: «Проснись! Проснись!»

Прилетала маленькая вертишейка и бранила прицепленного Впетлина за бесхребетность. Прилетала и кукушка, но тут же улетала в недоумении прочь, так ни разу и не прокуковав. Пару раз и соловей, замыкающий зиму и открывающий лето, садился на ветку и взывал к любви. А однажды прилетала сама златоогненная птица с Зеленой горы, воспетая в песнях эльфом Тиндалином. И еще ворон по имени Спиноза прилетал. Он был очень старым и помнил этот дуб живым и цветущим. На чистой латыни ворон сообщил почке-Впетлину буквально следующее: «*Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est*»¹. Звучало это строго и красиво.

Единорог обещал познакомить его с девой — прекрасной и непорочной...

Да, многие прилетали, приползали и приходили — и все просили корректора Впетлина вернуться к жизни, к желанию жить. Но — все напрасно.

Однажды Ангелический Пес явился к нему — озаренный ослепительным светом. «Пойдем со мной, — сказал Ангелический Пес. — Я покажу тебе то, что находится за пределами Жизни и Смерти». И тогда корректор Впетлин отлепился от мертвого дуба, и вдвоем они пошли тропой тайной, не приметной, углубляясь все дальше в лес, в его самое сокровенное место, где, говорят, живет поющее дерево...

¹ «Свободный человек менее всего думает о смертях, а мудрость его основана на размышлении о жизни, а не о смерти» (лат.). — Бенедикт Спиноза, «Этика», ч. IV, теорема LXVII.

ПРИМЕЧАНИЯ

Albedo

Albedo (лат.) — алхимический термин, обозначающий «Работу (или Делание) в Белом», т.е. второй этап Великого Делания, когда в ходе обработки вещество приобретало белый цвет. В духовном смысле Альбедро символизирует воскресение к новой жизни после «смерти всего бrenного» в душе человека (Nigredo, т.е. «Работа в Черном») и предвещает окончательное его духовное и физическое преобразование, осуществляемое в процессе Rubedo, т.е. «Работы в Красном».

«Книга о зверях и чудовищах» — анонимное латинское произведение (*Liber de monstis et beluis*), своеобразная энциклопедия, представляющая множество вымышленных существ. Оно обнаружено и впервые опубликовано в 1836 г. уважаемым Бергером де Ксивреем, использовавшим латинскую рукопись, датированную им X в. Эпиграф взят из «Пролога» (1) в переводе с латинского Н.Горелова («Жизнь чудовищ в Средние века», Санкт-Петербург, Издательство «Азбука-классика», 2004).

Предисловие Издателя

Кофман Р. И. (род. 1936) — выдающийся украинский дирижер, Заслуженный артист Украины.

...в *Октябрьский дворец на Джо Завинула...* — Джо Завинул (1932–2006) — австрийский джазовый музыкант и композитор. Такой концерт, первый и единственный в Украине, состоялся в Киеве в Октябрьском дворце в марте 2004 г. — по приглашению А. Когана и Э. Айгнера Дж. Завинул приехал со своим проектом «Синдикат».

Алексей Коган (род. 1957) — известный и популярный у меломанов украинский журналист, начиная с 80-х гг. XX в. успешно пропагандирующий зарубежную и отечественную джазовую музыку в Украине и украинский джаз — за рубежом; автор множества статей и популярных радиопередач, посвященных джазу и джазовым музыкантам, одновременно, успешно выступающий в качестве ведущего на различных джазовых концертах и фестивалях. Главный идеолог и вдохновитель фестиваля «Jazz in Kiev».

...в «44» у *Эрика Айгнера...* — Речь идет о пользовавшемся в 90-е и в начале 2000-х гг. большой популярностью джазовом клубе «44 club»,

когда управляющим в нем работал известный ресторатор Эрик Айгнер, немец по происхождению, благодаря энтузиазму и меценатской деятельности которого живая джазовая музыка в Киеве получила широкое распространение. Вместе с А. Коганом продюсировал концерты в Киеве таких мировых звезд джаза, как Мейнард Фергюсон, Джо Завинул («Синдикат»), Эрик Мариетал, Виктор Бейли, Джон Макклафлин («Шакти») и др. В этот же период всячески поддерживал украинских музыкантов. В 2002 г. Э. Айгнер основал рекординговую компанию «44 Records»; первым ее релизом стал акустический альбом киевской группы Ег. J. Orchetstra «The Unicorn» («Единорог»), руководителем которой является автор романа «Книга Книг» Алексей Александров.

...насладиться великолепной игрой Аркадия Шилклопера на валторне... — Аркадий Шилклопер (род. 1956) — выдающийся российский валторнист, автор многих джазовых проектов. Несколько раз давал концерты в киевском клубе «44». Участвовал в записи альбома Ег. J. Orchetstra «The Unicorn».

Жанна Василевская — современная киевская художница-живописец, работающая в различных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.).

...золотистые пчелы. — Пчелы — символ бессмертия, возрождения, трудолюбия, чистоты души, девственности и целомудрия. Их сущность — небесная, а мед — приношение высшим божествам. Часто пчелы символизируют звезды и являются, таким образом, крылатыми посланниками, приносящими вести миру духов. У кельтов пчелы переносили тайную мудрость других миров. У египтян пчела — «подательница жизни», символ рождения, смерти и воскрешения, а кроме того, трудолюбия, непорочности, гармоничной жизни, королевского достоинства.

В магазине «Ноты»... — Магазин «Ноты» на Крещатике был своего рода культовым местом у киевской интеллигенции вплоть до конца 90-х гг. XX в.

...художественная галерея Карася... — Речь идет о галерее современного изобразительного искусства Евгения Карася, расположенной на Андреевском спуске, в доме № 22а.

КНИГА КНИГ

Как свидетельствует восьмой Аркан... — Восьмой аркан колоды Таро — «Сила». Карта демонстрирует духовную силу, одолевающую звериную физическую силу, укрощение диких инстинктов и господство высшего знания над природным миром. Укрощение «эго» и объединение противоположностей.

Каббала — мистическое течение в иудаизме, которое соединило пантеистические построения неоплатонизма (учение об эманации и др.) и идеи гностицизма с верой в Библию как мир символов. Возникло в IX в. Практическая каббала основана на вере в то, что с помощью специального ритуала и молитв человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс.

...о вечных символах Таро... — Таро (Тарот) — книга, написанная эмблематическими знаками. Каббалисты утверждают, что карты, которые и до сих пор употребляются в гадании, — это первое, что было написано знаками еще до изобретения азбуки. Мистики стремились проникнуть в смысл этих знаков. Элифас Леви утверждал, что расположив карты Таро в определенном порядке можно раскрыть всё о Боге, вселенной и человеке.

...о Божественном Дереве Сефирот... — Сефирот — «каббалистическое дерево организованной манифестации есть не только макрокосмический символ, но и эмблема самого человека, потому что он также коренится в духе и для достижения совершенства должен окончательно отстраниться от четырех миров и уйти в собственное семя... Дерево Сефирот состоит из десяти шаров лучистого великолепия, построенных в три вертикальные колонны и связанных двадцатью двумя каналами, или путями. Десять шаров называются Сефирот, которым приписаны числа от 1 до 10. Три колонны называются Милосердие (справа), Жестокость (слева) и между ними Умеренность как объединяющая их сила. Колонны могут представлять Мудрость, Силу, Красоту, которые образуют тройственную поддержку вселенной, потому что основание всех вещей, как писано, есть Три» (Менли П. Холл. Дерево Сефирот. «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии», В.О. «Наука», Новосибирск, 1992.).

Война в Городе началась в ночь на 29 сентября... — 29 сентября — День святого Михаила, предводителя небесного воинства, который сражается с драконом (сатаной, дьяволом).

...к свету чистого разума, невзирая на критику последнего Иммануилом Кантом... — Имеется в виду сочинение «Критика чистого разума» немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804).

Накормите меня яблоками, подкрепите меня вином... — В Песне песней царя Соломона: «Накормите меня яблоками, напоите меня вином, ибо я изнемогаю от любви».

...о двух храбрых рыцарях, странствующих в Фарамондском или Осмондском лесу... — Эти леса на территории древней Британии были местом действия многих средневековых рыцарских романов, описывающих необычные приключения героев в их чащах.

...о древнем Змие-убийце, которого еще в незапамятные времена запечатал в горе Никита Кожемяка... — Никита Кожемяка, по древним преданиям, победил Змея Горыныча, который появился под Киевом и терроризировал киевлян. Одна из легенд гласит, что Кожемяка запечатал змея в горе с сокровищами, где тот жил.

...какие-то «философские смерти»... — «Философская смерть» — алхимический термин, обозначающий путрефикацию (гниение). Путрефикация была обязательной стадией Великого Делания, ибо гниение считалось непременной предпосылкой жизни. Например, полагали, что зерно, упавшее в землю, умирает и сгнивает, благодаря чему высвобож-

дается искра жизни и появляется новое растение. В более широком смысле смерть — необходимое условие возрождения, как реального, так и символического.

...щекастых выпускников училища имени Глиэра... — Музыкальное училище имени Р. М. Глиэра — одно из старейших учебных заведений в Киеве (основано в 1865 г.). Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874–1956) — советский композитор, дирижер, педагог.

...макабрической полиритмии. — Образ восходит к «La Danse macabre» («Пляска Смерти»). Со словом macabre соотносится все позднесредневековое видение смерти. Сюжет Пляски Смерти, по-видимому, возник во Франции. Ему предшествует легенда о Трех живых и трех мертвых (XIII в.): трое знатных юношей неожиданно встречают трех отвратительных мертвецов, указующих им на свое бывшее земное величие — и на скорый конец, неминуемо ожидающий юношей, которые пока еще живы (см. Хэйзинга. «Осень средневековья»).

Ноль, — кротко возразил спецкор Кутищев. — Речь идет о последнем (нулевом) аркане колоды Таро «Шут» («Дурак»), отличающемся от всех остальных тем, что он не имеет номера — все остальные снабжены номерами от 1 до 21. Это означает, что шут всегда находится на границах всех порядков систем. Шут также — инверсия образа короля, приносимого в жертву. «Если Дурака положить на первое место в колоде, а другие карты выложить в ряд слева направо, то можно обнаружить, что Дурак идет к другим персонажам, как бы проходя через карты. Подобно духовно не видящему из-за повязки на глазах неопиту, дурак готов отправиться в наисложнейшее приключение, ведущее через ворота Божественной Мудрости. Если нулевая карта рассматривается как лишняя в главной колоде, то это разрушает нумерическую аналогию между этими картами и еврейскими, поскольку одна буква остается без соответствующей карты Тарот...» (Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение...»).

...а я — Висельник... Двенадцать. — Т. е. двенадцатый аркан колоды Таро «Повешенный» («Висельник»). На этой карте изображен некто, похожий на менестреля, подвешенный за ногу на веревке, привязанной к перекладине, которая, в свою очередь, опирается на два лишенных кроны дерева. В позитивном смысле XII аркан колоды Таро означает мистицизм, жертвоприношение, самоотречение, воздержание; в негативном — он ассоциируется с утопическим миром мечтаний. Согласно Элифасу Леви, фигура Повешенного подобна перевернутому вершиной вниз треугольнику — перевернутый знак серы и означает завершение Великого Делания.

Шестнадцать, — продолжал размышлять Кутищев... — Шестнадцатый аркан колоды Таро «Башня» означает катастрофу. На карте изображена пораженная молнией и наполовину разрушенная башня. Удар молнии пришелся в ее верхнюю часть, символически эквивалентную голове. Контекст этого символа подразумевает манию величия, безумную погоню за вздорными идеями и умственную ограниченность.

...называл войну — *Медузой Горгоной*. — Горгоны — в древнегреческой мифологии крылатые женщины-чудовища со змеями вместо волос; взгляд горгоны превращал все живое в камень. Из трех горгон единственная смертная — Медуза, которой отрубил голову Персей.

Восемнадцатый... — Восемнадцатый аркан колоды Таро «Луна». Помимо традиционного комплекса символов, изображенных на этой карте (Луна, краб, два замка и два сторожевых пса, лающих на Луну), существует другая старинная карта Таро, изображающая пение арфиста перед юной девушкой, распускающей волосы в лунном свете. Этот образ здесь соотносится со смертельными свойствами Луны, т.к. арфист — широко распространенный символ смерти (и тяги к смерти), а девушка — символ души. Эта карта Таро в результате дает наставления относительно «лунного пути» (интуиции, воображения и магии) как отличного от «солнечного пути» (рассудка, рефлексии, объективности), но в то же время в ней скрыто отрицательное и роковое значение.

Пятнадцатый... — Пятнадцатый аркан колоды Таро «Дьявол». Изображает создание, похожее на Пана с рогами оленя, руками и туловищем человека, ногами козла или дракона. Фигура стоит на кубическом камне, к которому прикованы два сатира. Демон крылат, как летучая мышь, что указывает на его принадлежность к ночной или теневой сфере. Животная природа человека выражена в форме мужского и женского начал, прикованных к кубу. Факел — ложный свет, который ведет непросвещенные души к их разрушению.

...орган Якобсона... — дополнительный орган чувств, которым обладают кошки, названный по имени датского ученого, анатома XIX века. У кошек этот орган — часть системы восприятия запахов, имеющий нервы, которые передают импульс непосредственно обонятельным зонам головного мозга. До сих пор неизвестно точно, какую информацию получает кошка при помощи органа Якобсона. Возможно, что подобное шестое чувство отвечает за предсказание.

Тринадцатый... — Тринадцатый аркан колоды Таро «Смерть». На карте изображен скелет красного цвета, замахнувшийся своей косой в левую сторону. Разбросанная земля содержит человеческие останки, которые имеют вид живых существ. Смерть является источником жизни — и не только духовной жизни, но и источником возрождения материи. Необходимо подчиниться умиранию в темнице, чтобы возродиться в свете и чистоте. В положительном смысле этот аркан символизирует трансформацию всех вещей, прогресс эволюции, дематериализацию.

Нет смерти королю, он может лишь исчезнуть... — Цитата из «Исповеди англичанина-опиомана» Томаса де Куинси.

Котомыш всегда радуется при виде человека! — Переиначенное выражение Робеспьера: «Человек всегда радуется при виде человека».

«Поэта мы увенчаем цветами и вынесем вон из города». — У В.Ф.Одоевского в эпитафие к «Сильфиде», со ссылкой на Платона: «Поэта мы увенчаем цветами и выведем вон из города».

Оффенбах Жак (1819–1880) — французский композитор, автор многих комических опер, среди которых одна из самых известных — «Сказки Гофмана».

Возьмем, например, товарища Гофмана. — Эрнст Теодор Амадей Гофман родился, как и Классик, 24 января.

...почему бы ему и не помереть, как той Сенеке римской? — За участие в заговоре Пизона против Нерона Сенека был приговорен к смерти (причем род смерти предоставлено было избрать ему самому) и умер в 65 г., вскрыв себе вены.

За удовольствие надо платить... — Эти слова приписываются императору Нерону, который, по легенде, произнес их, глядя на горящий Рим после того, как сам же отдал приказ его поджечь.

...подобно Помпее Павлине, возжелала ступить вслед за ним в царство теней. — Помпея Павлина, вторая жена Сенеки, хотела умереть вместе с ним такой же смертью, однако ей не удалось этого сделать, и она прожила еще несколько лет.

«Шесть», — прошептал я... — Шестой аркан колоды Таро «Возлюбленный». Молодой человек (рыцарь) стоит между двумя женскими фигурами, он выглядит нерешительно. Можно усмотреть колебание между двумя духовными мирами. Сверху в рыцаря целится стрелец, он нередко окружен лучами или даже звездами. Это бог любви. Предсказатели толкуют это таким образом, что правильное решение можно принять, лишь осознав сначала в себе ту внутреннюю силу, которая объединяет человека с божественным звездным небом.

...«дурным глазом Оффенбаха» ... — Французский композитор Жак Оффенбах в Париже считался весьма опасной личностью. Многие боялись его взгляда.

Форнарина — имя предполагаемой возлюбленной Рафаэля, с которой он писал своих Мадонн.

«Кардинальные жидкости» — в человеческом теле, по Гиппократу: кровь — жидкость теплая и влажная; выделения носа — холодные и влажные; желтая желчь — теплая и сухая; черная желчь — холодная и сухая.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Зала с астеней

II. Ковровый Тракт,
а также Исключительно эпохальные сведения
о доблестном Мурмилоте Узорном
и красавице Мышанине

...шератоновских буфетов... — Имеются в виду буфеты, сделанные по эскизам английского мебельщика-дизайнера Томаса Шератона (1751–1806).

«Свидание спецора Кутищева и Альды...» — Альда, невеста рыцаря Роланда, одного из паладинов Карла Великого, героя средневековой эпической поэмы «Песнь о Роланде».

Есть одна у Филлина мечта... — Имеется в виду песня А.Н. Пахмутовой «Обнимаю небо» (1965).

Рондо — старофранцузская стихотворная форма, содержащая 13 стихов на две рифмы, с повторением первого стиха; а также музыкальная форма, для которой характерно возвращение к одной и той же игривой теме.

III. Фемгерихт и баба Маня

Фемгерихт — тайное судилище в средневековой Германии в XIII–XIV вв., которое выносило приговоры против лиц, повинных в тяжких преступлениях и ускользавших от публичного суда.

Роскошный Часослов герцога Беррийского — самая известная иллюстрированная рукопись XV в., начатая миниатюристами братьями Лимбургамы в 1410-х гг. Представляет собой роскошно иллюстрированный часослов, выполненный по заказу герцога Беррийского Жана.

«Полковник Ферापонтос, совершающий тринадцатый подвиг Геракла»... — Геракл совершил двенадцать подвигов.

...труды мсье Ле Бона... — Гюстав Ле Бон (1841–1931) — французский социальный психолог, врач, антрополог и археолог; одним из первых попытался теоретически обосновать наступление «эры масс» и связать с этим общий упадок культуры. Он полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. Здесь происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. Основная работа Ле Бона — «Психология народов и масс».

...принципом Императора Фердинанда, который гласит: «Fiat justitia pereat mundus»... — Поговорка австрийского императора Фердинанда I (1793–1875), по словам Иоганна Манлия, в «*Locī communēs*» (Базель, 1563). (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона).

...с раствором свинцового сахара. — Один из составов так называемых «симпатических чернил». Этим именем называются жидкости, которые не оставляют на бумаге никакого цветного следа — он появляется только при нагревании, смачивании водой, каким-нибудь соком, раствором какой-нибудь соли или иного вещества, соответственно химическому составу этих чернил.

Толуанский бальзам — красно-бурая густая масса с ванильным запахом, получают из растения *Muohuylon toluifera*, употребляется в парфюмерии.

IV. Примечательные достопримечательности

Панталеон — святой мученик эпохи римского императора Диоклетиана (243 — между 313 и 316), врач из Никомидии, в иконографии изображается с сопровождающим его львом, которого он, по преданию, вылечил.

Октябрьская больница — имеется в виду Киевская городская клиническая больница № 14 имени Октябрьской революции (бывшая Александровская).

Джованбатиста Тассо (1500–1555) — итальянский резчик по дереву и архитектор, строитель рынка во Флоренции.

Празем — мелкий камень типа агата, темно-зеленого цвета; используется для поделочных работ.

V. Продолжение Коврового Тракта

...один нобелевский лауреат уверял меня, что Полковнику никто не пишет... — Имеется в виду колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес, лауреат Нобелевской премии, и его роман «Полковнику никто не пишет».

...если бы пришла вовремя важнейшая депеша от французского правительства, гоблины не обрушили бы Михайловский собор. — Михайловский Златоверхий собор в Киеве был взорван в 1934 г. по приказу большевиков. Намек на то, что в тот же период Софийский собор был спасен благодаря заступничеству французского правительства.

VI. Десятый муж славы

«Кусающий дракон» — игра, сущность которой состоит в том, что из чаши с горящим коньяком играющие вылавливают пальцами изюм.

Святой Станислав трех степеней — Орден св. Станислава, бывший польский, учрежден в 1765 г. королем Станиславом Понятовским. С 1831 г. был сопричислен к российским императорским орденам: в порядке пожалования считался младшим. Имеет три степени.

...сочинений Прокопия... — Прокопий, византийский историк (приблизительно VI в.), автор «Истории войн» и «Тайной истории».

...г-н Дестунис в качестве военного консультанта... — С. Дестунис перевел на русский язык часть произведений Прокопия (1862, 1880).

Якоб-Асмус Карстенс (1754–1798) — немецкий живописец. Большинство работ — на античные темы: «Битва при Росбахе», «Битва кентавров и лапифов», «Сократ, спасающий в битве жизнь Алкивиаду», и др.

VII. Несметные стихоплеты и поэтические баталии

Ли Бо, Ду Фу... — Великие китайские поэты эпохи Тан. Ли Бо (701–762); сохранилось более 900 его лирических стихов, стихи в жанре народных песен, ритмическая проза, четверостишия. Ду Фу (712–770) — мастер пейзажной лирики.

Мэй Си — красавица-наложница князя Цзе (династия Ся, XVIII в. до н. э.), которая развлекалась тем, что слушала звук разрываемого шелка. Отсюда она получила прозвание «Разрывающая шелк».

КНИГА ГОРОДА

Корбюзьевич Безрунный

Роза — благоуханная родина Лакшми... — Лакшми, индийская богиня любви и красоты, по легенде, родилась в бутоне розы, составленном из 108 больших и 1008 мелких лепестков.

...геометрии мёбиусовых пространств... — Имеется в виду «лист (лента) Мёбиуса». Август Фердинанд Мёбиус (1790–1868) — немецкий математик, установивший существование односторонних поверхностей.

Труханов остров — расположен у левого берега Днепра в пределах Киева.

...голоса ухалиц... — Ухалица — в русском фольклоре чудесное существо, похожее на птицу и живущее в воде. Появляется она обычно в темное время суток. Крик ухалицы по весне предвещает теплую погоду.

«Мом и Ком руководят пирушкой!» — В древнегреческой мифологии Мом — олицетворение злословия и насмешки; по преданию, лопнул от злости, не сумев найти в Афродите недостатков. Ком — бог веселых пиров.

...другая подсылает к тебе врача, чтобы убедить тебя и всех вокруг, что ты безумен! — Известно, что леди Байрон, жена Байрона, считая поэта безумным, подсылала к нему врачей, чтобы выяснить его состояние.

Беги, беги от их любви, как бежал Иосиф Прекрасный! — Иосиф Прекрасный, по библейской истории, будучи рабом в Египте, бежал от влюбленной в него жены военачальника Понтефрия, оставив в ее руках свою одежду.

Одна — мальвазия, другая — феригуле... — Мальвазия — белое ликерное вино с юга Европы, свое название получило от греческого города Napoli di Malvasia, где его изготавливали. Феригуле — сорт французского вина, из винограда, растущего на холмах Гравезона (департамент Буш-дю-Рон).

Принц Дженнаро — персонаж пьесы итальянского драматурга Карло Гоцци (1720–1806) «Ворон».

Если бы Заратустра... — Плиний Старший утверждал, что только один человек в мире начал смеяться с самого рождения — Зороастр (Заратустра), что понимали, как предзнаменование его божественной мудрости.

...благородного Короля-Рыбака, хранителя Святого Грааля... — Король-Рыбак — таинственный персонаж легенды о Граале. В романе «Ланселот» французского поэта Кретьена де Труа (ок. 1130 — ок. 1191) говорится, что король увечен, и рыбалка — единственное развлечение,

какое он может себе позволить. В своем романе «Парцифаль» немецкий поэт-миннезингер Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170 — 1220) называет его Увечным Королем.

Tours de Villon — «выходки в духе Вийона» (франц.). Французский поэт Франсуа Вийон прославился беспутством и причудами.

Нижний Вал — улица на Подоле: от Глубочицкой улицы до Набережно-Луговой.

Букцина — римский металлический духовой инструмент, имеющий сильно выгнутый ствол с небольшим раструбом с глухим и даже зловещим звуком, применялся как пастушеский, а также как военный сигнальный инструмент.

Барбитон — римский струнный инструмент, род лиры.

Лур — духовой инструмент, распространенный в Скандинавии в I тысячелетии н. э.; имел конический изогнутый ствол (длиной 2–3 метра), небольшой чашеобразный мундштук, раструб в форме большого диска.

Oboe d'amore (с *итал.* букв. — гобой любви) — альтовый гобой, разновидность гобоя, известная с XVIII в.

Viola da gamba (*итал.* виола да гамба) — теноровая виола, наиболее распространенная разновидность виол в XVI–XVII вв., имеющая 6–7 струн.

Равель — трехструнная скрипка.

Орферион — (от имен легендарных музыкантов Древней Греции Орфея и Ариона), — струнный щипковый инструмент грушевидной формы, имевший 7–9 двойных струн. Был распространен в XVI–XVII вв. в Англии, Италии и Франции.

...«*говор меди Додонской*». — В Додоне (Северная Греция) перед храмом Зевса были развешены и расставлены медные сосуды; колеблемая ветром проволока ударялась о них, и раздавался непрерывный звон. Отсюда — «говор меди Додонской» как непрерывный шум.

Диатонический звукоряд — лежит в основе древнегреческих ладов, церковных и ладов народной музыки.

...*могут превратить его в жука, как когда-то глупого и наивного пастуха Терамба*... — Терамб — в древнегреческом мифе пастух, славившийся своей игрой на лире и флейте. Однажды Терамб оскорбил нимф, за что был превращен в жука.

Ванму — Си Ванму — «Владычица Запада», в китайских мифах могущественная повелительница фей, живущая на крайнем западе Китая на священной горе Куньлунь, в обители бессмертных. Ее называли также царицей небес и супругой Нефритового императора.

Пэнлай — остров-гора, страна бессмертных, даосский рай в китайских легендах.

Zukunftsmusik — «Музыка будущего» (*нем.*) — Здесь — о дурной, непонятной музыке. Источник выражения — статья Л. Бишофа в «Нижнерейнской музыкальной газете» (№ 4, 1859), направленная против книги композитора Р. Вагнера «Das Kunstwerk der Zukunft»; позднее сам Вагнер воспользовался этим выражением для одной из своих статей.

Карло Бергонци (1716–1755) — скрипичный мастер в Кремоне, лучший из учеников великого итальянского скрипичного мастера Страдивари.

Музыка — андрогинна, Ребисо-подобна, она — как свадьба Красного Короля и Белой Королевы. — Андрогин — в алхимии название первовещества, содержащего мужское и женское начала (или серу и ртуть философов). Ребис — двойственная субстанция, получаемая в результате двух стадий Делания, ее готовят в философском яйце на третьей стадии. Из этого вещества должен быть приготовлен философский камень. Свадьба Красного Короля и Белой Королевы — в алхимии так называемый «философский (или химический) брак», одна из последних стадий алхимического процесса — соединения Серы и Меркурия, в результате которого возникает Ребис.

Эсхатология — (от греч. эсхатон — «конец») — учение о конечных судьбах мира, важный элемент иудейского и христианского апокалипсиса, мистическое провидение конца мира и прихода совершенного царства Божьего.

«Полночное солнце есть духовный свет...» — Полночное солнце — часть алхимической мистерии. Оно символизирует в человеке дух, сияющий во мраке человеческого организма. Оно относится также к духовному солнцу в солнечной системе, которое мистик может видеть в полночь так же хорошо, как в полдень.

За это королева Элеонора ее и убила. — Элеонора Аквитанская, по преданию, собственноручно убила красавицу Розамунду, фаворитку своего мужа, английского короля Генриха II.

Генитура — (лат. «положение в час рождения») — в астрологии карта неба, составленная в момент рождения человека; гороскоп рождения.

...полета Сапфо с утеса Левкат. — По преданию, древнегреческая поэтесса Сапфо покончила жизнь самоубийством из-за неразделенной любви к митиленскому юноше Фаону, бросившись в море с утеса Левкат.

Марк Шагал вон трамваи бесплатно расписывал... — Марк Шагал (1887–1985) — французский живописец и график (по происхождению еврей из Витебска). В первые годы после революции он с другими молодыми художниками расписывал трамваи в Витебске.

...противоречит куртуазному канону... — Нерешительность, застенчивость — одна из черт куртуазного канона.

...несчастного в своих безумствах Тассо! — Торквато Тассо (1544–1599), итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1581). Вследствие своей болезненной раздражительности, приводившей к припадкам буйства, он десять лет (1576–1586) провел в больнице; затем поступил на службу к мантуанскому герцогу Гонзаго.

...подышать парами чемерицы вонючей... — Чемерица — растение, которое, по поверьям древних, излечивало от безумия и меланхолии.

Мы жили, словно лютня цинь с лютней сэ... — Это выражение встречается в книге «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» китайского писателя Пу Сун-Лина.

...с незабудкой в зубах... — Незабудка — цветок постоянства, верности и забываемых воспоминаний.

«Науку любви» старика Овидия... — Трактат «Наука любви» римского поэта и философа Овидия (43 до н. э. — ок. 18 н. э.).

Ut ameris, amabilis esto. «Чтобы тебя любили, будь достоин любви». — Овидий, «Наука любви» (II, 107).

Как сказал все тот же старик Овидий... — Цитата из поэмы Овидия «Метаморфозы» (III, 433).

...три рунических знака цвета запекшейся крови... — Изображены перевернутые руны, означающие, по Гвидо фон Листу: 1) Yr — радуга; гнев, ошибка (XVI руна) — перевернутая Ман-руна, представляющая прибывающую и убывающую Луну — в противоположность полной Луне Ман-руны (т.е. XV руны). Руна Ошибки вызывает смятение, причинами которого могут быть страсть и любовь, азарт в игре, или опьянение, или проблемы в общении. 2) Ar — изначальный огонь, бог, Солнце (X руна). Принесение себя в жертву, предание себя смерти в пламени, чтобы возродиться вновь. Но в перевернутом виде (т.е. VI руна Ка) все становится ущербным. 3) Tug — Тюр, бог Солнца и войны (XII руна). Возрожденный Один, спустившийся с Древа Мира, на котором он принес самого себя в жертву, так же как и возрожденный из пепла Феникс, олицетворяется как Тюр, юный бог Солнца и войны.

Три новых знака... — Перевернув руны, художник Корбюзьевич совершает магический акт исправления нарушенных, искаженных смыслов.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Полковник Ферапонтов

Дуб Перуна... — Священные дубы Перуна упоминаются в летописях. В IX веке они высились на перекрестках дорог. Одно такое дерево с кабаньими клыками было найдено в Киеве, в 1910 г. Другое — в 1975 г. при расчистке фарватера Днепра. Его десятиметровый ствол весил 6 тонн, и в него были вбиты девять медвежьих челюстей. Обнаружил дуб капитан П. Петькун. («Неделя», 4–10 августа 1975 г.).

...на озере Тельбин, что на Березняках. — Тельбин — озеро левобережной поймы Днепра, на жилом массиве Березняки в Дарницком районе Киева. После сооружения массива в 1971–1976 гг. озеро изолировано от Днепра.

...какой-то мудреный орден... — Орден Карла-Фридриха, учрежденный в 1807 г. в Бадене, имел четыре степени.

Кастраментация — отдел военного искусства, включающий в себя выбор места для расположения лагеря и обеспечения его.

Кверфурт Август (1696–1761) — немецкий живописец-баталист. Известны его картины «Лагерь», «Сцена из военной жизни», «Приготовление к отъезду», «Купанье лошадей».

...вместе с Тразибулом освобождал от тиранов измученные Афины... — Тразибул, афинский полководец, освободил Афины от 30 тиранов в 403 г. до н. э.

...были разгромлены султаном Эйюбом... — Султан Эйюб в 1244 г. разбил крестоносцев при Газе.

...помог Люцию Македонскому разбить войска царя Персея при Пидне... — Люций Македонский, римский главнокомандующий в македонской войне против царя Персея, войско которого разбил при Пидне в 168 до н. э.

...применил каменные ядра при обороне англичанами Гибралтара... — Речь идет о начавшейся в июле 1778 г. войне между Францией и Великобританией из-за союза Франции с США. Испания попросила за свой нейтралитет Гибралтар и, получив отказ, также вступила в войну против Великобритании.

А Хейзингу знаете? Нет? Также чего-то там написал... — Й. Хейзинга написал известную книгу «*Homo ludens*» («Человек играющий»).

...и мы с Серегой, в смысле с Палычем ... — Т. е. с Королевым Сергеем Павловичем (1906/1907–1966), советским конструктором первых ракетно-космических систем, основоположником практической космонавтики.

...взял я в плен графа Стенгопа. — Стенгоп, Джеймс Честерфилд, первый граф Стенгоп (1673–1721), английский полководец, завоевал порт Магоп и о-в Майорку (1708), успешно сражался в Испании, но при Бринхузге вынужден был сдаться французам (1710).

...писал даже историк Манфред... — Манфред А.З. (1906–1976) — советский историк. Основные труды — о Великой французской революции, наполеоновской Франции, Парижской Коммуне 1871 г. и др.

...с герцогом Пармским играл в огненные антверпенские кораблики... — Во время восстания в Нидерландах против испанского владычества герцог Пармский (Алессандро Фарнезе, 1545–1592, наместник короля Испании в Нидерландах), осадив в 1585 г. Антверпен, занял оба берега Шельды ниже города и возвел мощные береговые дамбы и мост, соединивший оба берега, чтобы преградить осажденным выход из города по реке. Для уничтожения этой преграды инженеры восставших построили корабль, трюм которого был наполнен бочками с порохом. Корабль был пущен вниз по течению Шельды и взорван, когда подошел к мосту. Осадное сооружение взлетело на воздух, река, выйдя из берегов, смыла все земляные укрепления испанцев. Сам герцог Пармский был ранен.

...руководил составлением трактата о так называемом «четверном союзе». — В 1718 г. граф Стенгоп руководил составлением трактата о «четверном союзе» между Англией, Францией, Германией и Нидерландами.

...Северная война в полном разгаре! — Имеется в виду Северная война 1700–1721 гг. России (в составе Северного Союза) со Швецией за выход к Балтийскому морю.

Стенбок, граф Магнус — шведский фельдмаршал (1664–1717), участник Северной войны. В 1713 г. сдался союзной армии русских, саксонцев и датчан в Теннингене. Оставил мемуары, изданные в 1773 г.

...я даже участвовал в великом походе Густава-Адольфа в Германию. — Густав II Адольф (1594–1632), король Швеции с 1611 г., полководец; участвовал с 1630 г. в Тридцатилетней войне 1618–1648 гг. на стороне антигабсбургской коалиции (победы при Брейтенфельде, 1631; при Лютцене, 1632 — в этом сражении погиб).

...с его полководцем графом Орталой... — Леннарт Торстенсон, граф Ортала, шведский полководец (1603–1693), участник похода Густава-Адольфа в Германию в 1630 г.; в 1641–1646 гг. главнокомандующий шведскими войсками в Германии, одержал победы при Лейпциге (1642), при Янкау (1645), завоевал Ютландию (1643). Полковник Феррапонтов не знает, что имя Ортала не склоняется.

...марш французской национальной гвардии Шарля-Симона Кателя. — Шарль-Симон Катель (1773–1830) — французский теоретик и композитор. Получив место военного капельмейстера при национальной гвардии, Катель был одним из первых во Франции, кто писал для духового оркестра марши, гимны и пр., исполнявшиеся во всех войсках республики.

КНИГА ГОРОДА

Скорбная Обитель

Крестовоздвиженская церковь — находится на Подоле, на улице Воздвиженской.

А давай отнесем его на Берковцы! — Или, может, на Лесное? — Речь идет о киевских кладбищах — Берковецком и Лесном.

Евбаз (Еврейский базар) — рынок носильных вещей, открытый в 1860 г. на Галицкой площади (сейчас площадь Победы). Ныне не существует.

...Музея медицины, который многие старожилы города все еще по привычке называют *Анатомическим театром*... — Музей медицины основан в 1973 г. и располагается в помещении бывшего Анатомического театра, построенного в 1853 г. по проекту архитектора А.В. Беретти (1816–1895). Фасад здания выходит на ул. Б. Хмельницкого (бывшую Ленина).

«*Окружная дорога, ясное дело!*» — Большая Окружная магистраль; проложена по западной границе Киева.

...как те две платоновские полусферы... — Имеются в виду мужская и женская половины, на которые был разделен двуполоый первочеловек (андрогин, гермафродит), о чем пишет Платон в своем диалоге «Пир».

...самосское вино... — Самос — греческий остров в Эгейском море; в древности славился своим вином.

...отведавший пицци ангелов... — «Пицца ангелов» — принятое в средние века определение философского знания.

...за свою шишковидную железу... — Шишковидная железа долгое время считалась вместилищем души.

Заяц-Кандидус — Заяц Белоснежный (от *лат.* candidus — «белоснежный»).

«Судьба не меняет породы...» — У Горация: «Судьба не меняет природы» («Эподы», 4, 6).

И вот первое, что я прочитал... — Далее фрагмент стихотворения в прозе «После Потопа» («Après le Déluge») французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891) из книги «Озарения» («Illuminations», 1886).

...по случаю мартовских календ... — Календы — в римском календаре первые числа месяцев, приходящиеся на время, близкое к новолунию.

...катрены «Центурий»... — Катрены — четверостишия, которыми написаны «Центурии» Нострадамуса (Мишеля де Нотр-Дам, 1503–1566), придворного врача и астролога французских королей.

...Льюис Кэрролл, описывая аллегорическое чаепитие в некоей Стране Чудес... — Льюис Кэрролл (1832–1898) — английский писатель, математик и логик. Имеется в виду глава «Безумное чаепитие» из повести-сказки «Алиса в стране чудес» (1865).

«Заключатая даоса» — развлекательная повесть, одна из многих, составлявших популярные сборники простонародных повестей эпохи Мин — Фэн Мэнлуна (1574–1646) и Лин Мэнчу (1580–1644).

Яшмовый Заяц — это образ Луны... — Заяц в китайской мифологии ассоциируется с Луной, а Луна — с Лунным старцем, который соединяет судьбы людей.

...пытался восстановить Римское право в полном объеме с учетом «Corpus juris civilis» Юстиниана... — Римское право — система рабовладельческого права Древнего Рима. Включало частное право и публичное право. Содержало систему норм, регулировавших различные виды имущественных отношений. Римское право являлось классическим правом общества, где господствует частная собственность. Византийский император Юстиниан I (482 или 483–565) создал свод законов римского права — так называемый «Юстинианов кодекс» («Corpus juris civilis»).

...так называемого Черного Акта... — «Черным актом» называли «охотничий закон», изданный в Англии в 1723 г. Закон получил свое название из-за одной статьи об уличении в охоте «в заповедном месте» и наказании «за это смертью, как при уголовном преступлении».

...до ВДНХ... — Имеется в виду Выставка достижений народного хозяйства УССР — в советское время постоянно действующая выставка в Киеве, демонстрировавшая достижения промышленности, транспорта, сельского хозяйства, науки и культуры республики. Функционирует

с 1958 г. Находится на проспекте Академика Глушкова. В описываемую эпоху троллейбусный маршрут № 12 от Софийской площади до ВДНХ был одним из самых длинных.

...магазин игрушек «Сказка» на Красноармейской улице... — Магазин детских игрушек «Сказка» и сегодня находится на том же месте.

...сыном смертной женщины и хронического инкуба... — По преданию, отцом Мерлина (чародея и пророка, наставника короля Артура) был инкуб, т. е. мужской демон, домогавшийся любви смертной женщины. По толкованию некоторых христианских теологов, инкубы — падшие ангелы. Иногда они принимали человеческий облик и порождали потомство.

...вел подробный подсчет ворон в саду, боясь нечаянно пропустить момент возвращения короля Артура. — Одна из легенд гласит, что король Артур не умер, а превратился в ворона, и когда-нибудь вернется, чтобы снова царствовать над всей Британией.

Гарпократ — бог молчания, который изображался в виде юноши с приложенным к губам пальцем.

...бастард Осириса и Исиды, этот «горе-ребенок»... — т. е. незаконнорожденный ребенок Осириса и Исиды. Далее — игра слов: «горе» — «Гор»; Harpechrat — «Гор-ребенок».

...консервной банкой на колесиках... — Имеется в виду «Луноход», советский лунный самоходный аппарат, предназначенный для изучения Луны и управляемый с Земли. «Луноход-1» был доставлен на поверхность Луны в 1970 г.

Castello Estense — замок в Ферраре, построенный аристократическим родом д'Эсте. Здесь Альфонсо I праздновал свадьбу с Лукрецией Борджиа, и здесь томился в меланхолической любовной игре с двумя принцессами Торквато Тассо. В темницах замка, по преданию, были заключены влюбленные Уго и Паризина, и в конце концов казнены.

Елисейские поля — у древних греков и римлян — часть подземного мира, куда после смерти отходят души героев и праведников.

...предавайтесь безумию там, где это уместно. — У Горация: «Dulc(e) est desiper(e) in loco» — «Сладко бывает предаться безумию там, где это уместно» (лат.) («Оды», IV, 12, 28).

...сложнейшее устройство дантова Ада и Рая... — В «Божественной комедии» Данте изображает Ад как подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земного шара. Ее склоны опоясаны девятью концентрическими уступами, соответствующие «кругам» Ада. Структура Рая у Данте, основанная на Птолемеевой системе, состоит из девяти небес, над которыми он, согласно церковному учению, помещает десятое, недвижимый Эмпирей (греч. пламенный), обитель божества.

...мильтоновского Пандемонцума... — Пандемониум — царство сатаны. В поэме Мильтона (1608–1674) «Потерянный и возвращенный рай» — название адской столицы, куда сатана созывал на совет всех демонов.

...береговую линию Моря Спокойствия на Луне... — Море Спокойствия — название одного из темных, почти плоских участков поверхности Луны.

Либрация Луны — видимые периодические колебания Луны около своего центра. Вследствие либрации пятна на диске Луны перемещаются то в ту, то в другую сторону. В результате сложения трех либраций Луны (по долготе, широте и суточной либрации) с Земли можно видеть до 60% лунной поверхности.

...имитировать родственную встречу между божественными братом и сестрой. — Т. е. между богиней Луны Дианой (Артемидой) и Аполлоном, которые были братом и сестрой. Имеются в виду полеты американских космических кораблей «Аполлон» на Луну.

In partibus infidelium — «В стране неверных» (лат.) — добавление к сану епископов католической церкви, проповедующих в нехристианских или некатолических странах.

Refugium peccatorum — «Убежище для грешников» (лат.). В действительности, так иронически назывались наемные армии, собранные из деклассированных элементов общества.

...пресуществить Городской Планетарий с Домом Атеизма при нем в католический костел... — Речь идет о польском костеле Св. Александра в Киеве, на улице Костельной. В советское время в здании костела помещался первый планетарий, а затем «Дом атеизма».

Амфитеатров А. В. (1862–1938) — русский писатель и историк, автор многочисленных повестей, драм, очерков и книг по истории.

«Ах, коридор, коридор, какое безумие тебя охватило?» — Пародия на знаменитые слова пастуха Коридона, страдающего от неразделенной любви, из «Буколик» (II, 69) Вергилия: «Ah, Corydon, Corydon, que te demencia serit!» — «Ах, Коридон, Коридон, какое безумие тебя охватило!» (лат.).

...известный мыслитель, любивший называть себя «Неизвестным философом» — Маркиз Луи-Клод де Сен-Мартен (1743–1803) — французский мистик, прозванный «le philosophe inconnu» (в некоторых своих сочинениях он сам себя так называл).

...как говаривал Персий... — Авл Персий Флакк (34–62) — римский поэт-сатирик, в своем творчестве близок к стоицизму.

...при дворе блестящем Тулузских графов... — Имеется в виду двор Раймунда VI (1041 или 1042–1105), графа Тулузы, при котором часто устраивались поэтические диспуты провансальских трубадуров.

...под бузины кустом зеленым... — В старину бузина считалась колдовским растением. Например, в сказочной повести Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» студенту Ансельму, который уснул под кустом бузины, привиделась Серпентина, прекрасная зеленая змейка.

Leniter in modo, fortiter in actu! — «Мягко по образу действия, твердо по существу действия» (лат.) — один из постулатов Иезуитского ордена.

...бедным сердцем Кабестаня... — Гийом де Кабестань (род. ок. 1175) — каталонский трубадур. В «Жизнеописаниях трубадуров» расска-

зывается, что Кабестань полюбил прекрасную Соремонду, супругу сеньора Раймона Руссильонского, «человека очень знатного и богатого, но дурного, грубого, свирепого и гордого». Узнав об измене жены, Раймон подстерег Гиойма де Кабестаня, убил его, приказал вынуть у него сердце из груди, отрезать голову и отнести их в свой замок. Сердце он приказал приготовить с перцем, изжарить и подать это блюдо жене. Когда она съела его, Раймон спросил: знает ли она, что съела? Соремонда отвечала, что не знает, но это было очень вкусно. Тогда Раймон сказал ей, что съеденное ею блюдо было сердцем Гиойма де Кабестаня, и, чтобы убедить ее окончательно, приказал принести ей его голову. Увидев голову своего возлюбленного, Соремонда отвечала: «Государь, вы, конечно, дали мне столь прекрасное блюдо, чтоб я никогда не ела другого». Раймон хотел заколоть жену шпагой, но она подбежала к балкону и бросилась вниз, лишив себя жизни.

...*сирвентами де Борна...* — Сирвента — поэтический жанр, культивировавшийся трубадурами XI–XIII вв. — строфическая песня на политические или общественные темы, а также часто содержащие личные выпады поэта против его врагов. Бертран де Борн (1140–1215) — знаменитый трубадур, лимузинский барон, расцвет творчества которого пришелся на 1180–1215 гг. Как поэт, прославился своими сирвентами.

...и *Ричарда мечом разящим...* — Ричард Львиное Сердце (1157–1199), король английский, был известен также и как трубадур.

...на *защиту нашей крепости в Альлах.* — Т. е. на защиту замка Монсегор от крестоносцев.

...мы *расстались в Пюи-ан-Валэ.* — Имеется в виду знаменитый куртуазный двор в Пюи-ан-Валэ, при котором в конце XII в. существовало нечто вроде поэтической академии, отличавшей лучших трубадуров. Кроме того — место паломничества к чтимой статуе «Черной Богоматери» (или святой Марии Рокаматурской).

Комжат — жанр прощальной песни в поэзии трубадуров.

...*золотой кулон с секретом...* — речь идет о куртуазном оммаже — ритуале, скрепляющем отношения вассала с сеньором, к которому тот поступает на службу. В поэзии трубадуров этот образ часто переносится на отношения дамы, как госпожи, и рыцаря — как ее вассала. По обычаю, дама дарит рыцарю локон, шнурок, перчатку, кольцо — в знак принятия его на куртуазную службу.

...*то не были труды Штейнберга...* — С.И. Штейнберг (1831–1909) — российский психиатр, «маститый старейшина русских психиатров», по выражению Н.Н. Баженова. В 1860 г. закончил физико-математическое и медицинское отделения Киевского Императорского университета Сиятого Владимира. Автор трудов «Кликушество и его судебно-медицинское значение», «Покушение на самоубийство и совершение поджога» и др.

...*Гаккебуша или действительного члена Академии Медицинских Наук Маньковского.* — Доктор медицины В.М. Гаккебуш (1881–1931), работал, главным образом, на Украине, автор «Курса судебной психо-

патологии». Действительный член АМН СССР профессор Б.Н. Маньковский (род. 1914), с 1945 г. работал в Киевском психоневрологическом институте, автор статей и монографий по психиатрии.

...«*Любовь у помешанных*» Ломброзо... — Имеется в виду психиатрическое эссе итальянского судебного психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо (1835–1909).

«*Addio, Eleonora!*» — «Прощай, Элеонора!» (*umal.*) — начальные слова последней арии Манрико, заключенного в башню, из оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

...*театр, не хуже Байрейтского*... — Байрейтский театр — оперный театр в Бйрейте (Бавария), созданный по замыслу Р. Вагнера (открыт в 1876 г.), был предназначен для исполнения его произведений.

«*Vidas dels trobadors*» — «Жизнеописания трубадуров» — старопровансальская книга XIII — XIV вв.

«*Les vies des plus celebres et anciens poetes provenaux*» *Жана де Нострадама*... — Полное название этой книги «*Les vies des plus celebres et anciens poetes provenaux, qui ont flouri du temps des comtes de provence*» («Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских поэтов, во времена графов Прованских процветших»). Автор этой книги, вышедшей в 1575 г. в Лионе — Жан де Нострадам, брат знаменитого астролога Мишеля Нострадамуса.

КНИГА КОРОЛЕВЫ

Совершенномузрый По

...*въехали через Оленьи Ворота*. — В древнем Китае Оленьи Ворота — традиционное место обитания отшельников.

...*вырастил внутри себя золотую пилюлю, благодаря чему стал бессмертным*. — «Золотая пилюля» — Философский камень даосской алхимии. «Внутренняя алхимия» китайских даосов учит, что тело человека, помимо обычных органов, обладает сокровенной, невещественной структурой, в которой и рождается «жемчужина бессмертия».

...*разбудить черепаху Ао*... — Ао — в древнекитайской мифологии гигантская черепаха, на спине которой стоят три горы — Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан. На этих горах живут бессмертные.

А ты чаще проветривай свои дворцы. — Т.е. «поля киновари». Здесь намек на даосскую дыхательную практику.

...*когда Ткачиха*... — Дева-Ткачиха — фея созвездия Ткачихи в китайском звездном пантеоне.

...*пойдет по сплетенному сороками мосту через Серебряную Реку*... — Серебряной Рекой китайцы называли Млечный Путь. Седьмого числа седьмой луны Ткачиха переходит по мосту через Серебряную Реку, чтобы встретиться со своим возлюбленным Пастухом (тоже созвездие).

Просторно-студеный Чертог — одно из названий Луны в древнекитайской литературе.

КНИГА ГОРОДА

«Чайник» и пути поэтов

«Caffè gresco» на Корсо в Риме, где когда-то собирались художники во главе с Францем Рейнгольдом и даже великие волшебники — такие, как тот же синьор Челлионатти. — Кафе и персонажи из сказочной повести Э. Т. А. Гофмана «Принцесса Брамбилла».

Не сравнить и с Вилем или Баттоном... — Виль и Баттон — лондонские популярные кофейни, открытые в конце XVII в.

А о парижских «Chat Noir» и «Ротонде»... — «Chat Noir» («Черный Кот», франц.) — парижское кабаре, основанное в 1881 г. Родольфом Салисом; излюбленное место встречи художников, которое также пользовалось успехом у аристократов и «кокотов». «Ротонда» — знаменитое в XX в. парижское кафе, одно из любимых мест Э. Хемингуэя.

«Кассельская земля» — название краски темно-коричневого цвета, которую художники Возрождения использовали чаще всего для лессировок.

Эргофобия — отвращение к труду, боязнь совершать какие-либо действия.

Русановская набережная — на левом берегу Днепра пролегает вдоль Русановского залива. Эту часть Киева начали застраивать в 60-е гг. XX в.

Хронотоп — «время-пространство», т. е. пространственно-временная картина мира в художественном произведении, культурологический термин, введенный в научный обиход русским советским литературоведом, теоретиком искусства М. М. Бахтиным (1895–1975).

ЦУМ — Центральный Универмаг. Находится на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого (в романе — «улицы Фундуклеевской имени Ленина»).

...какому-нибудь натуропату. — Натуропатия — учение в медицине, основывающееся на применении естественных, природных продуктов, а не синтетических лекарственных средств для лечения различных заболеваний.

«Радуйся, что не женился, не то помер бы непременно!» — У Парацельса: «Может случиться, что муж возьмет новую жену, и тогда она (уядина) приходит и приносит ему смерть» (Paracelsus. Op. S. 66).

Рипстонский ранет — сорт яблок.

...по репродукции с картины Караваджо «Вакх»... — Микеланджело да Караваджо (1573–1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи XVII в.. Картина «Вакх» написана на мифологический сюжет в 1592–1593 гг.

...«Королеву Марго», приобретенную у государства в обмен на макулатуру... — «Королева Марго» — исторический роман французско-

го писателя Александра Дюма-отца (1802–1870). В 80-е гг. XX в. в СССР — одна из книг, которую можно было получить по талону за определенное количество сданной государству макулатуры.

Сакунтала и Сомадева... — Сакунтала, или Шакунтала (*санскр.* Śakuntalā) — героиня знаменитой драмы индийского поэта и драматурга Калидасы (прибл. V в.) «Узнанная по кольцу Шакунтала». Сомадева (Сомадевабхатта) — индийский поэт второй половины XI в. Писал на санскрите. Автор классического свода индийской повествовательной литературы «Океан сказаний» (1036–1081).

Пьяный угол — так представители киевской художественной богемы называли угол улиц Владимирской и Большой Житомирской, на котором находился гастрон с отделом кулинарии.

«*Faustus dreifasher Höllenzwang*» — «Фаустово тройное заклятие адских духов» — приписываемая доктору Иоганну Фаусту книга магических заклинаний, которую он якобы завещал своему ученику Кристофу Вагнеру. Эта и подобные ей книги печатались или переписывались и покупались суеверными и доверчивыми людьми за большие деньги в XVII–XVIII вв.

О дух, что влечет меня воспевать тела, принявшие новые положения... — У Овидия: «In nova fert animus mutatas dicere formas corpora» — «Дух влечет меня воспевать тела, принявшие новые формы» (*лат.*) («Метаморфозы», I, 1).

Ахеронт — «Река скорби» на севере Греции; частично протекала под землей, поэтому считалась в древности одной из пяти рек, связывающих мир людей и царство теней.

Предание о дальнейшей судьбе корректора Впетлина

Змиевы Валы — древние оборонительные сооружения вдоль берегов Днепра и на значительных пространствах Левобережной и Правобережной Украины.

В русальную неделю... — Русалии (Русальная неделя) — обрядовый праздник «проводов русалок» у древних славян. Русалии отмечались в канун Рождества Христова и Богоявления (зимние Русалии), на неделе после дня Пятидесятницы (Троицы) или в летний Иванов день (Иван Купала).

...купальские дни... — Народный праздник Ивана Купалы праздновался в ночь на 24 июня (по старому стилю). В этот день домовые, водяные, русалки и лешие учиняют проказы.

Спиноза Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие издателя</i>	7
КНИГА КНИГ	15
КНИГА КОРОЛЕВЫ	
ЗАЛА С АСТЕНИЕЙ	
Весьма полезные сведения о главном часовщике	59
Ковровый тракт, а также исключительно эпохальные сведения о доблестном Мурмилоде узорном и красавице Мышанине	64
Фемгерихт и баба Маня	71
Примечательные достопримечательности	81
Продолжение Коврового тракта	85
Письмо для Янки	89
Десятый муж Славы	91
Несметные стихоплеты и поэтические баталии	98
КНИГА ГОРОДА	
Корбюзьевич Безрунный	109
КНИГА КОРОЛЕВЫ	
Полковник Ферапонтов	155
КНИГА ГОРОДА	
Скорбная обитель	177
КНИГА КОРОЛЕВЫ	
Совершенномудрый По	269

КНИГА ГОРОДА

«Чайник» и пути поэтов.....275

Примечания.....315

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА КНИГ

ALBEDO

Том III

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.

Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»

01001, г. Киев,

ул. Малая Житомирская 8, оф. 3

Тел. (+38) 096–53–85–115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж

Kayala@ukr.net

Формат 66x88 ^{1/16}

Усл. печ. л. 21,4. Подписано в печать 21. 01. 2019

Печать офсетная. Заказ 123



Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

Время действия — 70–80 гг. прошлого века.

Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя».

Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юмор — все в этой книге переплетено в бесконечной фантазмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.